



# СОГЛАСИЕ

*Александр Иванченко*  
СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

*Роман*



*Бахманьёр*  
ЖИЛИ-БЫЛИ В САРМАДДЕХЕ...

*Рассказы*



*К 90-летию со дня смерти А. П. Чехова*  
*Н. М. Ежов*  
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ



*Н. А. Тэффи*  
САУЛ



29' 1995

---

---



# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

**№ 29. ЯНВАРЬ 1995 ГОДА**

МОСКВА. АО «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Александр Иванченко  
СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

*Роман*

3

---

С. Стратановский  
БИБЛЕЙСКИЕ ЗАМЕТКИ

*Стихи*

82

---

Михаил Тарковский  
РАССКАЗЫ

88

---

Владимир Тихомиров  
ВЕСЕННИЙ КРУГ СТИХОВ

100

---

Юрий Карабчиевский  
УТРО И ВЕЧЕР

*Повесть. Окончание*

104

---

Дмитрий Домбровский  
МОЛЧАНЬЕ УЛИЦЫ

*Стихи*

124

---

### **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

Бахманьёр

ЖИЛИ-БЫЛИ В САРМАДДЕХЕ...

*Рассказы. Перевод с фарси*

128

---

### **ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

*К 90-летию со дня смерти А. П. Чехова*

Н. М. Ежов

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

172

---

### **ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА**

Илья Фаликов

ШУМ ВНУТРЕННЕЙ ТРЕВОГИ

*Заметки о «Медном всаднике» А. С. Пушкина  
и не только о нем*

184

---

### **ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ**

Н. А. Тэффи

САУЛ

197

---

---

---

# ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

---

---

## Александр Иванченко СОЛНЕЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ

*Роман*

*По благословению Правительствующего Синода*

*Поистине, лишь от второго приходит страх.  
Познавший того, в котором все едино, свободен  
от страха.*

*Брихадараньяка упанишада*

*Наиболее вразумительным в языке является не само слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, — короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, все то, что не может быть написано.*

*Нищие*

*— Мне показалось, что госпоже Фоглер хочется лежать и смотреть, как смеркается. Поэтому я задерну гардины немного позже.*

*Ингмар Бергман. «Персона»*



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Я,  
Наум,  
Бледный Стайер;

Рахиль,  
Козерог,  
Словарь Мюллера;

Мистер Ийенгар,  
Ботинки Ван-Гога;

и

Согнутые штаны,  
Согнутые штаны.

## Часть вторая

Тсс-ссс...

— Мама,— сказал я вчера матери.— Мама. Я не люблю... — Она засмеялась.

Старая, в больничном сером халате, она засмеялась.

— Мама,— повторил я упрямо.— Мама. Я не люблю евреев, я...

— Тсс-ссс... — приложила она палец ко рту и показала на медицинскую сестру.

Старая, с грязными седыми волосами, она показала на черноглазую медицинскую сестру.

— Мама,— сказал я.— Мама. Я не люблю евреев, я не люблю Христа.

— Твой отец был еврей, Чичора,— сказал мне мать и заплакала.

Старая, с опавшими желтыми щеками, она заплакала.

Так ты еврей, Чичора?— сказал я сам себе.— Так ты еврей?— и пошел по Каменному Городу.

Я остановился на бульваре Акаций. Дикий лунный свет выливался из-под мутного облака и раздражал меня. Я зачерпнул немного прошлогоднего снега и приложил ко лбу. Было горячо, но снег не таял. А снег плавится при нуле. (Глаза мои с детства карие, а снег плавится при нуле.)

Как, однако, тихо. Куда же они все подевались? Ведь по вечерам здесь всегда полно народу. А-аа!.. совокупляться не хотят, потому что у материализма нет мучеников! Это вам не Христос, чтоб были мученики. (Глаза мои с детства карие, а у материализма нет мучеников.)

«Так ты еврей, Чичора, так ты еврей?»

«Чичора»! Какое глупое, какое невыносимое имя! (Да не имя, а фамилия, да не имя, а фамилия.) За что они меня так?

Жиды Россию про... «Жиды», «жиды»... — Теперь вспоминаю. Я тогда, кажется, только что пошел в школу.

— Пиши! — сказала мне мать, но я хотел играть.

Я размазывал слезы и хотел играть.

— А-ааа! так! — вскрикнула мать злобно и задрожала на меня ухом (у нее всегда от злости дрожала отмороженная мочка уха) — (у меня никак не получалась буква Ж), — а-ааа, так!

Я молчал. Я упрямылся и молчал.

— А, так! Тогда запишешь «жидом» всю тетрадь!

— А что такое «жид», мама?

— Пиш-ши! — задрожала она на меня ухом и стала вышивать крестом.

У меня никак не получалась буква Ж.

(Интересно, когда, с какого возраста, нас начинают ненавидеть?)

---

Особенность авторской композиции: роман начинается со второй части. Рисунки автора.

## У МЕНЯ НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛАСЬ БУКВА Ж

На бульваре Акаций сирень и снег. Примерзшие к асфальту газеты и смерзлые зеленые плевки. На заснеженных пустынных скамейках чьи-то маленькие следы. Безлюдье; тишина и нелюдимость света, лишь одинокий пьяный стоял и качался у фонаря, хватаясь руками за воздух. Я подошел к нему.

— Аид! — выдавил он презрительно и повалился в снег.

Я смутился.

Я смутился, помог ему встать, помог ему встать, смутился. Он как-то брезгливо отдернулся от меня и стал обвинять снова. Но я сказал ему, что я не аид. По правде сказать, я настаивал на этом. Недоверчиво он покачал головой, насмешливо приоткрыв рот.

Его начало рвать. Кошки, мерзкие голодные кошки собрались вдруг у его ног и принялись, облизываясь, лакать.

Он покрутил головой.

Я побежал дальше.

Мне встретила вдруг старая ужасная старуха, старая полубезумная старуха, она впила в меня руками. Брызгая мне в лицо, она вскрикнула:

— За что, за что они тебя предали?! за что они тебя распяли?! — И затрясла головой.

И застряла головой. Я отшатнулся.

Набралось вдруг откуда-то много народу.

Быстро она отбежала от меня, закрываясь, как бы от страха, руками.

— За что, за что вы все его предали? — с болью спрашивала она у прохожих. — За что вы его распяли?

С усмешкой они отвернулись от меня. Старуха исчезла.

Я пустился дальше.

Я пустился дальше. (Впереди бежала собака.) Нет, старуха приняла меня за кого-то другого. Ведь я не еврей, никогда им не был, да и теперь вряд ли уж когда-нибудь буду. Она выжила из ума.

(Впереди трусила собака.)

Тогда я встретил прекрасную молодую иудейку; страстно взглянула она на меня. Призывно зазвучали глаза. «Нет, — подумал я. — Нет. И эта ошибается тоже». (Впереди ковыляла собака.)

Впереди ковыляла собака, старая беременная сука, разбитая параличом. Устало она откидывала зад на сторону; может, ей хотелось отдохнуть. Я попробовал обогнать ее, но она перегородила мне дорогу. С тоскою она скользнула по мне взглядом, подняла голову и завyla, сзывая псов. (Псы скользили мимо.) Потом опять жалостливо наклонила голову и затрусилась по снегу. И, удаляясь, исчезла.

И вышли псы. Целый город псов. Вышли на ее зов, заполнили все улицы и подворотни; и, разом пав на спины, завyla.

И вспомнил я, как Он сказал мне: не успеет провить и сука, как ты трижды отречешься от меня. И, вспомнив, заплакал.

«Так ты еврей, Чичора, — сказал я сам себе, — так ты еврей?» — И пошел по Каменному Городу.

Я подошел к автобусной остановке. Опять нахлынули откуда-то люди и начали толкать меня. Но им не удалось меня оттеснить. Ведь я был первый.

Я сел в автобус (у меня уже начали падать волосы, а я сел в него); я сел в автобус; ядовитый бензиновый дух очаровал меня. Поплыла куда-то голова.

— «Компрессорная!» — крикнула она мне в ухо — и я сошел.

Я сошел. В Канифольном переулке теперь только два дома. Я выбрал свой и вошел в него.

Какие отвратительные узкие лестницы! И опять она не выставила помой! На восемнадцатой ступеньке вверх живет Мышь.

Я отпер дверь.

Станный мужчина сидел возле умывальника в углу и целился себе в рот. Он целился себе в рот из ружья.

Незнакомец не обращал на меня никакого внимания; только, кажется, умоляюще посмотрел на меня, чтобы я ему не мешал. Странно, но я подчинился его безмолвной просьбе. Я подчинился его просьбе и тихо подтянул часы.

— Надо снять носки, Наум,— сказал я шепотом, озираясь.

(«Наум, Наум, Наум... Какое... мучительное имя!»)

Желтый облупленный палец ноги мучительно искал курка.

«Интересно, какого калибра?» — весело подумал я.

— Восемнадцатого,— отложил двустволку незнакомец и стал целиться снова.

На восемнадцатой ступеньке вверх живет Мышь.

Он стал целиться снова.

«Пулей или картечью? — проносилось в голове.— Пулей или картечью? Но только бы картечью...» (Но почему, почему я об этом думал, ведь мне было все равно!)

— Картечью,— сказал Наум и встал пальцем на курок.

«О, зачем, зачем он все это делает! — проносилось. Ведь заряжен только один ствол. О-о-ооо...»

— Оба,— тихо сказал Наум и задумался. (Палец все нащупывал курок.)

Оба ствола были заряжены картечью.

«Но что он думает, что?! — проносилось.— Ведь так же недолго и... Ооо-оо...»

— Я думаю, например,— с тоскою начал Наум,— не по-настоящему, конечно, а только так, для раздражения, для глубины: хватило бы у меня, например, духу дойти до последней точки, до самой, до последней... Не понимаете? Хм!.. Ну, все это: взять ружье, вложить дуло в рот и так сидеть, и ждать, и потихоньку нажимать, нажимать на курок, но чтобы не до конца, а так только, чуть-чуть, а потом по-сильнее, а потом еще. Так вот: хватило бы у меня, например, духу *не нажимать* до конца,— нажать-то и дурак сумеет,— или же бы я не сумел остановиться? Нет, не сумел бы... И нажал бы, когда бы не ходили тут всякие,— злобно взглянул вдруг на меня Наум и заходил по комнате.

Он приник к двери. Быть может, он боялся, что нас подслушают? Но все было тихо. Опять он уселся на свое место возле умывальника и как-то мечтательно, нога на ногу, продолжал:

— Нет, нажал бы... не сумел бы остановиться... Я думаю, самоубийцам трудно *не нажимать*. Здесь обаяние зла, здесь обаяние страдания, и не поддаться ему — выше сил человеческих!

Он мерзко вдруг захихикал. Черные, истлевшие наполовину зубы редко торчали из его цинготных десен. Он спохватился, испуганно прикрыв рот рукою; подозрительно посмотрел на меня. (Я не подавал виду.) У меня отлегло от сердца: вряд ли разговоры эти могли быть серьезными, когда он так хлопчет о своих зубах. Но, наверное, он делал это по привычке.

— Вот именно, вот именно по привычке,— вскинулся он.— По привычке, а почему же еще?— и он неуклюже, можно сказать, по-

ребячьи, заскакал вдруг на одной ноге по половине. (Играл в классики, смущаясь.)

Я смутился.

— Простите,— снова затих и посерьезнел мой собеседник.— Простите. В нелепости и смущении сердца, так сказать... Н-да. Трудно все-таки ему *не нажимать*... Да, может, еще из любопытства и нажмет, из гадостного из нашего из человеческого любопытства: а что там, что за последней чертой: точно ли мрак? точно ли холод? А вдруг еще и бессмертие? Да знаете ли вы,— завизжал вдруг на меня еврей,— да знаете ли вы все, что самоубийца, может, только потому и стреляется, чтоб убедиться—есть ли?! Бессмертие или астральный холод? А не... — и он опять нацелился себе в рот, колотясь зубами о железо.

Я потянул у него ружье.

— Да я ничего,— тоскливо сказал Наум.

Я молча потянул у него ружье.

— Да я ничего... Хотя, впрочем, интересно бы *нажать*. Да так еще: не за зубами, а до зубов. Не понимаете? Хм!.. Ведь как, наверно, стрелы-то эти?— засунут подалеже, к горлу,— и... а? Нет, вы до зубов, до зубов попробуйте, к зубам приставьте, чтоб еще до того, как вылетят мозги на стенку зубы раздробило. Сомкнуть их — и в упор! Картечью! картечью! И чтоб успеть еще ощутить боль эту, зубную, до той, *главной* боли. И чтоб успеть еще пожалеть... Успею ли? Слишком краткий миг... Но в миг этот, до боли этой, еще так ведь захочется жить, а?

И он встал пальцем на курок.

— Нет, не застрелюсь. Философия не дает. Кабы не она...

Я видел: он сейчас нажмет. Он вставил ружье прямо в зубы — и..

— Нет, я ведь что?— сказал он.— Философия не дает.

И он отдал мне ружье.

— Нет, я ведь дальновидец, я пророк, мне нельзя. Ну что, если бы я...

Я заматал головой.

— Ну, не я — имярек — пошел топиться? Топиться по убеждению, да не по собственному, а по всемирно-историческому?..

Я заматал головой.

— Ну, я тут, в самом деле неясно, согласен... Ну, не потому топится, что у него там неудачи, боль зубная или несчастье какое — вся жизнь его не устраивает, вся жизнь — подлость... то есть он не одну только свою жизнь отрицает, но и жизнь вообще, жизнь всего сущего, понимаешь? Все бесцельно, а потому и безнравственно, а раз бесцельно и безнравственно — значит подло и должно исчезнуть... М-да, исчезнуть... Решил, значит. Пошел топиться. Видит: ребенок тонет...

— Ну?!

— Спасет или не спасет?

— Ммм.. спасет!

— А не ребенок — что ребенок! — собачонка тонет. Спасет?

— Мммм.. спасет!

— А не собачонка — что собачонка! — воробьенок под кошкой? Спасет ли? Да и не воробьенок, не кошка, а просто цветок в пыли лежит, сапогом примятый, слабый. Подымет? Расправит?

— Подымет! Расправит!

— А, понимая все это,— можно ли — под колеса?

— Под какие колеса?

— Ну, веревку с мылом?

— Какую веревку, какое мыло?!

— Можно ли, спрашиваю, с таким пониманием — на себя руки?

— Убить себя? — в ужасе прошептал я.

(«Значит, был же уже, был он у края, значит, любовался на эту мысль?»)

— А-ааа! не понимаешь!! — страшно закричал Наум и бросился на меня с кулаками.

Он вырвал у меня ружье и выстрелил себе в зубы.

«Так ты еврей, Наумка, так ты еврей?»

Ружье лежало и дымилось на полу.

«Где Наум, где этот несчастный жид?»

Ружье лежало и ненавидело на полу.

— Я здесь, — неуверенно сказал он и лег рядом со мною.

И я заснул.

«Можно, я положу тебе ноги на живот?»

Вдруг приходит ко мне страшный юродивый, нищий, голова в снегу. Руки трясутся, дрожат. Ничего не даю ему и смеюсь. А он все стоит и ждет (и страшный: синий зеленый гнойник вдруг с треском раскрывается и течет по его лицу, но он не утирает). Стоит и ждет, а я все смеюсь. И думаю: но надо же, надо ему чего-нибудь дать, а то возьмет и зарежет (почему я думал, что зарежет?). Тогда срезаю у себя с рубахи пуговицу и подаю ему (и тут же думаю про себя: ну почему, почему он так неприятен тебе? что тебя в нем беспокоит? «Тебя беспокоит в нем его фальшивое смирение, — отвечает мой внутренний (провидческий) голос. — Оно-то тебя и беспокоит»). И тут же: «Как?! Мы добро — лишь для тех, кто приятен нам, только тому, кого любим? Так вот оно — зло!»). Опять срезаю пуговицу и подаю ему, а он просит еще. Еще отрезаю и еще подаю (и смеюсь, хохочу во всю глотку) (во все лицо), а он благодарит меня и мелко так, часто так крестится и благодарит. Смущение вдруг овладело мною; хочу остановить его, благодарность его хочу остановить, а не могу. Вот уже его благодарность за само благодеяние перевалила, и чувствую я: уже в долгу. Уже в долгу, как в шелку, по горло, по маковку, — но остановить его не могу. (А мы, уж я-то знаю, всегда вовремя останавливаем благодарность, вовремя, на самом краешке, чтоб еще чуть-чуть нам должны оставались.) А он благодарит. «Дам ему поскорее яйцо, — думаю. — Выпьет». И я беру сырое, прозрачное на свет яйцо и протягиваю ему, но, протягивая, обманываю его и отнимаю руку назад. Но он сложил руки горсткой и ждет. Покорно, за меня стыдась ждет. «Ну, нá», — с усмешкою протянул я ему свое подаяние и сжал руку. Медленный кровавый желток вытек ему на ладони; он припал к ним.

И вдруг над лбом его растет светлое какое-то сияние, желтая яичная аура, переходящая в голубое, и он превращается во Христа (того, что на картине «Поцелуй Иуды»).

— А ты и не узнал меня, — шепчет, — и не узнал? — и мягко так, с упреком качает головой...

И опять припадает к ладоням, пьет. А я все смотрю и смотрю на него и стараюсь его запомнить. «А какие у него глаза, — думаю, — неужели же карие? Не хочу!»

Подаю ему еще пуговицу и старую, проросшую желтым луковицу, а Иисус улыбается и говорит:

— Истинно, истинно говорю тебе: сегодня же будешь со мною в раю!

И вдруг страдальчески изломил брови и заплакал; заплакав же, начал таять и исчезать.

«Но какие у него глаза, — думаю, ведь я так и не узнал».

— А какие у тебя глаза, Господи?! — страшно закричал я и проснулся.

— Истинно, истинно говорю тебе: сегодня же будешь со мною в раю! — развратно захохотал Наум и поцеловал меня в ухо.

И я провалился снова.

Но где же он? Опять появляется нищий, и опять гордость, гордость и невыразимое лукавство гордости застилают мне сердце. Так я фарисей, Господи? Господи, сохрани-заступи меня, Господи!

Но Иисус молчит. Он молчит, бродяга становится передо мной на колени, целует у меня руки. Гордость приблизилась ко мне.

— Сей сын мой возлюбленный, — зарокотал вдруг наверху голос. — Сей сын мой возлюбленный — и в нем мое благоволение!

Гордость, страшная гордость сердца приблизилась ко мне. Конечно, это меня имел ввиду голос, меня, а не его, этого ужасного нищего с обмороженной головой. И я оттолкнул его ногою.

Но как болят плечи! Плечи, белые плечи, красные внутри. «Надо бы помазать их желчью, — думаю, — желчью, свиною желчью...»

— Да, свиной желчью лучше всего, — равнодушно сказал Наум и положил мне ноги на живот.

И я проснулся.

«Встань с постели, затопи печь, — говорю я себе, — затопи печь, иди за желчью. А Наум останется дома».

И Наум остается дома.

Были черные плечи, и я растопил печь.

Где Наум, где этот несчастный жид?! Молчание. «Застрелился вчера», — подумал я с облегчением и открыл дверь.

Какие отвратительные узкие лестницы! И опять она не выставила помощи!

На восемнадцатой ступеньке внизу живет Гвоздь.

Я вышел на улицу. Внизу дымился Каменный Город. Стояло начало ноября.

Стояло начало ноября, вокруг резали свиней. Несло палениной и теплыми внутренностями. Снег был забрызган чем-то живым.

Я тихо сжал пузырек.

«Хм, — подумал я, — если лизнуть — заметят или не заметят?»

«Заметят», — подтвердил мой внутренний (провидческий) голос — и я лизнул. «Приду и лизну еще вечером», — счастливо засмеялся я и сжал пузырек.

Вокруг резали свиней. Стояло начало ноября. Палили паяльными лампами, скоблили синими ножами.

Я вошел к Ним. Мраморное безголовое тело лежало в деревянном корыте, завернутое в простыню. Дети носили кипяток.

Я вошел к Ним. Длинная сморщенная старуха выворачивала голубые кишки и рассматривала их на свет, как чулки.

«Зачем это она?» — со страданием подумал я и закрыл глаза.

— На пирожки-с, — тихо сказала старуха, не поднимая головы. И я тихо, счастливо засмеялся.

Мы вошли в дом. На печи жарилась кровь. Тихо молчали в углу иконы, капала из рукомойника вода. Длинный невыносимый запах вился над комнатой, обжигая мое обоняние.

Я вышел от Них. Старуха встала и вышла тоже. Опять она стала рыться в корыте, перебирая внутренности. Она вывешивала кишки на проволоку, прижимая их прищепками, как белье.

— На пирожки-с, — повторила она устало и побрела за сарай. — Потом набью мясом.

Я поплелся за ней.

Свора голодных облезлых псов грызлась из-за перламутровых внутренностей и каталась шаром по снегу. Но маленькая приземистая собачка тихо стояла в стороне, наблюдая схватку. По-видимому,

это была сучка. Осторожно старуха подошла к ней и что-то вынула у нее изо рта. Небольшая сморщенная грушка, отвратительная на вид. Наверное, что был желчный пузырь. (Собачонка, обиженная, удалилась.)

Старуха выдавила мне несколько капель и отбросила пузырь в снег. Я тихо сжал пузырек. Схватка продолжалась.

«Тук на внутренностях, на печени сальник, — думал я. — Тук на внутренностях, на печени сальник...»

— Погодите, — взяла она меня за рукав. — Погодите. Сейчас я вам сделаю яишню. — И она умоляюще посмотрела на меня.

Я сжалился над ней.

Я сжалился над ней; на печи жарилась кровь.

## ЧУГУННАЯ СКОВОРОДА

(Чугунная сковорода, полная крови. Вскипала.)

— Сейчас мы сделаем яишню, — устало проворчала старуха и бросила туда яиц. — Сейчас мы ее, милую, сварганим...

## ЗАПАХЛО ЖАРеныМ

Сошлись и разошлись желтки. Опустилась и поднялась диафрагма. Я содрогнулся.

Я содрогнулся, вышел на улицу. Вокруг резали свиней. Стоял октябрь на исходе. Все было в крови.

Я посмотрел вверх. Ползком пробирались по небу тучи. Они поднимались и опускались. Застилали горизонт.

«Заметят или не заметят? — думал я. — Заметят или не заметят?..» — И тихо сжимал пузырек.

Я вошел к себе. Станный мужчина сидел в углу возле умывальника и целился ниткой в иглу.

— Фу-у... — произнес я с облегчением. — Фу... Это, брат, этот — бледный петрашевец. Это все он...

— Ну, нет, — как-то встревожился и соскочил с места Наум. («Наум, Наум, Наум... Откуда мне известно это имя?») — Мимо, брат, мимо. Я этого автора просто ненавижу! Ненавижу за то, что он... был мною... Так ведь и Гойя тоже был. И Брейгель. Перед смертью мною немного побыл Гоголь... Вообще, многие были мною, да, — как-то мечтательно сказал вдруг незнакомец. — Но самым последним мною был Альбер Камю, и я разбился тогда в автомобильной катастрофе. Дерево-то все еще стоит... Ободрали, конечно, кору...

«Ну, а как Иероним Босх? — подумал я. — Этот-то был тобою?» — Нет, — раздумчиво сказал Наум. — Нет. Этот мною не был.

И он принялся целиться снова.

Странно, меня он как будто не замечал. Я решил больше не мешать ему.

Наум сидел возле умывальника в углу, и на лице его была мука. Он сидел, поджав ноги, нервно подбирая под себя выезжавшие полы рубахи, бледные искусанные губы его болезненно кривились, обкусанные нитки усеяли их. Медленно, с ожесточением, он прищуривал правый глаз и вводил нитку в игольное ухо. Собственно, он только пытался сделать это, но ему никак не удавалось. По-видимому, нитка была слишком толста, но, может быть, его подводило зрение.

Он все-таки пытался. Опять он нервно обкусывал нитку, плюща ее зубами, и опять долго и мучительно целился в иглу. Старая, пережвавленная игла с большим ухом.

## ОНА ГНУЛАСЬ

На меня он не обращал никакого внимания.

— Наум, — сказал я. — Наум.

Он вздрогнул и смешался. Кровь выступила на его губах.

— Наум, — сказал я. — Наум. Ну что ты опять затеял?

— Видишь ли, — пробормотал он растерянно. — Видишь ли. —

## ВХОЖУ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

Я смутился. Конечно, это была только шутка. Вряд ли он был богат, я заметил это по его ветхому воротнику. Но, может быть, я и ошибался.

Тогда он стал целиться ниткою в рот, но я сказал ему: «Перестань».

— Перестань, — сказал я ему. — Перестань. Лучше подтяни часы. И он подтянул их.

Бешено замоталось Время.

Он взял свою бамбуковую трость и приставил ее к зубам. Опять выступила на его губах кровь. Гири упали на пол.

— Ну вот, — сказал с тоскою Наум. — Ну вот.

## ОНИ ОСТАНОВИЛИСЬ

Я посмотрел на часы. Гири упали на пол.

— Дурачок, — сказал я весело. — Дурачок.

## ПОДТЯНИ ИХ СНОВА

Он встал и подтянул их снова. Снова бешено закружились стрелки. Зашевелилась в кармане кукушка. Он закусил губы.

Время остановилось. Гири упали на пол.

— Ну вот, — с облегчением сказал Наум. — Ну вот.

## МЫ БЕССМЕРТНЫ

Всего-то дел.

— Да, — сказал я. — Да. Да здравствует вечная молодость!

И мы захохотали.

Странная легкость наступила во всем моем существе. Тронулась по своим руслам кровь. Опустилась и поднялась диафрагма. Я почувствовал себя в обладании всех своих сил. И Наум почувствовал то же.

Радостно мы обнялись с ним и поклялись друг другу в вечной дружбе. Как юноша, взял он мою руку и прильнул к ней губами.

Страстно он целовал мои руки, опустив ногу на колено и преданно заглядывая мне в глаза. Я не оттолкнул его. В его глазах были слезы. Он плакал.

«Еврей, — подумал я. — Но до чего же любит меня».

И он смутился.

Он смутился и отошел от меня. Наверное, он что-то почувствовал. Молча он стал кружить по комнате; медленно кружило сердце. Глубоко он заложил руку за спину и захватил ею предплечье. (Так делают от смущенья.) Злобно прищурились глаза. Я со страхом наблюдал за ним. Он пошел на меня.

«Сейчас он что-нибудь сделает, — со страхом подумал я. — Сейчас он что-нибудь со мною сделает...»

Но он вдруг остановился и с упреком посмотрел на меня. Тонкая улыбка сквозила на его лице, сквозь ненависть и смущенье.

Он достал камертон. С нежностью он посмотрел на него и ударил им об стену. Стена расступилась.

Старая однорукая женщина без лица молча вошла в комнату и поставила мольберт у стены. Они переглянулись.

Они переглянулись, Наум ей сделал какой-то знак, и она исчезла. Он взял в руки кисть. Откинул простыню. обнажил палитру. Колебания камертона затухли.

Тогда Наум подошел к холсту и принялся лихорадочно наносить мазки. Странно, но на его палитре была лишь кровавая киноварь. Я смутился. (Но продолжал наблюдать за ним.)

Я смутился. Краска выступила на холсте. Она выступила с обратной стороны холста, должно быть, он плохо загрунтовал полотно. Так я подумал.

Тогда я взял ящик с красками и подошел к нему. Я уже стал раздвигать пенал, но он с легкостью отстранил меня, и я подчинился. Тогда я попробовал заглянуть за холст, но Наум с ужасом отпрянул от меня и покачал головой. Наверное, мне не следовало этого делать. (Я мог все испортить своим любопытством!)

Быстро он выхватил свой камертон и вновь ударил им об стену. Мольберт исчез. Я вспомнил однорукую без лица; казалось, мы были знакомы. Я закрыл глаза.

Я закрыл глаза, сжал диафрагму. Страдание отразилось на моем лице.

— Козерог, — прошептал Наум вкрадчиво. — Козерог. Хочешь, я настрою твой инструмент?

Со страданием я посмотрел на него. Он улыбнулся.

— Не надо, — шептал я беззвучно. — Не надо. Лучше подтяни часы.

И он подтянул их.

Опять бешено закружилось Время. И снова лицемерие и ненависть восстановились между нами. Гири упали на пол. Ожидание ужасного овладело мной.

Гири упали на пол, но Время не остановилось. Со странностью я осмотрелся кругом. Наума нигде не было.

Глубоко, в печени, стучало сердце. Дыхание восстановилось. Я закрыл глаза. Где его было искать?

— Козерог, — позвал Наум тихо. — Козерог.

## Я ДАВНО НЕ БЫЛ В БАНЕ

Я вздрогнул и открыл глаза. Наум сидел возле умывальника в углу и странно улыбался, прикрывая рукою рот. Значит, мне все это приснилось!

«Должно быть, — подумал я, — у него просто плохие зубы. Ведь он закрывает рот». Но, может быть, я и ошибался.

— Конечно, — сказал Наум. — Конечно.

## ЭТО ОШИБКА

Я смутился.

Я смутился, он показал свои великолепные сахарные зубы. Рассмеялся мне в лицо. Замолк. Потребовал, чтобы я показал ему свои. Я смутился.

Я смутился и огляделся. В комнате было сыро и холодно. Оттаявшие стекла едва впускали мутный вечерний свет, свет вечерних сумерек. В щели поддувал ветер.

Я сидел на кровати и дышал себе в обе руки. Жизнь замирала.

Наум молча скитался по комнате и не глядел на меня. Мне тоже почему-то было неудобно смотреть ему в глаза. Что-то случилось между нами. Наверное, мы стеснялись друг друга. Наверное, мы представляли себя в бане.

Но что мы могли вообразить себе? Мы, еще никогда не выдавшие друг друга нагими? О, эта тягостная работа, о, эта тягостная, мучительная, эта безнравственная работа нашего воображения — она не знает морали! Она не останавливается ни перед чем.

Мне представились вдруг его размокший чернильный номерок, худые ключицы, костлявые согнутые ноги, съездившийся орган.

И он показался мне вдруг жалким и бедным, как я сам. И я пожалел его.

— Наум, — позвал я тихо. — Наум. Подойди ко мне. Пусть будет по-твоему. Давай все-таки сходим в баню.

И опустил глаза.

Он обрадованно подбежал ко мне, сел рядом. Опять он взял мою руку и преданно заглянул мне в глаза. Я прослезился. Но в глазах его разгорался какой-то неумолимый блеск, и я оттолкнул его. Быть может, он искал прощения и правды, а я оттолкнул его. И я смутился.

Стыд и горечь приблизились ко мне. Я закрыл лицо руками и зарыдал.

Наум, как мог, утешал меня. С силой он отрывал мои руки от лица и просил успокоиться. Он достал даже свой батистовый роскошный платок и вытер мне слезы. Он опять тронул меня за козелок (за козелок и противозавиток; эрогенная зона), и опять жадный огонь желания разгорелся в его глазах. Он был невыносим. Он был неумолим, и я отвернулся.

Он отошел виновато, оделся; взял свою бамбуковую трость. Кажется, он хотел уйти. Вполглаза я наблюдал за ним (неужели он решится оставить меня!); он заколебался. Вот поставил свой бамбук к стене, вот взял снова. Вот поставил и взял опять. С ожесточением взглянул на меня. Я не подавал виду. Тогда, поколебавшись, он окончательно поставил свою трость к стене и разделся. (Он сел возле умывальника в углу и уронил голову на грудь.)

Медленно капала вода. Он приоткрыл глаз. Пришептывая и загибая пальцы, он стал отсчитывать капли. На восемнадцатой вдруг как-то сбоку, вскользь (наискосок от совести) взглянул на меня и так же, вполглаза, принялся наблюдать за мною. Меня душил неудержимый хохот, но я сдержался. Я сдержался (о, похоть смеха! — она душила меня!) — сдержался.

## ОНА ДУШИЛА

а Наум с подозрением посмотрел на меня, и я смутился.

Я смутился, закрыл глаза. Закрыл глаза, послушал дыхание.

Медленно приподнялись веки...

Станный мужчина сидел возле умывальника в углу и целился в меня глазом. Другой он прикрывал ладонью.

Он целился долго, не мигая и не отрываясь, и шевелил своими бледными губами. Зачем он это делал? Я этого не понимал. Тогда я зажмурился от недоумения, от страха ненависти и недоумения и снова открыл глаза.

Он сидел, уже раздевшись до белья, на стуле, откинув глубоко голову назад и пряча под мышками руки. Наверное, он замерзал.

Не дыша, я подошел к нему, оглядел его с любопытством. Еврейское складчатое веко прикрывало его выпуклый глаз (синее, прикрывало); другой стоял открытым.

Странно, но в нем не было жизни, хотя он и не казался мертвым.

Я подумал, что, может быть, этот глаз просто отдыхает; отдыхает — дремлет или спит. Тогда как другой... Но, может быть, я и ошибался. Скорее всего, оно так и было, ибо глаз в ту же секунду заморгал и выдавил слезу. Я отошел.

Незнакомец (он не замечал моего присутствия) распоясался совсем. Теперь он снял свои потертые вельветовые штаны (согнутые по середине) и не целясь бросил их на крючок. Странно, но он попал сразу. По-видимому, у него был наметанный глаз. (Или он был здесь хо-зяин?) Потом он стал расшнуровывать ботинки. Это были высокие разбитые ботинки какой-то рыжей облезлой масти, сильно согнутые по середине. Вообще, они видали виды и виды, но странно: они были совершенно новыми, почти не сношенными, каблуками! По-видимому, он ходил в них на одних носках. (Берег их?)

Зачем ему понадобилось беречь каблуки? Куда они могли годиться? На что? Это оставалось тайной. (Потом я заметил уже, что он принес с собой еще несколько пар точно такой же обуви, точно такой же, поношенной и сгорбленной, но с совершенно неносными каблуками. Мне даже показалось, что на них был какой-то рисунок.) (Гвозди, по крайней мере, были целы.)

Расшнуровывался незнакомец долго: С ненавистью он отшвырнул ботинок в угол, достал из кармана желтый атласный платок и расправил его на коленях, что-то при этом пошептав. Потом, охнув, соскочил со стула и прокрался на носках к вешалке. (У меня было грязно, и, должно быть, он боялся запачкать ноги.)

Я следил за ним. Вот он подошел к крючку, по локоть залез во внутренний карман пиджака и принялся что-то искать там рукою, закрыв при этом глаза.

## ОНА БЛУЖДАЛА

Наконец он достал из кармана маленький серебряный камертон и стал рассматривать его на свет. Оглядев же как следует, постучав им по ногтю и выслушав его с удовольствием на ухо, он спрятал камертон в платок, обернул его тщательно три раза и опять заложил в карман. Карман он еще закрыл на булавку.

Я лежал, затаив дыхание. Чем все это могло кончиться? Что он опять затеял? Что ему нужно у меня?

Он улыбнулся. Усыпляюще взглянул на меня. Отошел на свое место. И я заснул.

Спал я, очевидно, недолго. Что-то вдруг обеспокоило меня. С мучкой я открыл глаза. Содрогнулся. Незнакомец все еще продолжал сидеть на своем стуле, по-видимому, он так и не покидал его.

Он тоже открыл глаза и, как я успел заметить, почти одновременно со мною. Может, только на секунду опоздал. Мне показалось это странным. Он подражал мне.

Мне показалось это странным: он подражал мне. Что это значит? Попытка идентификации? Он достал камертон.

— Хочешь, — прошептал он таинственно, — я настрою твой инструмент?

И он подошел к проигрывателю.

Я усмехнулся.

— Не надо, — сказал я ему. — Не надо. —

## ЛУЧШЕ ПОДТЯНИ ЧАСЫ

И он подтянул их.

Медленно закружились стрелки. Я посмотрел на улицу. Красная отвратительная луна подошла к окну и остановилась. Гири упали на пол.

Наум, быстро раздевшись, нырнул ко мне под одеяло и обнял меня за шею. Я вздрогнул.

Тихо кружило сердце. Устало закрывались глаза. Прощенные, мы засыпали.

Влюбленные, мы засыпали.

Проснулся я поздно. Сумерки уже рассеялись за окном, и нехотя поднималось солнце. Или то была вчерашняя луна? Наум, отвернувшись к стене, все еще крепко спал, и я тронул его за плечо. Но он не ожил. Тогда я взял в пальцы его темную непокорную прядь и молча стал свивать ее у него за ухом. Я чувствовал себя перед ним виноватым. Слезы душили меня. Я приближался к нему. Я положил ему руку на горло, нежно провел по нему ладонью. Я чувствовал, как глубоко, под кожей, струится его голубая кровь: он замирал от счастья. Неужели он был счастлив со мной? Неужели? До сих пор не могу в это поверить. Но это была правда. Он подтвердил это своей прекрасной сонной улыбкой, улыбкой спящего ребенка. Глаза его были закрыты.

Было страшно холодно. С нежностью я укрыл его потеплее, подышал ему в волосы. На них выступил иней.

Мороз пробежал по моей коже — так мне вдруг стало холодно и совестно за него, совестно и одиноко. Я поежился и подумал, что, в сущности, я еще ничего не сделал для него, ничего такого, за что бы он мог быть мне благодарным. А я искал его благодарности и прощения.

Он открыл глаза. (Иуда.) Открыл их, закрыл опять. Потянулся. Я медленно осенил его крестом. Он вздрогнул.

Он вздрогнул, вскочил с постели и с ужасом отпрыгнул в свой угол.

— За что, за что ты меня ненавидишь! — завизжал он, роняя слюну.

Я отвернулся.

— За что? — прошептал он вкрадчиво и с упреком.

Нечего мне было ответить ему. Я смутился.

— Наум, — сказал я ему, смущаясь. — Наум. Давай лучше съездим когда-нибудь за углем. Лучше, если мы сделаем это еще сегодня. Лучше, если мы сделаем это сейчас.

Нехотя он стал одеваться. Я не дал ему даже умыться. Страшное беспокойство, дрожь отчаяния вдруг овладели мною. Я торопил его.

Заспанный, он никак не мог попасть в рукав пиджака; долго зашнуровывал ботинки, скручивал, держа во рту, шнурки. Я устал ждать. Наконец он взял свою бамбуковую трость, достал и проверил камертон. Я поспешил на улицу.

Я поспешил на улицу, вьюга поднималась до самых звезд. Она поднималась до самого неба, кружила мелким бесом и сбивала с ног. И я подумал, что помощник сегодня мне будет очень кстати, что он будет сейчас даже необходим, и что одному мне со всем этим, конечно, не управиться. Как хорошо все-таки, что у меня появился товарищ! Но Наум все еще копался наверху.

Я отрыл у сарая тележку, перевернул ее, выстукал снег. Но тележка тотчас наполнилась снова, и я подумал о своем спутнике с любовью.

«Где Наум, где этот несчастный аид?» — подумал я, выколачивая тележку ногою. (Сердился?)

— Я здесь, — хитро подмигнул Наум и отделился от двери. Когда он успел выйти?

— Тогда быстрее, если не хочешь остаться под снегом, — весело сказал ему я и посмотрел вверх.

Буря разыгрывалась не на шутку. Белое, мокрое, мутное, жуткое с желтым, черное, хлипкое — то отрывалось от земли, то несло на меня сверху. Но я уже решил. С решимостью я взялся за тележку, с решимостью тронул по целику. Снег набивался всюду, смерзался, таял, проникал в кровь, но я думал только о нем, о моем несчастном спутнике, о нем, о другом. Только бы ему было тепло и хорошо. Только бы ему...

Я оглянулся. Недовольный, обидевший, измученный, одинокий продирался Наум вслед за мною, хромяя и мельтеша руками. Он ощущал свой путь палкой, как слепой; страдание и нераскаянная совесть исказили его лицо. Втайне я пожалел его.

Я посочувствовал ему и решил оглядываться почаще, чтобы только не потерять своего спутника из виду: ведь он начал уже отставать. Я подчинялся необходимости.

Но он отставал. Тогда я подбежал к нему, разогрел его расслабленные члены, растормошил его дружбой и приязнью, вытер ему нос платком. С благодарностью он взглянул на меня, с теплом, слезами и благодарностью. И я оценил это. Уж я-то знаю, чего нам стоит благодарность и искренность на морозе, при минус двадцати на ветру; совсем не то, что в хорошо натопленной квартире (на холоде не солжешь).

Я оценил это. Я велел ему сесть в тележку. Я велел ему сделать это, но пускай он не думает, что так будет всегда: ведь обратно-то мы поедем с углем. Один я не потяну.

Он сразу же согласился и сел. Я подумал, как он невоспитан, соглашаться так быстро (без раскаяния) неприлично, и что я бы уж, во всяком случае, так не смог. Но на морозе не солжешь.

Он сразу же согласился и сел. Он тотчас тронул меня палкой за плечо, он тронул меня нежно и как бы за что-то извиняясь (имитировал раскаяние), но я все понял. Я понял это и с обидой тронул по целику. (Быстро же он согласился!)

Я шел по насту, по свежему апрельскому насту, он не проваливался под нами ни на дюйм. Отчего же было так тяжело? Я растер себе руки. Может быть, подумал я, Наум и не был так тяжел, как это могло вначале показаться; быть может, он был, как пушинка? Но груз его — был нравственный груз, и неужели он этого не понимал? Вот почему я растер себе руки. (И вот почему я так страдал.)

Я посмотрел вверх. Буря выделявала такие штуки, что и подумывать-то о том было страшно. Да! А я вот стою здесь и не боюсь, и позади меня Наум, и я даже собираюсь покрыть с ним немалое расстояние. И все это — без его и моего раскаяния, вообще без какого-либо участия совести. Да.

Я сделал очищающее дыхание. В ногах моих вдруг сделалась удивительная легкость, все мировые запасы Праны вдруг устремились в мои легкие. Холод понесся по костям. Я взвился.

Я взвился. Я мчал и мчал, иногда переходя в галоп, а Наум, как мне казалось, презрительно ухмылялся в мои лопатки. Я оглянулся. Строгое, сосредоточенное лицо Наума не выражало ничего, кроме сосредоточенности и скуки, и я смутился. Собственная подозрительность уязвила меня. В нерешительности, трепетал.

Недовольный, Наум взглянул на меня. Поиграл палкой у моего виска. Он попросил меня не задерживаться, не медлить. Разумеется, он был прав.

Мы тронулись дальше. Бешеное веселье охватило все мое существо — дерзость и веселье. Растертые до пота ладони горели, ноги пронзали колючие иглы снега, из ноздрей валил пар. Обидевшее мое лицо все более разгоралось от быстрой езды, и я казался себе прекрасным. Иногда мне хотелось (неудержимо) упасть на четверень-

ки — какая-то неведомая страшная сила нагибала мою спину, но я все-таки держался. Я держался до конца.

Наум поощрял меня. Он слегка касался меня палкой. Сначала робко и осторожно, но потом все нетерпеливее и настойчивее он вонзал в меня свою бамбуковую трость, но я не обижался. Впрочем, мне было почти приятно, почти не больно, и я был благодарен ему за то, что он делает это так умело и осторожно. (Ведь мы всегда благодарны своим учителям за то, что они мучают нас только вполмүки, а не в полную.)

Мы успели вовремя. Уголь уже почти занесло, снежный сужающийся книзу смерч стоял над сторожкой и уходил воронкой в небо. Я приложил палец к губам и попросил тишины. (Ветер завихрял безмолвие.) Наум тихо присвистнул. Зачем он сделал это? Ведь сторож мог услышать и выйти. Я почувствовал тревогу, но он меня успокоил. Да, он умел быть товарищем!

Ветер не утихал. Спотыкаясь и сбиваясь с пути, я побрел наугад, высматривая уголь по сторонам. Наум что-то кричал мне, отвернувшись от вьюги, но я не слышал его.

Наконец я нашел. Уголь оказался совсем в другой стороне, чем ожидалось, и мне показалось, что в этом виновата буря. Быть может, она перенесла его в другое место, но, может быть, я и ошибался. (Наверное, она перенесла нас.)

Молча я достал мешок, бросил угля. Опять что-то страшное прокричал во вьюгу Наум, но крик его отнесло ветром. Я задумался. Быть может, он погибал и зывал о помощи, быть может, его уже не было в живых, а я все возился тут с этим мерзлым углем, с этим заплатанным мешком.

И тогда я бросился ему на выручку. Вьюга легко подхватила меня на свои белые крылья и понесла на запад. Я страшно, не своим голосом, закричал. Наум откликнулся где-то совсем рядом, но как-то робко, выдыхаясь и без надежды. Я остановился и прислушался; радостно замерло сердце. Неужели я не ошибся, и это был его голос? Да, кажется, его. Это была просьба о милосердии. Но, может быть, я и ошибался. (Если бы у меня был компас!)

Я взалкал и крикнул еще раз. Сложив руки, я возопил в пустыне. Глубокое белое молчание вдруг воцарилось, вняв моему зову. Вьюга остановилась. Равновесие и смирение овладели всем моим существом; я крикнул еще. Тишина. Глубокая тишина вселенной. Я сел на мешок и заплакал. Снег подымался вверх.

— Наум,— прошептал я с болью.— Наум. Ну, что ты со мною делаешь?

— Я здесь,— засмеялся где-то совсем рядом Наум, и вьюга понеслась снова.

Опять я принялся его искать, медленно, как вату, разбирать руками бурю; медленно кружило сердце. Я охрип, руки покрылись сыпью. Страшно разболелась голова.

«Наверное, он просто разыгрывает меня»,— весело болея, подумал я и расправил свой латанный мешок. Я подставил его под снег и бурю.

Уголь был сырой и пополам со снегом. Я набрал его ровно столько, чтоб можно было поднять, но я не рассчитал. К тому же я не учитывал сторожки. Страх и огорчение вымотали меня, и к тому же все еще не улеглась буря, а про нее-то я совсем забыл. Она началась снова. Тогда я сделал поправку на ветер и отсыпал. Теперь было в самый раз. Я улыбнулся своей проницательности и пошел к тележке. Никакого Наума там, конечно, не было.

Я сбросил мешок в тележку и отдохнул. Постоял, подумал. С грустью посмотрел вверх. Редкие звезды мелькали сквозь вьюгу, и я по-

думал, что скоро, может быть, она кончится совсем; ведь она уже утихала. Скоро, может быть, она кончится совсем, ведь апрель, по моим представлениям, довольно зеленый месяц. Но, может быть, я и ошибался.

Медленно я впрягся в повозку. Медленно погрузил руки в карманы. Скрипнули и покатались, как полозья, колеса. Я оглянулся. Нет, они не провернулись, вопреки моим ожиданиям, зря я на это надеялся: теперь они не провернутся никогда. Ведь стоял апрель, грустный белый апрель, должно быть, в подшипниках замерз солидол. Я вздохнул. Что теперь будет с нами?

Я вздохнул, резина легко скользила по насту. Я пожелал себе попутного ветра и тронул. Гордый за свое человеческое достоинство, я тронул. Ведь больше мне не хотелось упасть на четвереньки, грудь моя расправилась, и взгляд был прям. К тому же тележка моя была полна углем. Но руки мои совсем замерзали, и вряд ли они теперь могли выручить меня.

Я шел и думал, что не такой уж это плохой месяц — апрель, что, может быть, за ним сразу наступит май, а в мае уже перестает снег — ну только, может быть, чуточку досыплет, что не добрал. Но если за ним будет другой месяц — февраль или что-нибудь в этом роде, — тогда придется туго. Тогда придется подождать.

Я согласен ждать; только бы кончился когда-нибудь этот ужасный апрель, этот ужасный январь в апреле, апрель в январе. Я согласен.

Повозка сделалась тяжелее: я потянул в гору. Это было как раз у ржавого высоковольтного столба, и я вздрогнул.



Табличка трепетала на ветру.

6000 V

Я смутился; ведь никакой горы здесь раньше не было. Я готов был прозакладывать за это голову, даже тележку! Но, может быть, я и ошибался.

Я оглянулся: Наум! Это был он! И, кажется, он снова сидел на дилижансе! Как я был счастлив!

Я подозрительно посмотрел на него, но он, как ни в чем ни бывало, уже плелся сзади. Зря я его все-таки подозревал!

Я попросил помочь мне. Он согласился. Сообща мы преодолели сугроб. Потом перетащили уголь в тележку (мешок опрокинулся). Наум был очень доволен.

Опять я впрягся и весело побежал спиной вперед, радуясь за него. (Наум был сзади.)

Наум трюсил сзади, скольжение было превосходно. Дышалось мне и ему легко. Иногда попадалась какая-нибудь гора, хотя, по моим представлениям, здесь никаких гор не должно было быть. Тогда я незаметно оглядывался и с подозрением осматривал своего незадачливого спутника, и тот смущался. Наверное, он все-таки иногда садился сверху и незаметно, в нужный момент, прыгивал (перед моими подозрениями). Но, может быть, я и ошибался.

Я стал озираться чаще. Собственно, я делал это на каждом шагу. Я знал, что неправ, но мне было тяжело. И он больше не смел.

Когда он понял, что ему больше не сесть, что я не спускаю с него глаз и бдительно слежу за каждым его шагом, он стал строить у меня за спиною ужаснейшие гримасы, дразнить меня и высовывать язык. Но я не обращал на это ни малейшего внимания. Он был ужасно оскорблен (ведь ни с чем не сравнится оскорбление оскорбителя, когда его оскорбление не достигает цели. Так я подумал).

Он был ужасно оскорблен и стал незаметно подкладывать ко мне на тележку свою бамбуковую трость. О, оскорбление оскорблений, издевательство издевательств! — он пытался провезти хотя бы ее конец! Жалкое ничтожество! Только бы не нести самому!

Но он справедливо полагал, что этот конец, этот жалкий заостренный конец его бамбуковой палки (неуязвимо легкий!) способен уязвить меня больше, нежели сама палка; даже больше, нежели он сам, со всеми своими еврейскими потрохами. О, издевательство издевательств! Негодование негодований! Лучше бы он меня ею ударил, избил! (О, уколы нравственных булавок больней и изъязвляют душу сильнее, чем какой-нибудь сокрушительный удар палкой или нравственный удар; уколы иголок и булавок лишают величия страдания, вот что нестерпимо!)

Я промолчал опять. Сделал вид, что не заметил. Опять он был сильно разражен этим и, кажется, даже слегка ткнул меня чем-то в спину. Но я молчал. Я хотел величия страдания. О, если б он убил меня или страшно хотя бы оклеветал! Я простил бы его, я бы его простил. О, как хочется презрения и клеветы! Презренья, клеветы и гоненья!

### СЧАСТИЯ СТРАДАНИЯ

Несчастия. (Но я ему об этом не сказал.)

Но я подумал, что, может быть, я все это преувеличиваю, что он просто устал и что нехорошо быть таким подозрительным. И я разрешил ему везти его палку. Крепя сердце, я разрешил ему это, но он принял это как должное. Неблагодарный!

Наконец мы дома! Я попросил Наума насобирать у сарая щепок для растопки, и он, недовольный, злобно отвернулся от меня. Капризно надув губы, он стал разрывать снег ногами, далеко, с отяжкой, отбрасывая его назад, как доберман перед схваткой.

Я молча наблюдал за ним. Тогда он вынул из-под снега две старые обмерзлые щепки и брезгливо подал их мне. Вздохнув, я бросил их в мешок и, кажется, закрыл глаза. Его вклад.

Я поднимал мешок на спину, обхватывал его сзади рукою и, поднимая мешок на спину, обхватывая его сзади рукою, думал: «За что, за что он так презирает меня? За что он меня ненавидит?»

— Я тебя люблю, — смущенно пробормотал Наум и отвел глаза. — И, может быть, даже ненавижу. — Я заслужил это! Да.

Тогда, поднимая мешок, я подумал, что, может быть, он не так уж неправ, что ненависть лучше любви и уж, во всяком случае, ее долговечней. Что, в сущности, мне следует домогаться только ее, нелюбви, ибо мы ищем не расположения вовсе, не любви, сострадания и расположения, а только внимания к собственному существованию, да; внимания, — ибо легко перейти от любви к равнодушию, но уж от ненависти и зависти — можно ли? Нет!

И подумав так (поднимая мешок, чувствуя на спине углы его антрацита), я поблагодарил Наума за все — за все, за все, что он сделал для меня, за все, что еще в будущем для меня сделает, открыл ему с благодарностью дверь, пропустил впереди себя и, остановившись на пороге, задумался: Ибо только унижения искал я для себя, не благодар-

ности — а ненависти и унижения, а Наум-то как раз и был моей ненавистью, и моим унижением, и всем. (То есть начинавшимся моим к себе состраданием.)

Медленно мы поднялись к себе. Медленно я сбросил мешок, подышал в руки. Задумался. Крадучись, Наум подошел ко мне на носках и преданно заглянул мне в глаза. Что он хотел сказать этим? Он стряхнул снег с моих плеч, погладил и расстегнул пальто... И тогда я подумал, что, может быть, я был несправедлив к нему — да, придиричив, подозрителен и несправедлив. И мне стало стыдно.

Мне стало совестно: ну, что мне стоило подвести его? Ну, что мне стоило подвести его хоть немного, дать ему отдохнуть, перевести дух. Ведь, в сущности, он ничем мне не обязан, а я-то ему обязан всем. К тому же он всегда был откровенен со мною, а я дорого это ценю. И опять я смутился, подошел к нему и попросил у него прощения. Я погладил его по волосам, тронул свалывшуюся прядку за его ухом. Он тронул меня пальцем за козелок, пластично выгнув спину. И сверканье его глаз раздалось.

И опять обида и ненависть затопили мое сердце, и я сказал ему: перестань.

— Перестань, — сказал я ему. — Перестань.

## БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Он отошел. (А я еще пожалел, что не дал ему провезти его палку!)

Он отошел на свое место возле умывальника и молча стал разглядывать ногти. Я понял, что он это делает от смущения. Но может быть, это были обида и смущение вместе. Тогда мне захотелось смягчить свой внезапный порыв, и я сказал ему:

— Наум. Давай что-нибудь почитаем.

Я сказал ему это, да. Но он презрительно искривил свои губы: наверное, он думал, что я заискиваю перед ним. Но, может быть, он подозревал во мне свою гордыню.

Что было делать? Я напряг все свое мышление. Я напряг все свои мысли и вспомнил, что мы хотели что-то с ним сделать. Затопить печь?

Я поднес мешок поближе, поставил его на подтопочный лист. Высыпал уголь в корзину, пошел и принес совок. Отгреб подальше золу, очистил колосники.

## ПОДУМАЛ

Радостный крик изумления потряс комнату: в печи оказались дрова. Черные, обгоревшие поленья. Их было два. Тогда я разрыдался от счастья.

Я открыл поддувало и возликовал. Но тут же смешался. Кто это, однако, кричал? Чей это был крик? Мой или Наума? И откуда были эти дрова? Я напряженно над этим размышлял. Я думал над этим долго и упорно, как вервь, но так и не пришел ни к какому заключению. Тогда я попробовал открыть, подскакивая, трубу, хотя знал, что с пола мне не достать. Может, потревожить Наума? Какое бы это было безумие!

Зачем я делал это? То есть зачем подпрыгивал, и торопился, и размышлял? Неужели смущение перед Наумом овладело мной до такой степени, что я уже не понимал, что делал? По-видимому, это было так.

С ухмылкой, я попробовал еще раз достать трубу, но ничего у меня не получилось и на этот раз. (Не помню, когда сползла у меня ухмылка.)

Ничего у меня не получилось и на этот раз, и я с огорчением опустился на пол (при приземлении я ее уже не застал). И я подумал, что,

может быть, я не открою трубу больше никогда. (Носки сползли со всем.)

«Бред, — подумал я. — Чепуха. Раньше-то ведь это у тебя преотлично получалось».

Это тонкое рассуждение весьма укрепило меня, и я снова поверил в свои силы. И я воспрянул духом и встал на цыпочки.

«Да, но раньше-то ведь Наум не сидел тут и не мешал тебе, — опять зашевелился червь сомнения. — Наум, Наум, Наум... Какое... невыносимое имя!»

«Чепуха, — успокоил я себя. — При чем тут Наум?» — И я опустился с цыпочек. (Если бы не носки и не ухмылка!).

Я опустился с цыпочек, уверенно подошел к стене. Взял трость бамбука. Открыл ею трубу. Наум с уважением посмотрел на меня. По-видимому, ему понравилась моя смекалка. Он хотел что-то сказать и пошевелил своими бледными губами. Я ждал. Должно быть, он хотел предложить мне спички или что-нибудь еще; я подошел к нему и вытащил их у него из кармана. Он не сопротивлялся.

Дрова, однако, не разгорались. Я поискал под кроватью других (Наум тоже сделал вид, что ищет), но, конечно, ничего не обнаружил. Я подумал о себе с раздражением.

«Вот, — подумал я. — Подумай. Если бы ты вовремя запасся дровами, тебе бы не пришлось теперь краснеть перед Наумом».

«Чепуха! Почему я должен перед ним краснеть? Я-то у себя дома», — ответил я себе сам. (Конечно, сам Лисий позавидовал бы моему рассуждению.)

Наум, однако, был со мною не согласен. Ведь он продолжал насмешливо поглядывать на меня, и я почувствовал себя виноватым (всегда, когда меня презирают, я чувствую себя виноватым).

Что мне было еще делать? Щепки дымили и не загорались, за окном уже стемнело, и я подумал, что напрасно я это затеял. Ведь жил же я как-то раньше, не замерзал. Только для него теперь и старался. (Для него же я старался для себя.)

Голос моей измученной совести подсказал мне это, и я сказал себе: хватит.

«Хватит, — сказал я себе. — Хватит».

## И ДЛЯ ДРУГИХ МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ СЕБЯ».

Я подошел к окну, взял краски. Взял краски, засомневался.

— Оставь немного красного кадмия, — задумчиво сказал Наум, продолжая смотреть на пол. — Кадмия и киновари.

Я смутился.

Я смутился, но тут же подумал, что у него, в сущности, нет никакого права на меня — чтобы так распоряжаться и командовать мною. Да и этими красками тоже. И я с отгагой посмотрел на него, еврея.

С отгагой я посмотрел на него, но он не обращал на меня никакого внимания. Наверное, он думал о чем-то своем. О чем?

Он думал о чем-то своем, и я почувствовал себя лишним. Всегда, когда при мне думают о чем-то своем, я чувствую себя ненужным. Ненужным и виноватым. Как, должно быть, чувствуют себя сырые дрова перед растопкой. Да.

Тихо я подошел к печи. Осторожно открыл дверку. Как мог, я старался не мешать ему, но она все-таки пронзительно закричала. Я весь сжался от боли, иголочной низменной боли, булавочной боли вины. Он вздрогнул, но, кажется, ничего не заметил. По крайней мере, не подал виду. Я продолжал.

Тогда я раздвинул пенал и достал оттуда несколько нетронутых

тюбиков. Выдавил их на дрова... Медленно поползло по поленьям пламя (языкатое, поползло). Я потерял руки. (От радости?)

Кажется, это были свинцовые белила (становой хребет масляной живописи). Впрочем, может быть, я и ошибался:

## КАДМИЙ ГОРИТ ТОЖЕ

Кадмий горел тоже, теперь дело пошло быстрее. Дрова быстро разгорались, и повеселевший Наум даже захотел помочь мне. Но я, конечно, не мог принять от него этой жертвы и умолял его оставаться на месте. Ведь он был гость. Нехотя он вернулся в свой угол.

Я подложил угля, подмел у печи; выбросил сметки в поддувало. Там я заметил клубочек вычесанных женских волос, метавшихся в сквозняке, и, заметив, подумал: как же у меня все-таки холодно! И как давно уже у меня не...

Но чьи все-таки это были волосы? Неужели Наума? Вряд ли. Или ее? Ее? Нет, не может быть. Слишком давно это было. Никогда. Прошла целая вечность. Ведь с тех пор я уже не однажды топил — топил, я не мог ошибиться. Волосы обязательно должны были сгореть. Или... Так вот почему мне стало вдруг так холодно и одиноко: из-за этих спутанных волос. Из-за клубка пепельных женских волос, они так и не сгорели. Как чудо бессмертия и неумирания лежали они среди обгоревших согнутых гвоздей и зывали к жизни. Наверное, они были не-сгораемыми (1-ая степень огнестойкости: кирпич, железобетон и волосы, чудные женские волосы, пепельные на вид). Но, может быть, я и ошибался.

И вдруг меня осенило. Конечно — это ее! Ее, ее! Ненасытной моей, желанной. И я закрыл глаза от счастья.

С любовью я взял этот спутанный комочек, поднес к губам... Глупые, замолчите.

## ОНИ ШЕПТАЛИ

Что шепчете вы, что говорите? Вам не больно? Не больно вам, не больно? Такие трудные, чуждые звуки. Трудные, назарейские, арамейские.

## ИУДЕЙСКИЕ

Они шептали.

Я открыл глаза. Станный мужчина сидел возле умывальника в углу, подъяв свое еврейское веко. Он сучил ногами, как дитя.

По подъятию век его, по перебору ног узнал я его склонность к блуду. Я узнал это и содрогнулся: быть может, он рассчитывал на меня?

Гнев и злоба сдавили мое сердце; черная, сочилась желчь. Откуда он взялся и похотствует на меня? Что ему здесь нужно и кто он такой?

— Я-а-а? — с удивлением вскинул брови незнакомец. — Это я-то?

И мне показалось, что он застеснялся. Но, может быть, то были обида и недоумение вместе.

— Так ведь я Наум, твой несчастный брат, твой умерщвленный во чреве брат — или ты не узнал меня? — сказал он, глумясь.

И, довольный, противно захохотал.

Я смутился, закрыл глаза. Закрыл глаза, смутился.

«Наум, Наум, Наум... — подумал я. — Какое... мучительное имя!»

Гнев потихоньку уходил. Всасывалась кровью злоба. Отравленное ее течение медленно разносилось по жилам; вот остановилось где-то у

сердца. И тогда я открыл глаза и больше никогда не закрывал их. Наверное, я боялся умереть.

Печка уже совсем догорала. Я поднялся, подложил печь. Подложил печь, прикрыл трубу. Медленное густое тепло зрело вверху у потолка, но внизу еще было холодно.

«Сколько же понадобится, однако, времени, чтобы оно опустилось к полу?» — как-то равнодушно подумал я и подумал о себе со страданием.

— Я думаю, вечности будет вполне довольно, — отвратительно захохотал Наум и заложил руки в карманы. — Ну, может быть, полторы.

Опять он был здесь! Опять он здесь и снова мучает меня! Опять это глумление! Боже, как я от него устал...

— Но ведь вечность неисчислима, — с мукой сказал я. — Как добро, как отчаяние, как...

Я сказал это шепотом и против своей воли. Зачем я хотел спорить с ним?

— Почему же? — как бы с обидой за вечность сказал он. — Почему же. Время-то вы ведь все меряете? Часы придумали, — с насмешкою кивнул он на мои часы.

Гири лежали на полу.

— Да, придумали, — сказал я с гордостью за человечество. — И не только.

Он молчал.

— Придумали — ну и что ж?

— Вот я и говорю: что ж? Время, мол, измеряете. От целого отнимаете. Часть. Часть отнимаете от целого. — И он усмехнулся.

— Какое целое?! Какая часть?! — с бледностью прошептал я и смутился.

— Не понимаешь... — разочарованно, с упреком проговорил Наум и вздохнул. — Ничего, когда-нибудь поймешь...

## ОТ ВЕЧНОСТИ НЕ ОТНИМЕШЬ

Что он хотел сказать этим? Что никакого времени нет, что это только наш, человеческий способ восприятия действительности? Но это уже было. Он, конечно, не станет повторять чужих мыслей. Тогда что же?

— Нет, повторять не стану, — с усмешкой подтвердил он и как-то суксился. — Но, видите ли. Видите ли. Отчасти вы и правы. Я также подхожу к этой великой мысли, но только с совершенно другой стороны, с другого, так сказать, боку. С совершенно! Ведь если вечное — это в то же время и бесконечное (а именно таким мне оно и представляется), то ни одна часть не может быть от него отнята, ибо оно не целое («целое», — это ведь всегда конечное, ограниченное и замкнутое, не так ли?); следовательно,

## ОТ НЕГО НЕ УБУДЕТ

Я согласился.

— Но как поступаете вы, люди? — продолжал он. — Как вы все поступаете? Вы *измеряете* его!

(Конечно, он имел в виду время.)

Здесь он задумался.

— Да, измеряете, то есть отнимаете часть от целого — то бишь от *предполагаемого* целого. А можно ли что-либо отнимать от *предполагаемого*? — Только в предположении же... Только в предположении, — как-то остервенело согласился он сам с собой, — только в предположении.

ВЫ ЖЕ ИЗМЕРЯЕТЕ ПУСТОТУ

Я промолчал. Может быть, он был и прав. Просто мне не хотелось возражать ему, да и выражался он сегодня как-то уж слишком несообразно и туманно.

Он опустил голову и задумался.

— Сколько, однако, у вас натикало? — вдруг спохватился он и посмотрел на часы. (С усмешкой.)

Дерзкие, озорные огоньки заплясали у него в глазах, и я понял, что ему просто захотелось подурочить меня, подурочить, провести и разыграть. Я перевел дух. Это было простительно!

Сказанное, однако, глубоко запало мне в душу.

«Времени нет,— весело подумал я.— Его нет. И да здравствует вечная молодость!»

Я закружился в бешеном ритме по комнате, счастье переполняло меня.

— Да-да. Да здравствует вечная молодость,— как-то устало подтвердил Наум и подтянул часы.

Опять он отошел в угол и сел на свое место (странно, у него уже появилось «свое» место, и я соглашался с этим!). Опять он вертел в руках свою бамбуковую трость и хмуро разглядывал ногти.

Я удалился и лег. Вспыхивало и дрожало пламя. Он тихо встал и подошел к печи; приложил свою ладонь к раскаленной дверке голландки. С ужасом я наблюдал за ним. Дверка остывала на глазах. Тогда он как бы нехотя отнял ладонь (это можно было заметить по его лицу; даже с каким-то неудовольствием будто) и с любопытством стал рассматривать ее.

Я содрогнулся. Сера закипела в моих ушах. Начала разливаться желчь. Я задрожал. А он преспокойно отошел к себе в угол и, кажется, даже подмигнул мне. Но, может быть, мне это только показалось. (Не все, конечно, а только то, что он подмигнул мне. В остальном я был абсолютно уверен.) Станный это был все-таки человек.

Потом я уснул, и он не беспокоил меня до самого утра.

Я проснулся, страшно болели плечи. (Как неудобно я спал!) Взглянул в угол: Наум сидел на своем месте, задумчиво положив подбородок на палку и часто моргая глазами. Он сидел, и думал, и прищурился в меня своим иудейским оком, и усмеялся.

Я усмеялся тоже.

«Жид,— подумал я.— И сидит по-жидовски. Сволочь».

Он смутился.

— Подойди сюда,— сказал я ему строго.— Посмотри на спину. (Что-то неудобное надавило мне плечи и затылок.)

Он быстро подчинился, мне показалось даже, угодливо подбежал, с каким-то нечеловеческим подобострастием. Ведь он был смущен (после смущения всегда подобострастие; вначале смущение, угодничество — и подобострастие потом).

Он смутился. Я поднял рубаху и показал ему на плечо.

— Ничего особенного,— сказал он загадочно и улыбнулся.— Но кое-что, конечно, останется.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И он пробежал у меня пальцами по позвонкам.

Я смутился, опустил рубаху; опустил рубаху, задумался.

— Наум,— сказал я.— Наум. Что у нас сегодня на календаре?

— Не знаю,— сказал он.— Не знаю. Может быть, уже восемнадцатое?

Я содрогнулся.

Я содрогнулся, посмотрел вниз, посмотрел вниз, задумался.

— Не надо,— сказал он.— Не надо. Может быть, я и ошибаюсь.

Тогда я повеселел. Он мыслил такими категориями! Я быстро оделся, подошел к умывальнику. Подошел к умывальнику, взял в руки мыло. С наслаждением тронул за сосок...

Воды, оказывается, не было! С упреком я посмотрел на Наума, с упреком, но не обвиняя. Он отвел глаза. Видимо, он чувствовал свою вину, и я простил его. Но в сердце моем не было прощения.

Медленно я подошел к окну. Начинаясь сильнейшая ростепель. Галдели возле помоев воробьи, вытаивал у сарая мусор.

Наум подошел ко мне и молча положил мне руку на плечо. Я понял это как жест примирения. И не ошибся.

Тогда он весело рассмеялся, схватил ведро и стремительно сбежал по лестнице, как школьник. Скоро он уже был внизу. Он махал мне приветливо рукою, а я отечески грозил ему пальцем в окно. Он улыбался (иногда он мог понять шутку), и задорный румянец молодости вдруг осветил его лицо. Славный это был все-таки человек.

Скоро он скрылся за углом, и я остался один. Ужасная мысль вдруг пронзила меня: он забыл свою палку! Немедленно вниз! Немедленно надо помочь ему! Мой долг! Это просто необходимо!

Я кинулся искать трость, но, конечно, не нашел ее, а только даром потерял время. Тогда я стал ходить по комнате и размышлять.

Думалось всякое. Сильные, хорошие, свежие мысли неоднократно посещали меня, и иную мне удавалось додумывать до конца. Глубокое течение мысли возобновилось; у самого изгиба сердца, в тайниках души, я нашел вдруг ту самую мысль, которую так долго и безнадежно искал раньше. Ту великую беспокойную мысль: она пришла. Она пришла, и я стал понимать, наконец, сокровенный язык своего безумия.

Ростепель, однако, продолжалась. Наум вошел, здоровый, краснощекий. Радость блистала в его глазах. Под веком замерзли слезы.

Но воды он принес не слишком много. Еще бы! Ведь он ходил за ней без трости. Нужно быть благодарным ему и за это. Я с благодарностью посмотрел на него, а он обидчиво отвернулся. (Быть может, он оттаивал слезу.)

Я подошел и взял ведро; посмотрел на него снова. Он отвернулся больше. Губы его кривились в усмешке, и взгляд его был внизу. Тогда я взял его за плечи, повернул к себе и внимательно посмотрел ему в глаза. Он смутился от моей прямоты.

Он смутился от моей прямоты, что-то злобное и громоздкое оттопыривало его пальто, и я подумал, что, может быть, он хочет бросить в меня камень. Но, может быть, я и ошибался. Конечно, лучше всего было спросить об этом у него самого, но я не решался. Было неясно, как он к этому отнесется. Еще раз внимательно я посмотрел на него, и опять он не выдержал моего взгляда.

Грустно мне стало. За что он не любил меня?

Я отошел к окну.

Косая капель летела вдоль стекол, и отчего-то вдруг стало холодно и знобко. Я поежился. Мною овладела обида.

— Наум,— сказал я ему горько.— Наум. Лучше бы ты не носил камня за пазухой, а то он упадет тебе на ноги. Да.

Он смутился.

— Да я ничего,— искривил он опять губы и осекся.— Может быть, еще и не упадет.

Я велел ему замолчать. Он подчинился. Тогда я подошел к нему, решительно распахнул его пальто и достал у него из-за пазухи голову. Она обожгла мои руки. Какая же она!..

— Немедленно отнеси ее на место,— завизжал вдруг я на него и тотчас сорвал голос.— Слышишь, немедленно! Зачем ты притащил сюда эту мерзость?— перешел вдруг я на шепот и оглянулся.— Ну, зачем, Наум?— со страданием сказал я и закрыл лицо руками. (Уже заискивал.)

— Видите ли,— подумав, сказал он.— Видите ли. Была сильная оттепель, и она оттаяла.

Я с облегчением вздохнул. Значит, он не украл ее! Значит, он ее просто нашел! Даже не позаимствовал! Я с благодарностью посмотрел на него и застегнул ему пальто на все пуговицы. Он поблагодарил меня.

— Ну хорошо,— сказал я.— Допустим. Я согласен, что ты нашел ее, была оттепель, и ты обнаружил ее, но все-таки она не наша. Не моя и не твоя — не наша. Пойди и отнеси ее на место. У нее обязательно должен быть хозяин. Обязательно.

И я отошел от него. Все-таки я был непреклонен.

Наум стал молча маяться у двери, маяться, жевать губы и маяться, видимо, ему очень не хотелось расставаться со своей находкой. (Только бы он не начал глумиться!)

— Ну, Наум, сделай это для меня, прошу тебя... — попросил я его, со страхом заглядывая ему в глаза.

Я боялся, что он мне откажет. Но он оказался молодцом.

— Хорошо,— сказал он.— Хорошо.

## Я СДЕЛАЮ ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ

В последний раз.

Я похвалил его.

Я похвалил его и еще раз придирчиво оглядел всего с головы до пят. Словно провожая в дальнюю дорогу, поправил ему на груди шарф. Пожал руку...

Слезы показались у него на глазах, и я засомневался. Мне стало до слез жаль его, но иначе я бы не смог поступить. Ведь я никогда не брал чужого, я был так воспитан и хотел того же от Наума. Я не мог переступить через себя.

— Иди, Наум, иди. Так нужно,— с дрожью в голосе сказал я.

И я слегка оттолкнул его, боясь не сдержаться. И он ушел. Сколько он там пробудет?

Он ушел, а я стал думать о себе со страданием: так вдруг мне стало холодно и одиноко.

«Ну и что, что еврей? — думал я о нем нежно.— Ну и что? Зато какой внимательный и добрый... Правда, он иногда бывает несправедлив ко мне... Не моется в бане. Ну и что? С кем этого не бывает? С каждым это случается, а с тобою-то чаще всего... Ведь ему трудно. Все гонят и презирают его. Все над ним насмеваются. Чем он заслужил? «Малый народ». Истинно так!

Господи, не от ума я спрашиваю тебя об этом, не от ума. Гонимые-то и презираемые попадут, а гордецы — нет. Они наследуют землю, а не мы. Господи, да отчего же праведным-то позор и гоненье, а нам, глупцам,— жизнь и хвала? Глумление Бога?

Нет, не от ума я спрашиваю тебя об этом, не от ума... А как же еще истина-то может сохранить свое значение, как только не будучи презираемой и гонимой? Как? Как и чем ты тогда ее испытываешь?

Вот возвеличь ее, утверди, возведи ее на престол. Дай в руки

скипетр. Сделай только это — как тут же обернется ложью. Грехом и ложью обернется и предательством, а не истиной. Да. Истина-то в страданье, в позоре и презренье, в гоненье обретается она. А сияющего, сиятельного, то есть праведника — где ты видел? Не на тронах, не в дворцах и на тронах — в тюрьмах, с протянутой рукой, с сумой по дорогам — вот где иди и ищи...

И Наум, сын Израиля, великий сын великого народа. За что они все ненавидят тебя? За что?»

Слезы бежали по моим щекам. Затуманились и оттаяли стекла.

«Все,— подумал я.— Весна. Я ожидал ее с нетерпением».

Я встал, походил по комнате. Походил, подышал в руки.

«Где же, однако, Наум?— встревожился я.— Ему уже пора вернуться».

О! — я хлопнул себя по лбу: ведь мы еще ничего с ним не ели, так-таки ничего, никогда и ни капельки!

Эта мысль сильно развеселила меня. Быть может, он об этом даже не догадывается! Надо будет сказать ему об этом. Вот, должно быть, тоже развеселится!

Милый, милый Наум. Я поискал его трость, кажется, она стояла в углу... Нет, нет. Ее не было. Наверное, он унес ее с собой.

Я постоял, подождал еще. Я стал уже волноваться. Придется, видимо, пойти и разыскать его. Милый Наум, милый. Он как маленький ребенок... Как дитя. Куда же он все-таки исчез?

Я вышел на улицу. Оттепель продолжалась. Уныло урчали под стеной голуби, галдели безжалостно воробьи.

«Угм,— помыслил я.— Эк ее! После вчерашней-то напасти. Распутство и раскаяние. Раскаяние и распутство».

С любовью я посмотрел на солнце. Оно сияло как-то по-новому, как-то по-новому свежо и прекрасно, и мне вдруг стало странно, что на это же самое солнце глядели все, все, бывшие прежде меня — и как это недавно, оказывается, было. Можно сказать, только вчера. Ведь светит еще, живет еще солнце, единственное мое, незамутненное, незакатное.

## ОДНО НА ВСЕХ

И смерть, если она бывает... Но отчего же тогда светит солнце, светило и будет светить всегда? Оно светило и будет светить всем. Вот попробуй его представить без себя: без себя, без жизни своей, без молодости, без счастья.— Не сможешь. Галактики, вселенную, бездну ее, млечные россыпи, черноту вечной ночи — только так вот их, без себя, и представляешь... А вот солнце, солнце попробуй! Нет, не сможешь... Как же это оно будет одно,

## ОДНО, БЕЗ ТЕБЯ?

Я улыбнулся. Подошел к двери дровяника. Увидел кирпичи, опилки... Смёл в кучу щепки. Сдвинул брови... И опять тревога за Наума вдруг пронзила меня, и я смело двинулся вперед.

Я подошел к колонке. Опять намерзший желтый лед подпирал прямо к соску, и я удивился, как это Наум ухитрился набрать здесь воды. Конечно, он постарался для меня.

Мутная желтая глыба льда еле сочилась на солнце, обмерзшее чугунное тело колонки нехотя оттаивало. Я дотронулся до него. Глубинный вечный холод настывшего металла бросился в мои жилы. Я задумался.

«Ничего,— подумал я.— Ничего. Скоро ты уже совсем оттаешь».

И я похлопал ее по плечу.

Наума, однако, нигде не было. Я заглянул за забор и поискал его там. Собственно, я только подтянулся на заборе, положив на него подбородок. Но я успел заметить Полину, она помахала мне приветливо рукой (как всегда, она о чем-то думала, не решаясь встать со своего Ацетилена). Наума, конечно, там никакого не было.

Тогда я обошел барак кругом (зачем, зачем я это делал, ведь никаких следов возле него не было, и... Но я хотел просто убедиться, чтобы уж никто потом не упрекнул меня за халатность и чтобы совесть моя оставалась чиста).

Я подумал вдруг, что после этого размышления он обязательно должен найтись и явиться передо мной, и я стал терпеливо ждать.

Странно, но и после этого он не появился тоже. Тогда я подумал, что, может быть, он решил ознакомиться с местностью (рекогносцировка), ведь он совсем не знал ее, что, принимая во внимание его праздный ум и любознательность, оно скорее всего так и было, но как он обойдется без проводника? Он мог заблудиться.

Он мог заблудиться, я бросился к нему на помощь.

Прежде всего, я забрался на копер и, приставив ладонь ко лбу, оглядел местность. Жалко, что я не захватил с собой подозрительной трубы, она бы сейчас очень пригодилась. Я пожалел об этом.

Я пожалел об этом; невооруженным же глазом я не обнаружил ничего. Лишь серое безмолвие руды вокруг и тяжкое бесчувствие металла. Вдали расстилался лес. Тогда я вздохнул и отнял руку от глаз. Я стоял на эстакаде.

Я отнял руку от глаз и огляделся. Две черные сгорбленные женщины приближались ко мне; впереди себя они толкали груженую вагонетку. Я помог им довести вагонетку до цели (ею оказалась сырая ужасная дыра, в которую они ссыпали руду), и мы отдохнули. Они предложили мне на выбор хлеб и сало, но я отказался от того и другого, сославшись на дела. Тогда они поблагодарили меня, и я спустился вниз.

Что мне оставалось? Только раздражение и догадки. Раздражение, досада и воображение — они уже принялись за работу.

«Да,— подсказывало мне мое чутье,— он ТАМ. Там, и нигде больше — а где же ему быть еще? У Рахили твоей, ненаглядной твоей, желанной. О-ооо...»

Я бросился к ней.

«Но, может быть,— думал я (все еще спасая его для себя),— может быть, он просто решил навестить моих знакомых, так, мало ли о чем — встретиться и поговорить... Да ведь я сам послал его туда!— вдруг догадался я.— Конечно, кто же еще! Сам, сам; говорил же я ему отнести голову на место!»

Нет, сердце мое отказывалось верить; сам я не верил. Но распуск мой был жесток. Труслив, изворотлив и жесток, ибо трусость — другое имя неверия.

Я бросился к ней.

Знакомая с детства патлатая дверь. Ржавый, из гвоздя, пробой. Длинная, через всю дверь, накладка для замка...

Я тихонько потянул дверь на себя, но она не поддавалась. Разобрав тряпье и паклю, я заглянул в мерзлую скважину. Разумеется, он был у нее! У Рахили моей, ненасытной моей, желанной! Мерзкая скважина!

Обида и горечь затопили мое сердце, и я с ненавистью ударил в дверь.

Они, как бы нехотя, прислушались. Я чувствовал это. Наверное, они думало, что это им показалось. Нет, я вам не показался, нет! Я пнул дверь еще раз.

Я пнул дверь еще раз. Стол был завален яствами. Гремела из угла

музыка. Наум, подхватившись, как в вальсе, летал по комнате, как мотылек, он танцевал с Рахилью вальс «Бостон». Он обнимал ее нежно за талию и... Ах! Он порхал!

«У-уу! Снюхались, пархатые!» — с ненавистью подумал я и опять ударил ногою в дверь.

Они прислушались снова. Особенно был подозрителен Наум, он мягко отстранил ее (она висла у него на плече) и направился к двери. Рахиль как-то испуганно бросилась за ним вдогонку и обвила его рукою за шею. Она, видимо, уже о чем-то догадывалась. Женское чутье!  
— Не надо,— шепнула она ему с упреком.— Не надо.

## ЭТО БАРСИК

Наверное, стучит хвостом.

И она уставилась в мой (карий) глаз.

Я смутился.

Я смутился, отвел глаз. Отвел глаз, смутился. Впрочем, она уже давно не смотрела в мою сторону, и я стоял на коленях напрасно. Ведь она верила в то, что я — Барсик. (Неужели она действительно верила в это?)

Снова я уставился в скважину. Дул сильнейший сквозняк, глазное яблоко приятно холодило, и это напомнило мне один известный поцелуй, тот отвратительно-влажный поцелуй, которым Наум целовал меня прежде и который он называл почему-то «поцелуем души». (Иначе он называл его еще «французским» поцелуем.)

Глаз слезился и плакал, зрел ячмень. Но было все-таки приятно. Милая Франция! Монмартр и Булонский лес!

Ячмень созрел, зудело в ухе. Я думал (всё посторонние, не идущие к делу мысли): ну откуда, откуда у нее эта музыка, эти пластинки, ведь раньше-то их у нее никогда не было. (Какое мне было дело до этой музыки, этих пластинок! Господи, как жалок, как труслив бывает рассудок: избегает, прячет в своих изгибах; лжив.)

Они сели. Рахиль с жадностью набросилась на еду, но Наум даже не притронулся. Хотя в этом-то он оказался достойным!

Она ела, краем, как бы извиняясь за свое непотребство, улыбалась ему и роняла на стол слюну. Наконец она насытилась, срыгнула громко колбасой и свинойю (притворившись рукой) и кокетливо извинилась перед ним. Потом встала, развернула какую-то растаявшую, в подтеках, конфету (она тотчас измазала ей пальцы) и попросила Наума закрыть глаза.

Он медленно, с усталостью, опустил свои черные веки и показал гнилой рот. Рахиль глубоко заложила ему в рот конфету и дала ему облизать свои шоколадные пальцы. Он жадно присосался к ее рукам (не знал он, что она делает ими), положил ей руку на живот...

Я вздрогнул. О-ооо... Надо помешать им! Помешать во что бы то ни стало! «Но как? как? — проносилось. В безумии бегал я по коридору. — Как?»

Схватившись руками за голову, я мучительно искал ответа. Время остановилось (ведь я так хотел этого и просил небо об этом). Так ничего и не придумав, я подбежал к двери и с силою ударил в нее ногой. Всей ступней. (Наум бы так ни за что не смог.)

Они вскочили (конечно, я только догадывался об этом), они вскочили, быстро привели себя в порядок. Наум принял свое равнодушное лицо, Рахиль уложила волосы, пригнала улыбку... Растерянность и смятение, смятение и растерянность. Еще бы!

Они сразу же открыли. Странно, Наум уже успел надеть пальто! Вот это скорость!

— А, это ты...— разочарованно пробормотал он.— Это ты, это ты, это ты.— И потянул дверь обратно. Он был разочарован!

Я не отпускал. Я подставил ногу и не отпускал. (Рахиль хлопотала за столом и как будто не замечала меня.) Наум вдруг покорно отдал мне дверь, отошел к женщине, как бы ища у нее защиты, и, кажется, что-то шепнул ей. Насмешливо они уставились на меня, насмешливо и с превосходством. (Превосходство и взаимное согласие тел, неразрешившейся еще плоти. Потом будет труднее.)

Тогда я резко повернулся, стиснув зубы, и ушел. Я выбежал на улицу. Ростепель не кончалась. Я подумал о своей сырой обуви, о скользкой порыжевшей коже, сырых носках. Как я далеко был от них, если бы они знали!

Я подумал о своей обуви, через минуту вышел Наум. Я знал, что он выйдет, не посмеет не выйти. Я удивился своей пронизательности.

Он вышел тихо, тихо проскользил мимо меня, как тень, глубоко заложив в рукава руки. С поднятым до ушей воротником, с втянутой головой— мимо. Его длинные волосы ложились сзади на воротник. Любимый!

Медленный, он уходил. Куда? Со страхом я глядел ему в спину; он удалялся, как день. Быть может, он обиделся на меня? У него были свои причины.

Медленно я тронулся за ним. Медленно и синхронно. Медленно мы обошли вокруг барака. Смели у сарая мусор. Медленно отправились дальше. (Оттепель продолжалась; солнце выходило из зенита.) Медленно подтянулись на заборе. Положили подбородки на обрез досок. Полина помахала нам рукой. Мы улыбнулись. Потом, все так же молча, мы подошли к колонке, постояли, подумали. Наум подышал в руки.

— Вот здесь она лежала,— произнес он вдруг вкрадчиво, пряча глаза.— Вот тут.

## ОНА ОТТАЯЛА

Я сжался от страха.

— Кто, кто лежал здесь?! — в бешенстве закричал я.— Что ты мне морочишь голову!

— Как кто? — обиделся и удивился Наум.— Как это кто?

## ГОЛОВА

Голова, сам ты ее морочишь. Не женщина же.

Усмешка вздрогнула у его губ; я содрогнулся. Дрожь била нас обоих.

— Ааа-аа...— рассмеялся я с облегчением.— Голова? Так бы и сказал сразу. Голова-головушка-головка, русая черноволосая головка.

## ЧУГУННАЯ ГОЛОВА

Мы засмеялись.

## РУСАЯ ГОЛОВА, ДА

Мы рассмеялись. Наум дружески обнял меня за плечо, он буквально захлебывался от смеха. Слезы блистали на его глазах.

— Вот здесь она лежала,— давился он от смеха.— Вот здесь... Лежала себе вот эдак, полеживала. Я отнес ее ей... Этой...

Он закашлялся.

Как! Он отнес голову Рахили! Неужели это правда?!

— Святая, святая правда,— подтвердил Наум.

С благодарностью я посмотрел на него. Значит, он взял ее и отнес, просто взял ее за волосы и отнес, значит, он лишь за этим ходил к ней, всего только за этим?

За этим, за этим и только за этим! За этим и ни за чем больше! А все остальное мне показалось, бред расстроенного воображения, яченье, ревность, зуд в ухе, страдание, отчаяние, о-ооо... Счастье переполняло меня. Счастье и легкомыслие счастья. Да!

— Вот так-так— бегал я вокруг Наума,— вот так-так...— И потирал от удовольствия руки.

Бешено кружилась голова. Милый, милый Наум. Так я оклеветал тебя! Неблагодарный же я человек!

Я сказал ему об этом. Наум стоял, смущенный. Растерянный и смущенный. Видимо, не так уже часто приходилось выслушивать ему похвалу. Извинения и похвалу. Скромность, похвальная скромность; сила сильных.

Мы пошли домой. Обнявшись, мы пошли к нам. Я целовал его в ухо. Ведь вот как, оказывается, можно ошибиться! Но чтобы так!

Я подхватил его нежно под руку, предупреждая каждый его шаг. О, я раскаивался и страдал, и страдал, раскаиваясь! Я сам был должен сделать это. Я сам был должен, а он это сделал за меня. И я посмотрел на него с упреком.

Я посмотрел на него с упреком благодарности (всегда мы, выражая кому-нибудь свою благодарность, выражаем тут же и упрек— упрек за насилие чужого великодушия; но ведь благодарность, пожалуй, только упреком и выразишь, да).

Так мы шли и радовались, а я упрекал его своей благодарностью и благодарил, упрекая. Он дал понести мне свою трость, свою желтую бамбуковую трость (медленную свою, золотую, бамбуковую), перед которой я буквально благоговел и млея. (Знаете, это бывает. Бывает, бывает, бывает. Бывает, такое пред человеком испытываешь уважение, благодарность и унижение (может быть — восхищение унижения, благодарность унижения), так оно полно, так напряженно, что не смеешь его уже сносить и испытывать, уже не снести тебе его, духу твоему не выдержать (души не хватает), и начинаешь восхищаться уж не всем человеком, не целым, а чем-нибудь по отдельности — маленькой какой-нибудь черточкой, ничтожеством, пустяком. Душа б наша не выдержала такого напряжения, разорвало б ее от счастья (унижения). Переносим поэтому свое восхищение перед полным человеком, всем, то есть целым, — на предмет его, ничтожество, частность — на шляпку, чулок, пальчик, — на пустяк, сущую частность, на ничтожество и никчемность. Вот тут-то ты и сможешь позволить себе все любить и уважать, позволишь себе сладость унижения, ибо пред *частностью* унижение, а не пред *целым*. Не пред умом, не пред гением преклонимся, а пред трудолюбием, честностью или пред тем, какой, например, был примерный семьянин. Это-то и легче, это-то счастье и есть, подлинное наше, достижимое здесь наслаждение — счастье банальности; частности и банальности. От этого не погибнем, здесь мелко, тут не утопнем, тут нам хватит души. Гениям — общее и всецелое, нам — банальность и частность.)

Я взял его трость, с любовью погладил ее полированное узловатое тело, заглянул ему в глаза. Наум весело что-то щебетал, не обращая на меня внимания. Что ему было до меня? Такие, как он, редко находят себе друзей.

Мы присели, полюбовались на весну. Послушали пение птиц. Даже голуби не показались мне сегодня такими глупыми и бесцельными. Нет, это были вполне достойные, заслуживающие уважения птицы, заслуживающие жизни существа (странно: птице не идет как-то имя «существо»; может быть, она вовсе и не существует? Скорее все-

го, оно так и было). Это тонкое рассуждение сильно позабавило меня, и я улыбнулся.

— Пойдем, Наум,— мягко потянул я его.— Пойдем, пойдем, милый...

Но он продолжал слушать птиц. (Глупый, их же нет. Ведь я уже твердо решил для себя: их нет. Но он, очевидно, еще не пришел к этому.)

Он стоял, заложив руки в подмышки, и, по-детски высоко задрав голову, придерживал шапку рукою. Странно, он совсем не отбрасывал тени! (Моя простиралась до его ног.)

Моя тень простиралась до его ног, в небе начинались облака. Дикие черные голуби высоко кружили над нами, роняя сизые перья; в скворешню прилетел скворец. Старый седой скворец (мы знакомы уже много лет) только что прилетел и в беспокойстве оглядывал свой дом, охорашиваясь перед своей отсутствующей подругой. Наверное, он собирался завести детей. Я улыбнулся.

Я улыбнулся и хотел сказать об этом Науму, поделиться своими весенними впечатлениями. Но он все глядел и глядел вверх, и думы его были не со мной. Я не стал мешать ему, пусть помечтает. Пусть помечтает в последний раз, ведь ему уже осталось недолго.

— Послушай, Наум,— вдруг сказал я.— Когда я думаю о высоком, я смотрю на небо. А ты?

— Я? — рассеянно откликнулся он. — Я нет... Да я и не думаю о высоком. Никогда.

И он вернулся.

Он вернулся, опустил голову. Опустил голову, посмотрел вниз. Забрал у меня из подмышки трость... Молча мы взяли за руки и пошли, влюбленные и счастливые. Куда?

Прилетела его седая подруга.

Мы поднялись к себе. Весенние радостные сквозняки гуляли по комнате и колебали рваные занавески. Дребезжали от ветра стекла. Ледяная, неслась капель.

Распутство и раскаяние. Раскаяние и распутство. (Завтра опять будет распутство, я это знаю. Всегда после раскаяния — распутство, всегда после смятения — раскаяние.)

Наум хитро посмотрел на меня.

— Можно, я положу тебе ноги на живот,— вкрадчиво сказал он и смутился. (Зачем же тогда просьбы, если не смеешь?)

Я попросил его подождать. Я попросил его подождать вечера, когда стемнеет. Он согласился. Тогда мне оставалось еще сообщить ему последнюю тайну, последнюю тайну о нас между нами.

Я подумал, как мне лучше всего сделать это. Он, конечно, ни о чем не догадывается. Быть может, и не надо ему говорить ни о чем? Ведь это будет похоже на постыдное разоблачение, быть может, даже на предательство, и подлость, и... Но я не хотел, чтоб что-то еще оставалось невысказанное между нами. И поэтому я сказал ему, сказал со всею твердостью и решимостью, на какие был способен: «Наум».

— Наум,— сказал я.— Мы не ели уже несколько дней и, может быть, даже несколько больше.

И я смело посмотрел на него.

Он покраснел, смутился. Смутился, отвел глаза. Нехотя он стал отнекиваться, кукситься и отнекиваться: живот болит и прочее, печень болит и прочее, живот, голова и печень. И прочая.

— Дипорепокторпошáпонапомепостéпо! — завизжал он вдруг на меня и понес такую околесицу, в которой уж я ничего не разобрал.

Что это он? Какая директорша? Какое место? При чем тут она?  
— Наум,— сказал я ему строго (уже что-то подозревая). Наум.

## ОСТРОГО Я НЕ ЕМ

Имей это в виду.

Тогда он замолк.

Тогда он замолк, я подошел к нему, взял его за подбородок.

— А ну, посмотри мне в глаза, еврей,— сказал я.— А ну, посмотри.

Он как-то сразу засмутился. Он виновато поднял на меня свои прекрасные глаза и тут же опустил их снова (отчего, отчего я думал, что они прекрасные? — от вины. От признания вины). Он опустил их упрямо и как-то брезгливо, до самых пят, передернулся. Снова во мне стало расти подозрение, мутное малодушие подозрения... Нет, оно уже выросло; к этому времени оно уже было с Эйфелеву башню (мое подозрение всегда растет как правильный равнобедренный треугольник, основание снизу). Острие выходило вверх.

— А-аа!..— закричал я шепотом, презирая.— Так ты, значит, все-таки был ТАМ?! Все-таки, оказывается, был?!— И я схватил его за воротник.

Он вырвался. Вырвавшись же, он опять как-то брезгливо передернулся и стал проверять свои пуговицы. Конечно, он был смущен. Как будто я был способен на это! Мне показалось даже, что он сплюнул в мою сторону. (Я никогда не ворочал ни чужих пуговиц, ни конфет.)

Что-оо?! Бунт?! Снова я стал приступать к нему. Особенно меня поразил этот презрительный, ни с чем не сравнимый плевок в пыль (он катался в углу как ртуть).

Я ткнул его в грудь кулаком, замахнулся на него локтем. Он спокойно, как бы нехотя, отвел мою руку, и безразличие заскользило на его лице.

— Снюхался, пархатый! Вздумал обманывать меня! Жидовская морда!

Я не мог подобрать слов. Конечно, он жрал с нею; жрал и спал, ел свинину. Негодование несло мимо меня — со мною. Бледнели мои острые позвонки.

Но что я думал о нем? Что? Не Наум, не этот несчастный жиденок, виделся сейчас мне, а его раскормленная ухажерка. Выплывало из меня (острие торчало кверху) ее тяжелое манное тело, замкнутое в крепдешин. Ее сала́ и ее сало.

## ТУК

Шматами висел над лоном.

О неистовство срабвы, безумие похоти! Над лоном развесила; заплыло. Заплыло, свиное, заплыло. Гроб непотребства! (Бесплодные лона праведных! У девственниц — нечестивые.)

Оо-оо... Его рука на ее сале, бледная, на крепдешине. Бледная, на бледном; не поворачивается язык... О, осквернение чрева! Изблукете его!

Мысли пронеслись так стремительно, что я не успевал их додумывать до конца. Но, может быть, это были не мысли, а токи гнева и вожделения? Я колебался. Когда же они затихли, я сказал Науму:

— Ну хорошо. Но зачем же было обманывать меня?

— Извини,— пробормотал он растерянно, и страдание отразилось на его лице.— Прости. Так все как-то, знаете ли, думал...

## ПРОСКОЧУ

Значит, все было потеряно. Он сознался. Значит, он все-таки был там. Был. Если б он начал выворачиваться и лгать, то я бы, конечно, ему не поверил, но все-таки было бы легче. Легче. Ведь всегда даже самая чудовищная ложь, самая чудовищная и очевиднейшая ложь еще оставляла мне маленькую надежду, если, конечно, я сам был в ней заинтересован. Но здесь...

Значит, все. С этого дня мне остается лишь ревность, ревность и зависть, одиночество плоти. Конец.

Я закрыл руками лицо, поднял и сжал диафрагму. Невольно приостановилось дыхание...

— Наум,— прошептал я губами,— ну что ты делаешь со мной? Ну что ты со мною делаешь?

Сквозь мокрые пальцы я наблюдал за ним. Он также пристально глядел на меня. В его взгляде были прямота и упорство. Господи, ни тени сомнения! Вот как надо грешить — чтоб еще чувствовать свое превосходство. (Нет, гадкий, скрытый грех все-таки слаже; грех *пополам* с добродетелью (не то; не пополам, а *под маской* добродетели) слаже.)

Он встал. Недовольный, он посмотрел на меня сверху вниз (я все-таки следил за ним сквозь сдавленные пальцы; сквозь веки, из-под слез).

Он встал, вытянул правую ногу, осторожно нащупал носком пол впереди себя, как бы пробуя с опаской воду; неуверенно ступил. Сделал еще шаг (такой же неуверенный и осторожный). Вышли и сели по углам мыши. Приподнялись и опустились сумерки. Трость отошла на место. Я содрогнулся.

## ОН ПРИБЛИЖАЛСЯ КО МНЕ

Каждый шаг его был все неуверенней и глуше, он пробовал носками воду, глаза его были широко раскрыты, но, кажется, он ими ничего не видел. Я взгляделся в него: он весь обратился в слух.

Он весь обратился в слух, в мочке его уха болталась серебряная серьга. Он стал искать руками, как слепой. Неужели он искал меня? Я сжался от страха.

Я стал растворяться, тело мое становилось зыбким и текучим, как сжиженный кислород, оно вытягивалось в какую-то невероятную, невообразимую форму и завихрялось с концов. Раздался вдруг какой-то длинный щемящий свист, как бы свист выпускаемого из баллона газа, и я начал твердеть. Жидкий горячий сургуч стал заливать меня, он обтекал меня со всех сторон, свивая вокруг меня кокон. Тонкие липкие нити кольцами ложились на мое тело, отнимая у меня рассудок и волю. Мягко кружилась голова...

Он представился мне вдруг жирной зеленой гусеницей с противными редкими волосками на животе; жадной волосатой гусеницей, вставшей на попу, в руке у гусеницы была трость.

Я сделал последнее усилие, страшно напряг руки. Но кокон уже принял форму яйца: меня запечатали до головы.

Я стану бабочкой, легкой порхающей бабочкой, летом, весной. Мне не будут страшны ветры, злые зимние ветры, холод и снег. Алый свет струится под веками, долгий сон сковывает куколку, она мечтает о лете.

Она мечтает о лете, она мечтает заснуть навсегда...

Как крепко я сегодня спал. Мне кажется, я был двенадцатилетним. Я вылез из-под одеяла. Унылый сквозняк бродил по комнате, как

нищий. Из щелей выдувало пыль. Я посмотрел в окно. Все стекла были залеплены сырым снегом, рыхлым и крупным, как творог. Тогда я подумал, почему у меня так холодно. Неужели мои стены стали так ветхи, что больше не держат тепла? Этого не могло быть. Я стал размышлять об этом.

Я стал размышлять об этом. Понемногу я стал о чем-то догадываться. Конечно, это была труба. Разумеется, она. Просто я забыл закрыть трубу, надо закрыть ее, вот и все. Я хотел встать и идти, но передумал. Как-то трудно все-таки решиться сразу: слишком уж было холодно и пусто. Но, наконец, я решился. Я встал, накинул на плечи одеяло...

— Не надо, — умоляя, сказал кто-то (кто был сильнее меня). — Не надо. Я уже закрыл ее.

С удивлением я огляделся вокруг. Кто бы это мог быть? Черт, покажется же такое! К голландке я все-таки не пошел: что-то внушало мне надежду, что мое желание уже исполнено. Тогда я подошел к стене. Вдохнув, снял ноги с гвоздя, посмотрел их на свет. Неясные тени скользили по комнате.

Прозрачные, они висели на стене. Почему-то я подумал вдруг о солнечном затмении. Это было интересно. Напряженно я стал размышлять об этом.

Что, что меня натолкнуло на эту мысль? На эту безнравственную, легкомысленную, чудовищную мысль? Ответа, однако, не находилось.

Мерзкий ехидный смешок почудился мне из угла. Я оглянулся. (Почему я все-таки оглянулся, когда знал, что все это мне только показало? Почему? И почему я думал о затмении?)

— Очень просто, — сказал мне кто-то. — О, это очень даже просто...

Я вгляделся снова. Мой взгляд беспокойно блуждал по комнате, но всякий раз почему-то невольно возвращался в угол. Почему? Вот это-то меня и смущало. Я отвел глаза.

— Нет-нет, вы не ошибаетесь, я именно здесь, — забормотал вдруг испуганно кто-то. — Я именно здесь... Я...

Я включил свет.

Станный мужчина сидел возле умывальника в углу и прикладывал к уху камертон.

Он все отводил его и прикладывал к уху снова, а я с любопытством смотрел на гостя, как на диковинку. Кем он был и что ему было нужно? — Это оставалось загадкой.

Он сидел на стуле, смешно поджав под себя ноги. Странно он сидел — словно их и не было вовсе, из носу у него капало, как у ребенка, а расстегнутое пальто свисало до пола.

Я подошел к нему. Он был красив и одарен, однако давно не брит. Молодость еще боролась в нем, но уже начала уступать. Казалось, ему было до тридцати.

Рядом с незнакомцем стояли высокие разбитые ботинки какого-то странного, должно быть, заграничного, фасона; на пальто не хватало пуговиц.

Я подошел к нему, погладил его мышастый воротник.

— Так скажите мне, почему я все-таки об этом подумал? — мягко попросил я.

Я начал уже привыкать к нему.

— О, это совсем просто, — живо откликнулся незнакомец, — ведь вы смотрели на ноги.

Я согласился. Это было действительно так.

Я согласился, но, однако, ничего не понял. Он помогал мне:

— Вы держали в руках ноги...

Я помотал головой.

— Вы держали в руках ноги, потом вы их повесили на место...

Я помотал головой.

— Ноги, ноги Рентгена, они висели над кроватью на стене...

Я помотал головой.

— Хм... не понимаете... — с обидой сказал гость — Мысли моей не понимаете... — И он сжал обкусанные губы. До крови.

Я отошел от него. За что он обиделся на меня? Я не виноват, что не понимал его умозрений. Но сознавал ли он, что для меня это был вовсе не пустяк?

Мы молчали. Я ждал, что он все-таки объяснится. Но он упорно молчал и сопел. Тогда я подтянул часы, и стрелки бешено замотались по циферблату, что сильно развлекло меня. Но незнакомец со страхом следил за стрелками, кружа вслед за ними головой, и я невольно подчинился его страху. (Перенял его настроение.)

Я посмотрел в окно.

Я посмотрел в окно, гири упали на пол. (Раскаяние продолжалось.) И когда они упали и стрелки остановились, незнакомец страшно закричал на меня:

— Не понимаете, лицемеры! Лицо земли и неба различать умеете, а знамений времени не понимаете?!

И он замолчал опять.

Что было делать?! Я нервно стал бегать по комнате, заложив руки в рукава. Чего он от меня хотел? Что я ему сделал? Ведь так недолго и до сумасшествия... И...

— Недолго, — подтвердил незнакомец и вытащил из кармана камертон. — В особенности, если с такими, как вы.

— Ну хорошо; пускай я туп; неразвит, ограничен и туп, пускай не понимаю. Но объяснить-то вы ведь могли? Ведь могли же? Могли? — сказал я.

Он покачал головой.

— Ноги, — задумчиво сказал он и закрыл глаза. — Ноги... Ноги Рентгена. Черная магия. Кровь. Амальгама.

## ЗАКОПТЕЛОЕ СТЕКЛО

Я вздрогнул.

Я вздрогнул и опять подумал о солнечном затмении. Почему, почему я о нем думал?

— Закоптелое стекло, — повторил незнакомец устало и вздохнул. — В бархате сажи. Да.

Теперь я понял. Он хотел сказать, что рентгеновский снимок моих ног был похож на закоптелое стекло, в которое наблюдают солнечное затмение, и поэтому... О, это выдавало в нем пронизательный, быть может, даже выдающийся ум! С уважением я посмотрел на него. Самому мне, конечно, никогда бы об этом не догадаться.

Он встал, зашнуровал ботинки. Поежился, посмотрел на дверь. Неужели он хотел уйти? Я подумал об этом со страхом, ведь я уже начал привыкать к нему. Конечно, его раздражало мое непонимание. Мне захотелось удержать его.

— Послушайте, — сказал я ему примирительно. — Послушайте. Нельзя же все-таки быть таким обидчивым... Ну останьтесь, прошу вас. Все образуется. Быть может, я еще исправлюсь. Стану покладистее.

И я игриво подмигнул ему.

Он, однако, не принял моей шутки. (Вот чего он мне не простил!) Наверное, она показалась ему неуместной. Тогда я отошел к окну и стал думать о затмении. Почему я снова об этом думал? Ведь распо-

жение планет было таково, что... Нет, оно не было благоприятным. Я чувствовал себя виноватым.

— Вы опять! — завизжал вдруг тот, в углу. — Снова вы об этом думаете! Сколько раз вас предупреждать! Неблагодарный!

Я опустил голову. Незнакомец был прав: не следовало мне больше об этом думать. Хватит. Я попался с поличным.

Тогда я развеселился. Я подумал, что не такая уж была за мною тяжкая вина, чтобы сидеть, повесив нос, и что лучше думать о чем-нибудь веселом. Так легко удовлетвориться малым! И я подумал о пиле, что висела у меня в сарае и никогда не закрывалась на замок. Почему я об этом подумал? — Я хотел думать о веселом!

Я хотел думать о веселом, а пила пела.

— И вовсе не поэтому, — с обидой подхватил незнакомец. — И вовсе даже не поэтому...

Я с любопытством посмотрел на него. Что он хотел этим сказать? Что за возражения?

— Хорошо, — сказал я, готовый к примирению. — Хорошо.

### ПОЧЕМУ ЖЕ?

— Все-то ему скажи-расскажи, скажи-расскажи... — с неудовольствием пробурчал незнакомец и отвернулся.

### МНОГОГО ХОЧЕШЬ

«Неврастеник какой-то, шут», — весело подумал я, но он перебил меня.

— Ну, хорошо, пила, — сказал незнакомец насмешливо. — Ну, хорошо. А голову-то вы где возьмете? Она-то ведь на дороге не валяется. Это ведь только мне, скрупулезному, под силу.

— Голову, — смутился я. — Голову... Ах да, голову! Голову, головушку, головку, русую черноволосую головку... — вскинулся я и с облегчением рассмеялся. — Ну, ее-то мы, матушку, купим. Нет ничего легче. Так-таки возьмем и купим.

### ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ КОПЕЕК

Почти рваный. Вот.

Незнакомец задумался. Видимо, я здорово поддел его этим. Сразу увидел, кто я такой. А я не шит лыком.

— Быть может, еще и не купите, — пробормотал он, не зная, что возразить. — Быть может, их еще нет в продаже. Сезон-то не наступил.

— Чего же, — весело возразил я ему. — Чего же. Этого мы ждать не станем.

### БЫЛА БЫ ОХОТА

— Тогда вста-ать!! — заорал вдруг на меня незнакомец как полоумный. — Дома заморозки, как в Заполярье, а он расселся! Барин мне тоже выискался!

Я рассмеялся. Незнакомец как-то смешно набычился (притом же из носу его капало), а потом вдруг вскипел и принялся бегать по комнате, размахивая руками, как маньяк. Я развеселился.

Я развеселился, похлопал его по плечу. Похлопал его по плечу, задумался. Велел ему немедленно одеваться. Ну, если он так хочет...

Но он все еще злился и не слушался меня. Я ему не мешал; ведь я понимал: когда человек неправ (и когда он понимает, что он неправ), ему следует дать сохранить хотя бы видимость правоты, — не возражать ему, и он будет тебе благодарен. Ведь, в сущности, во всем

важна лишь эта видимость, только она одна, а голая истина — лишь для немногих. Понимал ли он это? Я думаю, понимал как никто.

Мы вышли. Вьюга бросилась нам в лицо (чем глубже раскаяние, тем ниже падение); он как-то сразу вполпогибели скрючился и часто засеменял ножками, а я хлопнул его по плечу.

— Держись, Наум! — сказал я. — Ведь ты хотел этого!

(«Наум, Наум, Наум... Какое... мучительное имя!»)

Мы вышли на улицу. Он как-то странно скрючился и стал всячески увивать от меня. Сначала, видите ли, у него не оказалось варежек, затем закапало из носа (его аргументация), потом вообще он страшно закашлялся и взялся за грудь. Неужели он испугался непогоды? Это было бы смешно. (Но это было в его характере.)

Насмешливо я посмотрел на него, насмешливо и молодецки, но розовая пена выступила по краям его губ, и мне подумалось, что, может быть, он не лжет. Быть может, он и взаправду болен, даже точно — это было именно так, но я словно бы и не замечал этого. Наверное, я просто подумал, что небольшая прогулка будет ему бесполезна, что метель как-никак скоро утихнет и что вообще его дурное настроение рассеется на воздухе и он снова станет тем милым и покладистым человеком, каким я его всегда знал и любил.

Мы вошли в сарай. Стоял тот царственный полумрак, полумрак пополам со снегом, который возможен лишь в середине вьюжного апрельского дня (в два часа пополудни) и который, видимо, был так приятен моему спутнику. Он повеселел. За эти дни в щели намело столько, что в сарае лежали буквально сугробы. Многочисленные следы испещряли их.

— Боюсь, что это отнюдь не птичьи следы, — солидно сказал Наум и достал из кармана лупу.

Как будто я спорил с ним!

Где он, однако, взял ее? С видом записного криминалиста он то и дело припадал животом к следу и рассматривал его в стекло, прищуривался и наводил опять. Настоящий сыщик из Скотланд-Ярда!

Я рассмеялся. Нечего было и говорить — как это было смешно: его ободранная лупа и его прищуренный глаз. Да и темнота здесь стояла почти непроницаемая, так что зря он напрягал зрение и со здавал имидж. К тому же, это были настоящие птичьи следы, нормальные воробьиные или какие-нибудь еще. Но, может быть, я и ошибался.

Он подошел к куче старья. Брезгливо порылся там ногою, смешно оттопыривая носок; он презирал меня в эту минуту. За что? Это был хлам, который неизбежно накапливается у всякого сколько-нибудь пожилого человека и с которым ему часто не под силу расстаться. Ведь прошлое, так бесконечно ценимое нами — каким бы оно ни было, — ничего не стоит без этого хлама, ибо только с ним прошлое вещно и предметно.

Он выбрал себе грелку и детский игрушечный пистолет и попросил их у меня. Я заколебался. Зеленая резиновая грелка сильно запылилась, поблекла и вообще уже, кажется, была худа и ни на что не годна, кроме как на воспоминание. Но это воспоминанье было дорого мне. К тому же она сильно потрескалась на морозе; пистолет же был в полном порядке. С сожалением я разрешил ему взять эти вещи (грелку, впрочем, он тут же выбросил, сам понял, что я был прав). Он остался очень доволен.

Тогда, утешая себя, я снял пилу с гвоздя и вышел. Метель не унималась.

Метель не унималась, я закинул пилу на плечо. Все несло и мешалось, буря свергалась сверху и снизу, барак занесло до половины, волосы мои до льда обынделели, и я подумал, что дальше так

продолжаться не может. Это непременно должно скоро прекратиться, эта непогода, но, может быть, это не кончится никогда. Интересно, что думают об этом скворцы? Им-то, наверное, и невдомек, что весна может и не наступить. Глупая самоуверенность!

Наум, однако, не выходил. Я окликнул его.

— Сейчас-сейчас, обождите, пожалуйста, минуточку обождите, сейчас...— тотчас отозвался Наум как-то виновато и искательно, и я подумал, что он, наверное, решил справить нужду. (Всегда он делается каким-то виноватым и непримиримым, когда ему необходимо справить нужду.)

Я не мешал ему.

Скоро он появился. Опять у него был какой-то смущенный и взъерошенный, как у воробья, вид, как мне показалось, несколько вороватый и странный, но я пытался этого не замечать. Ведь я подумал, что хорошо понимать людей, знать их до дна, но еще важнее знать и понимать, как опасно обнаруживать перед ними это понимание. И я попытался притвориться равнодушным — так, знаете ли, смотрю на весенний снег, смотрю и думаю, ничего не замечаю,— но Наум, конечно, что-то уже подозревал. И он тоже молчал и смотрел на меня, делая вид, что не понимает моего о нем понимания, и это было очень тяжело. А я смотрел на него и думал, что вот он смотрит и думает, что я понимаю его понимание моего о нем понимания — и это было еще тяжелее. И это было еще тяжелее, и это было бесконечно.

Так мы шли и думали, возводя понимание в степень (понимание, умноженное на 2),— и этому не было конца. Ибо никто из нас не мог остановиться первым — ведь первым здесь должен был остановиться тот, кто более другого ограничен, а мы были равны друг другу, и мы понимали это. Ибо кто постиг это (понимание понимания чужого о себе понимания), тот нашел ключ к человеку, того не достигнет ложь, искренность утвердится, и истина пребудет.

Так мы шли, и думали, и знали, что нам не остановиться, и пела пила.

Наум подбежал и остановил ее. Я, конечно, понимал, что ему, может быть, было уже не в состоянии это понимание понимания понимания, что он решил, наконец, прекратить эту гонку и что, может быть, ему хочется сейчас непонимания — не простого, конечно, непонимания, а непонимания в степени «п». И он понял, что я понял, а я понял, что он понял, то есть я понял его о себе понимание — и все началось сначала.

Мука отразилась на его лице, и он со стоном опустился на снег. (Симулировал?) Я поддержал его, заглянул ему в глаза. Ни на минуту не оставляло нас это, и мы понимали друг друга. Что было делать? Как прекратить? Мы страшно устали друг от друга, и я решил отпустить его.

Он кротко, сдержанно поблагодарил меня и тихо поплелся к дому, а я все смотрел ему вслед и думал, что он думает, как я о нем думаю — и этому не было конца.

Видимо, он почувствовал мой взгляд. Видимо, он его все-таки почувствовал, но почему-то не захотел обернуться, нет. Наверное, он знал, что я знаю, что он знает, ибо, понимая, он понимал.

Резко он повернулся ко мне. Подбежал, взял за руки. Отважно.

— Не надо,— умоляя, сказал он.— Не надо. Прошу вас, больше никогда...

И я тоже попросил прощения. За все. Я сделал это тотчас же вслед за ним, а надо было одновременно. Ибо пауза была так велика, что она могла разорвать нас, и это могло начаться снова. И оно уже началось. Наперегонки, теперь мы начали прощать друг друга. Прощение прощения прощения. (Прощание.)

Болезненно искривились его губы, отчаяние пронеслось по его щекам.

— Прости,— прошептал я.— Прости.

## Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ

И он произнес это вслед за мною, сразу же и тотчас вслед, но пауза была так огромна, что она могла разорвать нас. (Сколько же в ней вмещалось отчаяния!)

Вьюга вдруг остановилась. Это была минута абсолютного равновесия; все центры вдруг внезапно совпали, сжалось и замерло сердце. Тронулась, вернувшись из смертельной паузы, кровь. И это отвлекло нас. Как зачарованные, мы глядели друг другу в глаза, ощущая этот прилив вечности в нас. И зла не было между нами. Но затем снова все заколебалось и стало зыбким и неуверенным, сместились, разошлись и стали удаляться друг от друга центры, взлохотало и заработало сердце, тронулась кровь. Но мы больше не думали об этом, Миг Абсолютного Покоя помог нам.

Я быстро и уверенно шел вперед, иногда поворачиваясь к вьюге спиной; как паруса надувала она мою одежду, пробиралась к посиневшим локтям. Наум часто отставал. Тогда я все бросал и спешил к нему на помощь, и мы вместе преодолевали непогоду. Особенно нам нравилось преодолевать подъемы, потому что мы их преодолевали сообща. Я думаю, что это было чувство локтя, но все-таки иногда было тяжело.

На спуске было значительно легче. Сообща мы садились на нашу пилу, и она, прихотливо изгибая свое стальное тело, стремительно сносила нас вниз. Мы летели в снег; Наум весело хохотал, прыгал и резвился, как ребенок, а я ежился и грустил. Давно не испытываемое мною ощущение детства вдруг нахлынуло на меня, я натянул свои рукава на обмороженные запястья, постучал ного об ногу, вздрогнул. Я спросил у Наума, помнит ли он детство и часто ли ему приходилось отмораживать руки, в особенности тонкую, узкую полоску натертой докрасна кожи между варежкой и рукавом, которую всегда отмораживают вырастающие из своей одежды мальчишки...

— Да, п-помню,— сказал Наум неуверенно.— Да, к-кажется, помню,— сказал он и шмыгнул носом. Он сильно замерз.

Тогда мы ускорили шаг, и я больше не давал ему отставать. (Не задавал ему глупых вопросов.) Я взял его за руку, потянул его за собой. Он пыхтел, но не сдавался, старался и спешил, как мог.

Скоро мы пришли. Я быстро разгреб ногами снег и вымерял столб шагами (свежие сосновые бревна с ободранной кожурой; бетонные пасынки). (Изоляторы еще не были вкручены в дерево.) Я вымерял столб шагами и постарался запомнить то число. Наум что-то прошептал во вьюгу. Я посмотрел вверх.

Дров было достаточно, я так и думал. Это сильно подняло мой дух, я сказал об этом Науму, и мы начали пилить.

Наум, конечно, был в этом деле новичок, но он оказался способным учеником. Я попросил его только быть внимательнее и не задерживаться, тянуть пилу вовремя и не давать ей гнуться, когда я... Главное, не толкать ее раньше, чем я потяну. Он скоро все понял и с удовольствием стал работать со мною.

Опилки летели ему в лицо, мгла и мокрядь кружились над нами, но он так разволновался, что не обращал на это никакого внимания. Бледный румянец окружил его щеки; быть может, работа разогрела его, и он раскраснелся, но, может быть, это был румянец смущения. От чего?

Я словно устал. (Я как бы смущался перед собою.) Сев на брев-

мо, я подумал, что вьюга отдает холодным свежераспиленным деревом, и, подумав так, улыбнулся. Это было поэтическое ощущение! Я улыбнулся потому, что товарищу моему, вероятно, были недоступны такие сравнения. Посредственность! Фабричный товар природы!

Я посмотрел на него. Смешно гримасничая и морщась, он продолжал дергать пилою один, но у него, конечно, ничего не получалось. Наивный! Он и не подозревал, как труден этот одиночный способ и понапрасну мучился, нетерпеливо и злобствуя поглядывая на меня, словно вина меня в чем-то!

Наконец и он устал тоже. Он сел рядом, взгрустнул. Неужели он был расстроен неудачей? По-видимому, это было так. Нашел о чем грустить. Я заметил, как легко возникает на морозе чувство дружбы и как легко оно переходит в отчуждение. Но я не сказал ему об этом. Он недовольно покосился.

Мы посидели немного, посомневались. Разогретые наши тела начали быстро остывать на ветру, да и метель, к тому же, все усиливалась, борясь с собою. Мы поиграли в ладоши. (Он то и дело сбивался с ритма.) Затем попрыгали немного, потолкались. Я велел ему тотчас собираться. Он запротестовал, заикался, как ребенок, поджал по-детски губы и заплакал. Тогда я решил пойти ему навстречу. (Он хотел еще работать!)

— Хорошо,— сказал я ему.— Хорошо. Но еще только два пила.

Он недовольно скуксился и замолчал, но, видимо, все-таки был рад, что настоял на своем. Мы начали снова.

Теперь работали споро. Наум больше не отставал, не забегал вперед и не суетился, и румянец наивной гордости, пополам с румянцем метели, разлился по его щекам. Я по-отцовски поощрял его, и он с благодарностью принимал мои похвалы.

Скоро мы сделали не два, а целых четыре пила или, может быть, пять; Наум хотел было еще, но я решил больше не поддаваться на его уговоры. Ведь мы уже приблизились к пасынку.

— Нельзя,— сказал я ему строго.— Нельзя.

## НАМ НЕ УНЕСТИ

(Ног?)

Собственно, это был только повод. Я изобрел его для нужд дедукции. Разумеется, всего этого мы бы, конечно, не унесли, да нам и не нужно было сразу столько. Просто я боялся затупить наши зубья (ведь мы уже приблизились к пасынку); жаль, что он этого не понимал.

Он опять заикался, ударил по пасынку ногой и сильно зашиб ее. (Его?) Он ударил его во гневе. Потом разулся и, приблизив ногу к губам, стал отчаянно дуть на нее, как-то по-детски морщась и негодуя. Слово пасынок был в чем-то виноват!

— Пойдем, пойдем, Наум,— мягко потянул я своего спутника, едва сдерживая улыбку, а он еще немного подулся и покапризничал для виду.

Наконец он согласился. Мы связали два чурбака вместе (он уступил для этого свой великолепный шерстяной шарф), опять постояли, похлопали друг друга в ладоши. Науму эта игра очень понравилась, и он попросил, чтобы я получше показал ее ему дома. Я пообещал. По-видимому, она развивала в нем чувство ритма. (Он хотел совпасть с самим собою.)

С опаской поглядел я на небо: последние силы собирались наверху, готовые обрушиться вниз. Я дал Науму нашу двухручную пилу, а сам впрягся в поклажу. Небо незамедлительно бросилось на нас, и

мы поспешили к дому. Слякоть, дождь, снег, мокрядь проникали в нас — мы поспешили.

Наум, заложив пилу за шею, смешно играл ею, издавая в аккомпанимент какие-то носовые звуки, но, может быть, это пела пила. Я вслушался:

## ПИЛА ПЕЛА

Мы быстро приближались к дому. Наум иногда помогал мне, кряхтел и тянул за шарф пальцем. Я понимал это как шутку и не обижался на него. Я грозил ему пальцем и улыбался. Он был чист, как ребенок.

Иногда он отставал от меня, поворачивался ко мне спиной и подолгу стоял так, сгорбившись, словно что-то там у себя разглядывая и пряча. Что он прятал от меня? Что? И на таком ветру. Крестик? Вряд ли меня это по-настоящему интересовало, но все-таки зачем он створачивался от меня? Ведь вьюга-то теперь была нам скорее на руку, чем препятствием, и дула в спину. Но, может быть, я и ошибался, и она переменяла направление. (Участь?)

Отдыхать приходилось часто. Собственно, я делал это на каждом шагу. Я делал это для Наума: ведь он все время отставал, падал. Видимо, у него разболелась и захромала нога, не может быть, чтобы она просто замерзла. Слишком жестоки были его страдания.

Так смешно было наблюдать за ним! Встанет вдруг и смешно отставит вбок ногу и так и стоит, вобрав голову в плечи и дыша губами в рукавицы. Застыл, как памятник. Подойду к нему, подбодрю, потреплю его по щеке. Уговорю идти снова. Вроде бы согласится... Но тут же станет опять — и ничем уж его не стронуть. Тут же примется вздыхать и говорить, что ему уж все равно, что легче уж остаться здесь, в снегу, чем продолжать этот утомительный путь — и слезы вдруг покажутся на его глазах.

Я, как мог, помогал ему. Но что я мог? Я понимал, что он замерз, и отдал ему свои последние рукавицы, сняли нахлобучил ему свою теплую шапку, поделился и нравственным теплом. Но воля его парализовалась, и все было бессмысленно. Тогда я бросил все, схватил его, растормошил; посадил его себе на плечи... (Он, кажется, ухмыльнулся.)

Медленно я двинулся к дому. «Надо будет вернуться еще потом за дровами,— думал я как-то безучастно и как бы без него,— надо будет потом за ними обязательно вернуться... Вот отнесу только Наума и вернусь, вот отнесу только его домой и вернусь...»

Наум на мне несколько ожил. Это не показалось мне странным. Ведь вряд ли ему было там теплее или даже просто удобнее. Вряд ли это было так, но он уже понукал меня. Сначала робко и как бы нехотя, но потом все смелее и дерзче. Он всаживал в меня свои острые каблук и бойко размахивал надо мной руками, иногда даже что-то выкрикивал (шепотом). По-видимому, он представлял себя на лихом коне. «Ребенок, совершенный ребенок»,— подумал я и улыбнулся.

Мы преодолели спуск. Наум сжал меня от страха коленями и затаил дыхание. Глупый! Неужели он не понимал, что затрудняет мою ходьбу! И неужели не понимал, что я его не брошу?

Страхи его были напрасными: ведь я отлично знал это место, не раз здесь бывал и даже ни разу не споткнулся. А это опасное место.

Над моим ухом вдруг раздался звон колокольца. Я приостановился. Я подумал, что звук этот мне странно знаком, где-то я его раньше уже слышал. Но, может быть, я и ошибался. Тогда Наум больно сжал меня коленями и ожесточенно затряс своим колокольцем у меня перед

самым носом, злобно прикусив мне ухо. Быть может, он хотел привязать мне его на шею? Это было бы уже слишком!

«Это было бы уже слишком», — подумал я, и мы продолжили свой путь.

Мы шли, и я размышлял. Постепенно я утвердился в мысли, что намерение Наума относительно колокольца было весьма серьезным и обоснованным, хотя я еще и не понимал, зачем это ему было нужно. Во мне начало было расти страшное подозрение, но я погасил его. Однако смятение и неразрешимость этого вопроса неотступно преследовали меня, и я решил спросить об этом у Наума. И я сделал это.

Я сделал это, он попросил остановиться. Опять сжав меня больно коленями в ребрах, он что-то шепнул мне, и я понял, что сообщение это было строго конфиденциальным. Так я подумал. Но толком я ничего не расслышал.

Я принялся думать о том. Мышление мое искало опоры. Зачем он все-таки привязал мне его на шею? Какой-то был в этом смысл. Быть может... Искало и не находило.

— Дурачок, — ласково шепнул мне Наум. — Глупый. Чтоб ты не потерялся в тумане.

(В тумане самого себя?)

Он сказал мне это напрямик, и я с удовольствием подумал о его находчивости. То было озарение дружбы; так поступают настоящие друзья.

Наконец мы приехали. Я взял было чуть правее нашего дома, но Наум больно прикусил мне мочку уха. Не заблуждайся! Тогда я исправил свою оплошность и поблагодарил его. Он сошел.

Он сошел, нехотя потянулся, расправил плечи. Видимо, его клонило ко сну. «Намерзся, бедняга, — подумал я о нем с сочувствием, — на морозе всегда так хочется спать». (Я и о себе потом подумал так же.)

Мы поднялись к себе. Он попробовал, правда, зачем-то задержаться внизу, но я мягко пожурил его за это, и он все понял. Быть может, он хотел прошмыгнуть к Ней?

Он все понял; ему стало стыдно. А мне стало стыдно за то, что я сделал ему стыдно, но ему стало стыдно вдвойне: стыдно за мой стыд стыда. (Он понимал это.) И опять это было между нами: понимание чужого о себе понимания — понимание понимания понимания×2. И так мы стыдились друг друга, и я решил идти дальше. Удалиться, пока... Ведь это было так невыносимо — понимание понимания понимания, да и дрова уже наши почти занесло.

Я просил его отогреться и пойти разыскать щепок для растопки, но он долго не соглашался. Тогда я строго посмотрел ему в глаза и внушил ему сделать это. Я внушил ему сделать это, а сам бросился вниз: ведь дрова наши уже занесло.

Я быстро их разыскал. Жесткий обледенелый шарф Наума упрямо скользил в руках, напоминая мне о строптивости своего хозяина. Тогда я крепче обмотал его вокруг ладони и тронул.

Вышло и зашло солнце; все улеглось. Быстро наступали сумерки. Я с удовольствием думал, что новая сухая сосна быстро разгорится при растопке, и я, наконец, согреюсь. И сердце мое согревалось от этого. Лишь одна беспокойная мысль отравляла мою мечту о тепле, и мысль эта была о Науме. Как он там? Что? Где? Когда? Ведь он тоже рыскал сейчас где-то в тумане по снегу, искал эти несчастные щепки, эти проклятые мерзлые щепки для растопки — зачем я его послал? (Я чувствовал угрызения совести.) Ведь великолепное смолистое дерево, которое я вез сейчас с собою, избавляло нас от этой необходимости. Почему я об этом не подумал? Проклиная свою ненаходчивость и нерасторопность, я побежал домой.

Почему-то вдруг разболелась нога. Я остановился, посидел в не-

доумении. Расположил ее удобно. Дал ей отдохнуть... Она замерзала и ныла, как от ушиба, наверное, я ее чем-нибудь зашиб. Наверное, я что-нибудь на нее уронил. Как это получилось? Когда? Тогда я понял, что должен поспеть засветло, если хочу, чтоб она перестала. Почему я подумал об этом? Что заставило меня в это поверить? Не знаю, но я бросился домой.

Опять началась вьюга. Бешено бросало в мое лицо снегом, страшно заныли обмороженные насмерть руки, и я подумал, что хорошо бы сейчас помочиться на них — так, как делал я это когда-то в детстве, замерзая.

Мама посылала меня за хлебом, за хлебом, за далеким январским хлебом, коченели и не разгибались руки. О, как болит натертая красной шерстяной варежкой кайма, не кайма, а каемка кожи, узкая полоска кожи вокруг запястий девятилетних рук!

Тускло сияло солнце, как кусок старого янтаря. О солнце, зима и солнце — январь янтаря!

И обливал он, крохотный мой, любимый, горячо и янтарно, мои сгорбленные посиневшие руки, полоску, кайму. О, как он боялся пролить и уронить на снег! Как опасался!

О блаженство, тепло и блаженство — июль янтаря!

И я бежал дальше, по снегу, по январскому новому снегу, по снегу, лыжне. О, как тяжелы, как невесомы мои белые березовые лыжи; прохлада в паху. О, как нов, как древен и нов белокочаный хруст только что выпавшего снега; жемчужины игл.

О солнце, тепло и блаженство, июль янтаря!

Солнце, высокое солнце, я ползаю среди цветов. Я ползаю среди цветов, надо мною шумит листва. Девочка, девочка сплетает мне венок — из клевера и ромашки.

Мы сидим на кладбище. Бегут вверху вагончики узкоколейки. Бегут, набегают друг на друга, спешат; прокручивает колесами паровозик, я собираю цветы.

Я собираю цветы. Я совсем не боюсь этих старых подгнивших крестов, их тонкий могильный запах не жесток, но сладок. Я знаю: впереди еще целая жизнь, целая нескончаемая жизнь, когда нужно будет этого бояться, и я буду ее бояться, бояться и трепетать. Но я знаю, что перед смертью, перед самым моим концом, я вспомню об этом, я обязательно вспомню и не буду ее бояться, нет.

Бегут вагончики, бегут, набегают друг на друга; шумит надо мною листва. Девочка, девочка сплетает мне венок — меряет и сплетает...

Солнце, старое солнце, апрель янтаря!

Я поднялся к себе, дернул решительно за ручку, настойчиво постучал. Мне почему-то никто не открыл, и я повторил свой стук. Нет никого. Вероятно, кто-то решил подшутить надо мной. Тогда я медленно присел под дверь и, дыша под свитер, погрузился в небытие...

Сколько я спал? Минуту? Две? Вечность? Я этого не знал. Тихо потянул я за дверь, и она открылась...

Я вошел к себе.

Станный мужчина сидел возле умывальника в углу и обрезал себе ногти. Он обрезал себе ногти ножом. (Он спускал их лентой, как кожуру).

Со страхом я поглядел на него. «Кто это? что? Что ему здесь нужно? — бешено проносилось. — С каких это пор?!»

— Наум, — нехотя привстал и представился незнакомцем, ломаясь (сделал издевательский книксен).

Он стал обрезать ногти снова; я побледнел.

Я побледнел, сжал и поднял диафрагму. С ненавистью прищурил глаза...

— На-ум? — переспросил я, задыхаясь. — На-ум?

— Наум, — нехотя подтвердил незнакомец, кладя подбородок на колено. — А разве нельзя?

«Наум, Наум, Наум... Какое... отвратительное имя!»

— Да, — повторил он задумчиво, словно что-то припоминая, — Наум... По-моему — великолепное название!

И я погрузился в небытие.

Я проснулся от духоты. Страшно разболелась голова. Перед глазами плыли круги.

Наум сидел на коленках возле печи и вовсю кочегарил топку. Он кочегарил длинной кочергой! Багровое чрево голландки, казалось, вот-вот расплавится и потечет, печь дымила во все щели, сходила на глазах краска.

— Открой трубу!! — страшно закричал я на него. — Открой немедленно трубу!

Он вздрогнул. Как он сам не догадался об этом! Судорога пронеслась по его лицу. Нехотя, он подчинился. И тут же принял невинный вид!

Тогда я развеселился. Наум был просто великолепен! До ушей вымазанный в саже, в соплях, слезах, в сомнениях и недоумении, он все время чихал и тер от дыма глаза; в горле у него не переставая перхало. Странно, что он не догадался сам это сделать! (Открыть трубу.)

— Не кричи на меня, — сказал он с упреком. — Не ори. — И сел возле умывальника в углу. (Обычное его место для презренья.)

Мы помолчали. Я встал с постели, умылся. Умылся, посмотрел вниз.

— Наум, — сказал я. — Наум. Давай-ка лучше сыграем в шахматы. Ведь ты все-таки обещал.

Он пошатнулся. Неужели это было для него неожиданностью? Ведь я давно просил его об этом, и у него было время привыкнуть к моей просьбе.

Но противиться он не стал. Нехотя он подставил к голландке стул и полез на приступок. Я не мешал ему.

С любопытством я наблюдал за ним. Он оглянулся.

— Следишь? — сказал он с упреком. — Следишь? — и покачал головой. — Лучше бы тебе... (Он не договорил фразы.)

Скоро он достал шахматы. Пыльные облезлые шахматы, ширпотреб, странно, что он играл такими. Ведь у него был отменный вкус, и мне показалось, что я их где-то уже видел.

Мы расселись. Он быстро расставил фигуры (себе он взял белые), и мы начали.

— Вот это вот слоны, вот ладья, пешки, ферзь, — сдержанно объяснял он, — или, по-народному, королева.

Я кивнул головой; он усмехнулся.

— Ну, эти так себе, не много стоят, — усмехнулся он презрительно над ладьями. — Королева же может все. Хотя король и будет постарше, но... Но ходить он умеет только на один ход: влево, вправо, вперед, назад. Вокруг себя. Вот так. (Он показал.) Как в жизни.

Он показал, я кивнул головой. Он усмехнулся.

— Да... — задумчиво сказал он. — Только на один ход, и все вокруг себя... Таким образом, могущество короля лишь видимое, условное, всякий его ход обусловлен, хотя игры без короля не бывает. Да, не бывает, — повторил, встряхнул головой чемпион. — Не бывает.

Он подумал и нахмурился. Мне показалось, что он взялся за пень. Здоровье оставило его. Впрочем, он продолжал:

— Вся же власть на доске принадлежит *женщине*. Даже пешка один раз в партии может сходить на два хода, но королю этого не дано. Впрочем, король может, если ему заблагорассудится, сходить и назад, что пешке, конечно, не позволено.

— Хм! — сказал я. — Хм!

Он усмехнулся.

— Нет, — сказал он задумчиво. — Нее-ет. Презирать их надо безраздельно, безусловно, походя и всех... Всех гамузом.

Я вздрогнул.

— О чем ты, Наум? Где ты?!

— Н-да... Да это я так... Так, — ответил он, нахмурясь.

— Наум, — сказал я. — Но пешки. Я слышал, иногда они проходят в ферзи?

— Это бывает, бывает, — сразу же согласился он. — Бывает. Но чаще всего они просто гибнут... Падают на поле боя.

И он задумался опять.

Я отошел от него, тихо подошел к окну, отвернулся... Украдкой, из-за плеча, я наблюдал за ним. Он смотрел вверх.

Он смотрел вверх, лицо его все больше яснило и просветлялось, я видел, что он ищет и никак не может найти какой-то своей мысли, быть может, своей главной и задушевной мысли. Страшно сверкали его глаза.

— Какое у тебя возвышенное лицо, Наум! — не удержался и воскликнул я. — Что с тобой происходит?

Он смутился. Видимо, не часто ему приходилось выслушивать похвалы. Или не очень часто.

— Возвышенное? Н-да... Sublime... — он все пытался найти свою главную мысль. — Ничего удивительного: ведь я никогда не знал женщин.

Это была ложь. Наиболее очевидная, предерзостнейшая ложь! Конечно, я никогда его ни с кем раньше не видел, не видел, не ловил и не заставлял, но это была явная неправда. При таком распушенном воображении — и целомудрие? При такой страстности и изощренности мысли — и непорочность? Ну уж, дудки! Не поверю, нет. Меня на мякине не проведешь. Я... Ну хорошо: в строгом смысле, в физическом то есть и плотском смысле, я еще это кое-как допускал. Но чтобы в нравственном, этическом, моральном? Нет, кому он тут забывает ба... Да настоящая-то, все проникающая глубина мысли только через порок и зло и достигается — через порок, отчаяние и сладость порока, хотя бы и воображаемого. Я эту мелочность, скопчество и поверхностность гражданских ваших добродетелей за тыщу верст, дай их мне, так узнаю. Кого он решил обмануть? Сублимирует!

— Нет, — нахмурился Наум. — Я их никогда не знал...

Опять он сказал это и сказал как-то уныло, не настаивая и, мне показалось, с сожалением, — без гордости и с сожалением.

— Но, может быть, вы и правы, — вздохнул он, улыбаясь. — Мне бы греха побольше. Раскаяния, совестности и зла. Не было бы, быть может, мне равных...

Он как-то весь вдруг съежился, схватил трость и тихо скользнул в дверь, оставив ее открытой. Быть может, он приглашал меня идти за ним?

Я выглянул. Осторожно, часто перебирая руками, он крался вдоль стены по коридору. Трость он держал под мышкой. Он как бы старался слиться со стеной, раствориться в ней и с нею же совокупиться — так плотно он к ней прижимался и так боялся отступить назад. Как будто

за спиной его проваливалась пропасть! Возникал ад! Застывал лед! Горел порох!

Тихо я двинулся за ним. Странно, я повторял все его движения! Синхронно. Точь-в-точь, след в след. И тот же внезапный страх упасть вниз вдруг овладел и мной. Мельком взглянув на меня (как бы даже от этого неосторожного взгляда боясь рухнуть в бездну), он впрыгнул вдруг в какую-то пустую комнату, истязно скрипнул дверью и заперся изнутри. Он сделал это перед самым моим носом — тогда зачем же он приглашал меня за собой? Быть может, он не видел меня? Мне хотелось бы так думать.

Мне хотелось бы так думать, я заглянул в замочную скважину. В раздумье он стоял над каким-то громоздким деревянным сооружением, затянутым желтой простыней. Начинался сильнейший сквозняк. Скрипнули и открылись форточки, выбежала и замерзла слеза. Наум принялся за работу. С ожесточением он сбросил с холста покрывало и стал быстро что-то исправлять. Оказывается, он был художник! Никогда бы не подумал! Никогда бы не подумал, что у него может быть от меня хоть какая-нибудь тайна, но она, как обнаруживалось теперь, была. Велика же наша самонадеянность! Его вельветовая выдавшая виды блуза подтверждала это. Он засучил по локоть рукава.

Кисти, как спицы, мелькали в его руках, мазок его был великолепен. С вдохновением ударял он кистью по холсту, отбрасывая сломанную в угол; глаза его сыпали искры. Он был безумен.

Зрелище его творчества было так захватывающе, что я не отнимал глаз. Мне даже показалось на минуту, что и мне передалась его чудовищная страсть. Но только на минуту. Душа моя не вынесла бы такого напряжения. Это был азарт гения. Энергия его вдохновения поразила меня.

Скоро совсем стемнело. Он, однако, не выходил. Как же он продолжал, как мог работать здесь? В такой холод. Что здесь можно было увидеть теперь? Здесь было абсолютно темно. Конечно, ему необходим был верхний свет, и я помогу ему с этим. Надо будет ему об этом сказать. Но это потом. Но сейчас, сейчас-то ему нужны были хотя бы свечи, желтые стеариновые свечи, ведь он мог испортить свой многолетний труд.

С завистью я подумал о его настойчивости и упорстве, с завистью и раскаянием. Зачем, зачем ему было напрягать свое зрение? Этого я не понимал.

Мне почему-то стало стыдно, совестно, как если бы я подсматривал за зачатием. Я разволновался. Дух мой пресекался. Тогда я отошел и подумал, что, может быть, он обладает каким-нибудь особенным острым зрением, каким-нибудь особенно острым художническим зрением, которого у меня, как у многих, увы, нет. Тогда ему нечего опасаться.

Опять я приник к двери, теперь не решаясь взглянуть в скважину. Все было тихо. Я только слушал. По-видимому, он закончил. (Стояла напряженная тишина.)

Я все-таки взглянул. Устало он сидел на полу, соединив за коленями свои венозные руки, отбросив кисти. Вдох страдания и грусти пронесся по комнате — не вдох облегчения. Вот опять со страхом и ненавистью он приблизился к холсту и, как слепец, стал ощупывать его руками. Что он там? Что искал он в левом (верхнем) углу картины? Быть может, у него не хватало красок? Вот нашел... Нашел; затаив дыхание, мелко ощупал это пальцами. Гнев и отчаяние исказили его черты. Он закрыл руками лицо и зарыдал.

Я молчал. Чем мог я помочь ему? Что-то у него, видимо, не получалось. Тогда я тихонько постучался к нему. Ногтем. Как от электрического удара, вздрогнуло все его тело; под горлом пробежал спазм. Он открыл мне.

— А, это ты... — с ужасной усталостью равнодушия в чертах сказал он мне и отвернулся.

Я подошел к нему. Тихо обнял его за плечо.

— Пойдем, Наум, — любовно прошептал я ему, наклонясь, и тронул его за прядь. — Не надо. Все будет хорошо.

Он доверчиво поглядел на меня, вытер о платок руку.

— Да? — умоляя, сказал он. — Да? Вы действительно так думаете? Мне хочется в это верить.

Он преданно прижался к моим рукам, кистям, всему, встал на колени...

— Милый, милый, хороший вы мой, — шептал он в самозабвенье, покрывая мои руки поцелуями. — Любимый! Вы так добры. Вы так бесконечно добры, а я...

Я помог ему встать, отряхнул ему пальто, протянул трость. И вышли мы, обреченные, на узкую скалистую тропу, содрогаясь от ужаса над ущельем.

Стада паслись внизу; дымились костры чабанов. Медленно перемещались облака, окутывая вершины.

Он взял палку в зубы и слепо, нащупывая ногами тропу, стал переходить через поток, боясь сорваться вниз и подолгу выравнивая покачившееся над бездной тело.

### ОН БАЛАНСИРОВАЛ

Он балансировал; я со страхом и любопытством наблюдал за ним. Вряд ли я думал, что мне предстоит то же: все мысли мои были о нем, моем спутнике, бесстрашном и дерзком альпинисте, скалолазе. И я молился о нем, альпинисте.

Но все обошлось благополучно. Он быстро закончил переход (нервное напряжение и вправду было велико, и он под конец не выдержал) и по-товарищески протянул мне свою бамбуковую трость. Я с благодарностью посмотрел на него и с легкостью шагнул над ущельем. Я сделал это с легкостью и уверенностью, с твердостью в сердце, и страх больше не колебал меня.

Скоро мы были дома. Снова он подошел к печи, припал на одно колено, открыл дверку, заглянул внутрь... Синие змеи бежали по углям. Он закрыл трубу.

«Что он делает, что? — пронеслось. — Ведь угорим же мы с ним, угорим, угорим...»

Тогда он подумал и открыл. Я с облегчением вздохнул.

Он побродил по комнате, послонялся из угла в угол. Постоял над шахматами. Поскреб пальцем стекло. Попробовал на язык. Неужели он хотел есть? Нет, он это сделал от скуки.

Опять он подошел к доске, расставил и выровнял фигуры. Пробормотал, заложив за спину руки. Загадал, какими кому играть... Неужели он рассчитывал на меня? Нет,

### ОН ПРИНЯЛСЯ ИГРАТЬ С САМИМ СОБОЙ

Он принялся играть с самим собой, неужели он достиг такой степени отстранения? По-видимому, он без труда мог распасться на двух, трех и более совершенно чуждых друг другу людей, для которых еще было важно, каким цветом играть. Я бы не удивился, если бы он оставался еще при этом арбитром! (Наблюдателем при своих собственных страстях.)

Наконец он выбрал. Он долго, мучительно думал над каждым своим ходом, нервно кривил губы и тер переносье. Фигуры двигались на доске сами собою, как марионетки. Они двигались, с огромной скоростью перемещались по доске, прорабатывали различные комбинации и варианты. Потом снова разбредались по доске и возвращались на

место. За кого он играл? Какими фигурами? Какую он выбрал защиту? Я думаю, ему трудно было выбрать. Ведь его было несколько.

Его было несколько, его мучило равновесие единичности.

Движение на доске прекратилось. Я решил помочь ему.

Я тихо подкрался к нему сзади, осторожно передвинул белую ладью на два поля вперед (это было намеренной оплошностью белых) — и тотчас началось взаимное уничтожение.

Началось взаимное уничтожение. Черные выигрывали качество.

Он открыл глаза. Медленно выдохнул. С недоумением обвел глазами комнату. Встал...

Я лег в постель. Опять он стал обвивать меня своими липкими нитями, своими липкими желтыми нитями, как паук. Медленно струилась по жилам кровь... И тогда, сделав последнее усилие, я выкрикнул, как из-под самого себя, как из подполья:

— Оставь меня, Сатана! Оставь меня! Изыди! Вон!

И кокон запечатался, как яйцо.

И я заснул.

Проснулся я опять поздно. Солнце стояло высоко и грело по-летнему. Наум был в праздничном настроении.

— Долго спите-с, — потрепал он меня издевательски по щеке и засмеялся. — Извините-с, что без доклада...

Весело он бегал по комнате, заложив руки за спину, напевая какой-то прилипчивый мотивчик и искоса посматривал на меня. Это надо было видеть! Иногда он становился в позу оперного певца и пускал какую-нибудь раскатистую трель. Странное все-таки действие оказывает на людей солнце. И если бы это была шутка!

Я еле сдерживался от смеха; он не обращал на меня никакого внимания. Видимо, он решил идти напролом. Он совершал то то, то это, и я не успевал осмысливать его поступков.

Теперь он вертелся перед зеркалом. О, это было великолепное зрелище! Он поднял воротник своей застиранной голубой рубашки и отогнул книзу уголки. Ха-ха-ха-ха! Не собирается ли он еще надеть и галстук?

Действительно, он достал из кармана черную отвратительную бочку с фальшивым жемчугом посередине, всю облепленную каким-то мусором и крошками, и щегольски, двумя пальцами, приложил ее к воротнику. Приложив же как следует, он оттопырил мизинец и подмигнул себе в зеркале (где он достал его? Это был огромный, с облупленной амальгамой, отсыревший осколок причудливой формы острием вниз). Затем он порывлся в карманах еще и достал великолепные стеклянные запонки (впрочем, как я успел заметить, разные, найденные им, видимо, где-нибудь в толпе). Бездарность! Не собирается ли он еще прицепить к своим зачуханным обшлагам и запонки! О, верх безвкусицы, претенциозности! Еще б ему смокинг, крахмальный пластрон и в глаз монокль! Фланель и смокинг — ха-ха-ха-ха! Я покатился со смеху.

Я покатился со смеху, он не обращал на меня никакого внимания. Посвистав и побродив с независимым видом по комнате (по-видимому, он преодолевал смущение), он принялся примериваться снова. На лице его был самый что ни на есть отсутствующий и независимый вид (видимо, он его все-таки преодолел), но все-таки он как-то нервничал. Слишком уж особенный, ненастоящий, *холодный* холод выражало его лицо (настоящий — всегда с теплом). Я это заметил.

Я отвернулся: смех душил меня. Зажав простыню зубами, как роженица, я катался по кровати и хохотал.

У него, наконец, сорвалось сквозь зубы какое-то словцо. Ругательство?

— Неумно, — бросил он в меня презрительно и отошел в угол. —

Неумно и неостроумно, а... Дырка от хлястика! (Такое имя он приставил к моей ненаходчивости.)

Он отошел в угол. Был раздражен до крайности. Но не с каким-то сомневающимся в себе раздражением он сказал мне это, про хлястик (ведь, в сущности, раздражение — это всегда чувство вины; чувство вины, раздражение на собственное раздражение), а с раздражением превосходства и ума.

Он отошел к себе в угол и затих, молчание воцарилось между нами. Он забыл обо мне. Совсем. Я закрыл глаза.

Сколько это продолжалось? Час? Два? Вечность? Я потерял всякое ощущение времени, быть может, это было состояние Самадхи. При выходе из него я испытал сильнейшее чувство голода, и я стал припоминать, что говорит по этому поводу Учитель. Если мне не изменяет память, он советует при этом чувстве делать Самъяму. Тогда я сделал Самъяму над углублением в горле (вишудхи-чакра), и голод прекратился.

Потом я сосредоточился на крайней плоти, отгоняя семя, и женщины отпрянули от меня.

Странное зрелище предстало передо мною, когда я открыл глаза. Бледный, издерганный мой сожитель, как-то странно постаревший и облысевший за те несколько часов, пока меня не было со мной, сидел и щелкал по-бухгалтерски счетами, обложившись пыльными фолиантами. Мастерски оттопырив средний и безымянный пальцы левой руки, он весь ушел в свои непостижимые расчеты. На руках его были сатиновые нарукавники. Клерк!

Что он высчитывал по этим книгам? Какие надеялся получить дивиденды? Толщина, конечно, у книг была для бухгалтерии подходящая, но мне показалось, что тут просто философия — философия либо философия и беллетристика вместе. О-ооо... Что это он опять тут такое затеял?.. О-ооо...

Я подошел к нему.

— Видите ли, — сказал он. — Видите ли. В отличие от многих, я полагаю, что вовсе не смыслом и не содержанием действуют на нас книги (да и содержания-то никакого вовсе и нету)... — он отложил на счетах шестнадцать и затем еще прищелкнул два. Я содрогнулся. — Не смыслом и содержанием вовсе, а акустикой. Акустически-эстетически, так сказать. Звуком, а не семантикой. Мы любим их, в сущности, ушами!

Он мерзко вдруг захохотал.

Я недоуменно пожал плечами. Он углубился:

— Не понимаете? Хм... Как бы вам это *доходчиво* объяснить.. (он принимал меня за тупицу!) Как бы вам это объяснить попонятнее... Просто, как это я недавно сам для себя открыл, мы воспринимаем здесь (он показал на книги) лишь определенную комбинацию звуков, фонетическую, так сказать, игру — и ничего больше! Звуковые вибрации текста совпадают с ритмом нашего дыхания, а через него — с колебаниями вселенной, и... Почти то же, что в музыке, но гораздо, гораздо поинтереснее и посложнее — ибо здесь еще присовокупляется какой-то, якобы непостижимый, мистический смысл, который, якобы, необходимо понять!

Он говорил явную чепуху. К тому же он сделал такую непостижимую ошибку в произношении, что меня чуть не стошнило! И это в пассаже об орфоэпии! А еще брался рассуждать о каких-то лингвоэстетических проблемах. Или он считал меня за идиота? Видимо, он просто мистифицировал меня.

И он опять пустился в какие-то несуразные объяснения.

— Ну, хорошо, — замахал я на него руками. — Ну, хорошо. Согла-

сен, согласен, согласен. Но... счеты-то зачем?

Этот вопрос был так неподкупен, что...

Он неожиданно смутился.

— Видите ли,— сказал он.— Видите ли. Я пытаюсь понять, насколько здесь закономерны сочетания гласных и согласных, частоту их употребления, количество их в каждом предложении, периоде, главе и целой книге. Но главное — в предложении. Я пытаюсь понять, а затем и построить схему той основной фонетической конструкции, которая у каждого мастера строго индивидуальна и которая и есть, собственно, талант! Да, стиль и талант; вот к чему стремится каждый настоящий художник и вот что составляет искусство слова — то, что я только пытаюсь пока научно вывести и найти, а вовсе не то, что извлекают из книг вульгарные социологи и литературоведы. М-да. Пленит вас эта комбинация — и вы наперебой хвалите книгу (ну, конечно: неизбежно тут же вы откопаете и смысл, а как же), раздражит — и вы отвергнете ее. Замечали вы в текстах некую фонетическую пустоту, провал, ритмическое зияние?.. О, как беспокоится тогда наше эстетическое чувство, как волнуется! Какую это вселяет тревогу! Такому автору мы уж не верим. С другой стороны, ритмически организованная словесная масса способна создавать шедевры даже из сорняков. В поэзии это виднее всего, но и... Гармония, гармония — прежде и после всего. Гармония — вот чего мы все жаждем и не находим. Мозг же наш к этому не приспособлен. Он просто не в состоянии выдерживать никаких эстетических нагрузок, они для него просто не под силу. Непосильное бремя красоты под силу лишь глазам да ушам, да и то, как известно, не всяким... Красота оценивается лишь ухом и зрением — какого рода бы она ни была — вот что необходимо понять вам и вашим эстетикам. Мозг же выступает в нашем восприятии лишь как гармонизатор и анализатор получаемых впечатлений, *сам же он не извлекает из объекта ничего...* Поймут ли это когда-нибудь? Поймут? Нет, конечно, нет, вы правы! Ну, тогда это непрестанное навязывание «смысла» никогда не прекратится...

Я смутился. Он приписывал мне свои собственные слова! Я ему ничего такого не говорил! Я с ним ни в чем не соглашался! Я... Вот, оказывается, каким образом он достигал этого своего полемического превосходства — не обращал никакого внимания на оппонента! Впрочем, я ему, кажется, и не возражал.

Я смутился, отошел к окну. Отошел к окну, смутился. Снег сходил прямо на глазах. Выкрикивали свою песню воробьи.

Где же он взял эти книги? Наплевать, что он тут бормотал, — где он их взял? Мне это показалось подозрительным. Тогда я прямо спросил у него об этом.

Вначале он сделал вид, что не расслышал меня. Но я настойчиво продолжал спрашивать его об этом. Я на этом настаивал.

Он поманил меня пальцем, испуганно вдруг прижав его ко рту; показал взглядом на дверь. Мы наспех оделись. Непонятный его страх передался мне; должно быть, он боялся, что нас услышат.

— Пойдемте,— сказал он.— Пойдемте,

## Я КОЕ-ЧТО ПОКАЖУ

Мы вышли. Он потоптался в нерешительности в мокром снегу у двери и сделал мне намек скрыться. Неужели он опасался воробьев, этих несчастных голодных птиц, так окоченевших за зиму? Это было бы смешно. (Они радовались весне.)

Он смешил меня своей загадочностью и нерешительностью, мляся, гримасничал и жестикулировал, но я не обращал на его гримасы никакого внимания. Ведь я твердо решил продолжать свой путь, продолжать, чего бы мне это ни стоило. Впрочем, я внимательно следил

за ним: неизвестно, до чего еще может додуматься этот вздорный человек. В голову ему могло взбрести всякое.

Мы обошли вокруг барака. Оглядываясь и ужимаясь (держа руки в карманах, дыша в шарф), он впрыгнул вдруг на ветхую чердачную лестницу (на ней не хватало ступенек) и быстро взбежал вверх. Мне показалось, он позвал меня за собою. Я нехотя поставил ногу на ступеньку, но тут же передумал. Сомнения одолевали меня. Все-таки это было опасно! Опасно и загадочно — в одно и то же время. (Но больше все-таки опасно.)

Наум, однако, был уже наверху. Он стоял в черном проеме чердачной двери и бесстрашно смотрел вниз. Быть может, он даже улыбался в это время. (Снизу легко было ошибиться.) Но этого бы я не мог утверждать наверняка. Я не категоричен в своих оценках, как некоторые.

Опять он поманил меня пальцем, наклонив слегка голову во внутренность чердака, как бы приглашая следовать за ним. Чего он добивался от меня? На что рассчитывал? В чем сомневался? Это оставалось загадкой.

Наконец я решился. «Будь что будет, — бесстрашно подумал я и поставил ногу на ступеньку. — Будем надеяться на лучшее». Но все-таки я колебался.

Медленно я стал подниматься по лестнице; она трепетала подо мной, как струна. Она была составлена из нескольких ветхих связей и страшно колебалась и трепетала. Но я колебался больше.

## СТРАХ И ТРЕПЕТ

Она трепетала.

К тому же, мне показалось, она была гнилой внутри, изъеденной и в личинках. Но, может быть, мне только показалось.

Наум поощрял меня. Бесстрашно высовывался он из чердака по пояс, свисая над бездной, бойко спускался до половины вниз и медленно поднимался снова, как бы показывая, как я должен поступить. Я подражал ему.

Я подражал ему, скоро я был наверху. Здесь я замер. Он подал мне свою белую изнеженную руку и помог мне взобраться в проем (лестница до него не доставала). Сильный это был все-таки человек. Сильный и бесстрашный, как...

Передохнув, я посмотрел вниз. Страшная высота была под нами, у меня закружилась голова. Наум поддержал меня за хлястик и хлопал по плечу, ободряя, и затем повлек внутрь.

Медленно мы двинулись вперед. Мы шли вперед, под ногами что-то скрипело и хрустело, и я сжимался от страха. Золотые полосы света пронизывали внутренность чердака во всех направлениях и сверху вниз; в лучах клубилась пыль. Болталось на веревке чье-то отсыревшее белье, какие-то ничтожные тряпки и чулки. Я сильно удивился этому: чье бы оно могло быть? Кто его здесь оставил? Почему? Все здесь было неясно.

Наум как-то воровато, петляя, подбежал к белью и сорвал с веревки несколько ужасных тряпок. Потом, словно бы взвешивая драгоценность, подержал их на руке, но тут же с омерзением отбросил. Видимо, он просто разочаровался в них: да, это было разочарование.

Мы двинулись дальше. Опять стали попадаться под ноги раздавленное оконное стекло, голубиные трупы, сухие мочальные кисти, жухлая известь и зола. Ужасно пахло кошками и мышами, толстая чердачная паутина залепляла мне лицо и шею; балки были исписаны омерзительными словами. Я попробовал было сосредоточиться на мяг-

ком нёбе, чтобы как-то отвлечься от этого ужаса, но запахло еще сильнее, и я оставил. Наум два раза чихнул. Я бы мог тоже, но передумал. Эпигонство мне было чуждо во всем.

Наконец мы пришли. (Странно, Наум вел себя здесь как всегда.) Мы остановились перед кучей растрепанных книг, страшно запыленных и отсыревших. К тому же они были погребены под грудой мусора и кирпичей. Наум, как бы оправдываясь передо мной, брезгливо поглядывал на эти книги — то на книги поглядывал, то на меня и делал какие-то непонятные знаки. Кому?

Что он там гримасничал? Что бормотал? Он, кажется, хотел объяснить мне, что это вот здесь, на чердаке, лежали те книги, что он взял их именно отсюда и что он их вовсе не украл? Как будто это что-то меняло! Как будто это было не все равно! Все равно это были не наши книги, не наши, и я ни за что не соглашусь их взять себе. За кого он меня принимал?

С ожесточением он стал разбирать груды, с упрямством, с ногтями и ожесточением. Исподлобья он поглядывал на меня: наверное, он хотел, чтобы я помогал ему. Я был непрекаем.

Я был непрекаем, мне стало его жаль. И вправду, Наум являл жалкое зрелище: с налипшим на колени мусором, он ползал вокруг этого постыдного хлама, как-то рыдая, истерически, содрогая балки, чихал, тер кулаком глаза, хлюпал носом и сморкался. Красная кирпичная пыль скопилась в его волосах, как прах.

Мне как-то весело, как-то насмешливо стало жаль его, и я наклонился, чтобы помочь ему. Брезгливо я взялся за один кирпич, другой... Вытащил из-под них книгу... Насмешливая жажда соперничества вдруг овладела мной, и я принялся работать со страстью. Наум также работал с увлечением.

Скоро мы играючи раскидали эту кучу и извлекли из-под нее довольно большую стопу книг. Предположительно, их было штук до пятидесяти — сорока. (Считать мне их не хотелось.) Закончив работу, я присел на разбитый фанерный ящик и отдохнул. Наум же все стоял на коленках и с интересом листал книги. (Никак не мог отойти от них.) По-видимому, это был страстный читатель!

Я не мешал ему. Подставив ящик к чердачному окну, я взобрался на него и высунулся наружу. Только теперь, сверху, я заметил, как далеко зашла уже весна, и я порадовался этому. Вся в черных проплешинах оттаявшего снега, она уныло расстилалась передо мной куда хватало глаз и не громко, не суетясь, делала свое дело, съедая снег.

Было воскресенье. Страшная, разрушительная тишина стояла во вселенной. Все замолкло. Лишь бойко, спесиво стучала внизу капель, перебивая солнце, да жалили мой измученный слух воробы. Стая каких-то пролетающих черных птиц угрюмо хохлилась на эстакаде, собравшись в круг. Они все расходились и расходились кругами из центра, подобно магнитным силовым линиям, головы они держали вовнутрь.

## КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ КРУГИ

Головы они держали вовнутрь, вождь сидел посередине. Лишь один жалкий отщепенец, аутсайдер, уныло скитался по кровле над самой бездной и чистил от смущения крыло. Должно быть, он в чем-то провинился перед ними. Я пожалел его.

Я пожалел его, оглянулся на своего товарища: как он там? жив ли? как себя чувствует? о чем мечтает?

Он молча слонялся по чердаку, роясь в какой-то ужасной рухляди из тряпья и банок. Он был такой же изгой.

Я велел ему немедленно собираться; он энергично запротестовал, заплакал. Тогда я твердо, по-мужски, спросил его: «В чем дело?»

— В чем дело?— спросил я его.— Что случилось?— И он во всем сознался.

Он признался мне, что еще никогда, ни разу в жизни, он не качался на качелях, особенно на таких, проволочных, как эти; что я должен разрешить ему это сделать, что мне это ничего не стоит — иначе он наложит на себя руки или сойдет с ума.

Господи, что за бред! Какие качели, особенно проволочные? Какие развлечения, и из-за чего накладывать на себя руки, сходить с ума? Господи, что за человек! Уже давно пора выйти отсюда, а он...

Нет, он не хотел понимать этого. Чувство ответственности и долга ему было недоступно. И он принялся просить и канючить снова. Тогда я нехотя разрешил ему, наконец, эти качели, но попросил его поторапливаться. Ведь хотя солнце и было еще высоко, сумерки могли застать нас здесь врасплох. Это было бы непростительно. С этим он согласился.

С этим он согласился и принялся раскачиваться на качелях.

Он был задумчив. Мною овладела тоска. Я подошел к нему.

Что это были за качели? Кто их здесь привязал? На что они были нужны? Почему ему не больно сидеть на этой ржавой скрипучей проволоке — вот какого рода вопросы неотступно преследовали меня, пока я раскачивал Наума (а я раскачивал его).

Он был страшно серьезен и задумчив, по-моему, он даже томно закрывал глаза и вытягивал губы трубкой, пока... О! Мне кажется, он представлял себя нежною дворянской барышней, нежною тургеневской барышней, а меня принимал за своего смущающегося кавалера! Эти аристократические догадки развеселили меня до слез!

Он был великолепен: потный, весь перемазанный пылью, сморщенный лоб, почерневшие ноздри, весь какой-то взъерошенный и расхристаный, даже уши его оттопырились сейчас более, чем всегда!

Заливаясь и хохоча, я так сильно качнул его, что он взлетел к самой крыше, едва не выбив ногами кровлю... Слезы душили меня.

Проволока вдруг оборвалась — и он рухнул с высоты на землю, в шлак. Это было зрелище! Он рассыпал все наши книги!

Громко вздыхая и охая, он еле поднялся и тут же повалился снова. Я приподнял его.

Во всем, во всем он принялся обвинять меня! Зачем я так высоко качнул его? зачем не поддержал? зачем желал ему зла? зачем эти аристократические предположения? и т. п., и т. п. В конце концов оказалось, что это не он, а я затащил его сюда, что он никогда и думать не думал об этом чердаке, не знал даже о его существовании, что ему, мол, даже пришлось вот прочесть на стропилах эти отвратительные гадкие слова, которых он раньше не знал и прочая, прочая. Словом, во всем он обвинил меня!

Я опять рассмеялся, стал отшучиваться, хлопнул его по плечу, потрепал за щеку. Я сказал ему по-дружески и примирительно, что никогда этого больше не повторится, что он должен простить меня, что я раскаиваюсь и т. п.

Странное дело! Всегда мне было легче сознаться в грехе несуществующем, чем в действительном, каким бы тяжким тот ни был. О! Грехами действительными мы стыдимся перед собой, несуществующими — только перед людьми. Мы бережем их, лелеем, любим. О, я никогда не спешил, не стремился в них раскаяться и сознаться. Да и никогда, в сущности, не хотел избавиться от них. Ведь понимал я: неискупленный грех, порок тайный, даже преступление — и есть боль и стыд мой, и раскаяние мое, и совесть. То есть —

## СОДЕРЖАНИЕ СОВЕСТИ

Ибо грех искупленный уничтожает ее.

Наум быстро отошел, перестал сердиться. Подморгнул мне. Тогда мы снова стали как друзья и принялись таскать книги. Мы носили их к выходу и бросали их прямо вниз. Наум лишь просил меня действовать поосторожнее, так как книги могли нам еще пригодиться. Ведь если сдать их букинистам, говорил он, на этом можно было бы неплохо заработать. Купить хлеба или сходить в баню (что-нибудь одно).

Я запротестовал. (Мы спускались по лестнице.) Ведь это были не наши книги, чужие и чуждые нам книги, и... По крайней мере, не продавать! Но он возразил мне, что они уже давно ничьи, а лежат здесь, брошенные и никому не нужные, что вряд ли нам удастся когда-нибудь отыскать хозяина, если мы даже этого *захочем* (!), что *таким* книгам вообще место только на чердаке и прочая, и прочая, а я сказал ему, что вот пусть на чердаке и остаются. И так мы спускались и пререкались: я — не соглашаясь и протестуя, а он — изумляясь и негодуя.

Страшно он возмущался на меня за мою несговорчивость, но я не поддавался. Я кричал на него, что он не имеет никакого представления о честности и порядочности, а он визжал от злобы и говорил, что я несостоятелен сам. Он говорил мне, что я невоспитан, что у меня нет даже галстука, даже запонок-то у меня и то нет, и нет даже утюга. О зеркале он и говорить не хочет. Молча я проглотил обиду, молча и с негодованием, а он, раззадорившись моим молчанием, сказал мне, что по всему видно, что я плеб и не едал даже никогда цыпленка табака, даже в глаза-то его, наверное, никогда не видел, что, попадись он мне на стол, так я не знал бы, небось, как к нему и приступить и, небось, поделикатничал бы и приступил к нему по-хамски, то есть с вилок и ножом, а

## ЕГО КУШАЮТ РУКАМИ

Я удивился его тонким гастрономическим познаниям, а он прихвостнул еще и сказал, что это еще что, что он и не такое видал и что вообще он

## МНОГО ЧЕГО ПЕРЕЕЛ, ТАК-ТО

Так мы спускались и ссорились, согласуя и ритмизуя свои поступки и взаимную неприязнь,— и что нам, в сущности, было делить? Ведь в душе-то я уже давно согласился с ним, но из упрямства еще продолжал противоречить. Зря я это делал, конечно, хозяина у этих книг действительно не было. Надо было соглашаться. (Меня легко уговорить.)

Наконец мы встали на землю. Это небольшое, хотя и успешное путешествие сильно вымотало меня, и я захрипел. То ли это была весна, то ли наша ссора так подействовала на меня, но у меня страшно кружилась голова, и тошнило.

Наум помог мне подняться домой, уложил меня в постель. Порылся в карманах, достал какую-то пожелтелую грязную таблетку, вздохнул. Я наотрез отказался принять лекарство — и он проглотил его сам. Лицемерно он повздыхал и пособолезновал надо мною, тихо присел в ногах... Он лицемерил так же равнодушно и жестоко, как лицемерил я сам, когда был болен он. Как лицемерит всякий здоровый перед больным, в особенности перед близким. Это было заслуженно, я заслужил это.

Что-то тревожило его. Что? Я видел: ему необходимо уйти. Быть может, он хотел освободиться от фальши. (Рядом-то и я бы не смог.) Я спросил у него об этом; он смутился.

Он смутился, заботливо подоткнул края моего одеяла, поправил подушку, принес воды.

— Ну, я пошел, Козерог? — сказал он как-то виновато, пожал мне руку и вышел.

Я закрыл глаза. Багровые тени мелькали над моими веками; нахально кричали воробьи. Звенела капель, таял снег. У меня поднималась температура. Опять страшно болело горло, чесалась грудь, ныли зубы. Одиноким и брошенным чувствовал себя я, и я подумал, что если б сейчас пришел и сел, как давеча, возле моих ног Наум, любой самый близкий и дорогой для меня человек, то я бы все равно чувствовал себя одиноким и несчастным. Ведь всякая болезнь создает ту ничем не разрушимую преграду лжи и лицемерия, непонимания между больным и здоровым, которая именуется состраданием. Ведь принято же считать, что оно — добродетель, что человек, им занимающийся (состраданием то есть) — нравственный человек, а вот сострадание-то как раз и аморально, ибо ничто так не отъединяет от больного, как сострадание, ибо уже существованием своим, возникновением и употреблением (а сострадание именно употребляют) — намекает на чужую болезнь и собственное подлое здравие. (Ведь раз мне страдают, значит, я заслуживаю этого, значит, страдаю лишь один я, а мне только *подражают*. О! Именно страдания, страдания требуем мы от здоровых — полмиллиона за страдание с нами,— а нет, так и не надо ничего. Увы, несбыточно. Мы знаем это, всегда знали, поэтому-то ищем лучше себе друзей среди больных.)

Или сострадание — это добровольно принятая на себя обязанность страдать *вместе*; и «сострадание», таким образом, есть выражение весьма тонкое. Но возможно ли страдать от чужого, не своего страдания — вот тут-то и заковыка, и тупик (впрочем, я слышал, можно; святость). Ибо всякое сострадание будет лишь *отраженным* страданием, страданием страдания, а не самим страданием, страданием, неизбежно потерявшим свою первоначальную силу, извне исходящее, а не изнутри,— и, значит, опять не то.

«Значит, не может», — подумал я и нахмурился.

Так я лежал и думал, и жар поднимался во мне, и поднималась температура.

Поднимался жар, и росло недоверие, и я мечтал: неужели, неужели он этого не понимает — как я жду его? Как я жду его и без него не могу, как надеюсь? Ведь я хотел его страдания — не потому, конечно, что желал ему зла или искал в нем себе избавления, а просто узнать: сможет ли? Нет, не смог бы, плоская, бедная душа.

Так я лежал и думал, и недоверие росло, и росла ненависть, и признани не было между нами. И к тому времени, как она выросла и созрела, он вошел.

Он вошел, я завизжал на него, вскочил и ногами затопал. Приблизился к нему — ненавистью вплоть. Лениво он поднял свое острое костлявое колено и ударил им меня в грудь. Я упал на кровать навзничь, со страхом посмотрел на него...

Он нес перед собой огромную стопу книг, и голова его скрывалась за ними. И я... О!! Медленно он стал кружить с ними по комнате, прикидывая, куда бы их сбросить, я крикнул, чтобы он сейчас же прекратил это позорное занятие, чтоб шел сюда ко мне и немедленно садился, но он как будто не слышал.

Быть может, я так охрип и простыл, что он меня не расслышал? Или, в отчаянии, я кричал к себе? Это могло быть. Я раскрыл рот

снова, однако, вспомнив свой страх перед Наумом, я не решился повторить свое отчаяние.

Тогда я снова лег и уже больше не приставал к нему. Пускай занимается чем хочет. Мне-то какое дело?

Книги он, наконец, положил на пол. Подозрительно озираясь и пятясь, он отошел в свой угол, согнулся и что-то опять поколдовал сам с собою, пошептал, как делал это на чердаке.

Как будто он что-то прятал от меня! И как будто я его не видел! Я подумал, что это могла быть какая-нибудь еда, и он решил съесть ее тайком. Это за ним водилось. Но, может быть, я и ошибался.

Он хитро подмигнул мне, улыбнулся. Я снова подумал, что ему удалось где-нибудь перекусить без меня — так он вдруг внезапно потеплел. Но вспомнив его злость и злобу, ненавидящее его колено и свирепую ухмылку на лице, я смутился. Но, может быть, он это сделал не от голода, не от голода, а совсем наоборот? От... Ха-ха-ха.

Он вышел. Тихо скрипнула и закрылась за ним дверь. Я закрыл глаза. Мучительный лет капли иссекал мои глаза; я закрыл их. Усталое мое сознание тихо продолжало свою работу, продолжалось раскаяние, и ростепель продолжалась. Весна.

Бог мой, почему я думал, что это была ростепель?! Ведь то был ужасный апрель на исходе, гнетущий апрель перед маем, и было уже пора! Весна.

Я подумал, я представил себе: под темным покровом ночи, под мрачными сводами земли, зреет, зреет уже где-то травка, тянутся, рвутся из-под спуда белые стебли травы. Может быть, они уже проклюнулись и... О, миг свободы, миг растерянности перед светом, возврат бытия! Не скоро еще пора завязи (словно пора зависти), завязи и колошения. Впереди еще лето, чудное лето жизни, пчелы, цветы. О, миг свободы! миг растерянности перед жизнью! — смысл бытия!

Опять тихо пропела дверь, я открыл глаза. Вкрадчиво, оступаясь, вошел ко мне незнакомец, — кто он, зачем? Высокая грудa книг возвышалась над его головой. Должно быть, это пришел Библиотекарь.

Осторожно, боясь помешать мне, свалил он свою кипу в угол и отвернулся. Раздался ужасный шепот. Бормотанье. Шаманство. Магия и колдовство. Волхование.

## ЧЕРНАЯ МЕССА

Прищурясь, я наблюдал за ним. Страшная подозрительность вдруг овладела мной. Неужели я поселился с вором?

Вот он отошел в угол, надел сатиновые нарукавники. Взял счета и календарь. Достал логарифмическую линейку. Арифмометр. Он принялся извлекать квадратный корень: губы его непрерывно кривились.

Он схватился за грудь. Помассировал синееющими пальцами горло, вздохнул, скользнул пальцами под живот... Со страхом я наблюдал за ним: быть может, у него болело сердце? Быть может, ему не хватало воздуха, быть может, он... Нет, я не мог согласиться с этим!

Я сказал ему об этом. Зачем он в таком случае поднимал тяжести? Он болезненно отмахнулся от меня и опять принялся за свои вычисления.

Нужно было помешать ему. Нужно было помешать ему во что бы то ни стало! Ведь от этого болит сердце (когда считают деньги, всегда задерживают дыхание).

## ГРЕХ ОНАНА

Я сказал ему об этом. Неужели он этого не знал сам? Он вздрогнул.

Он вздрогнул, подошел ко мне. Подошел ко мне, прильнул к уху. Я опустил глаза. Снова он стал свивать у моих глаз шелковую пелену, отягощая мои веки и свивать. Я впадал в беспамятство. То был Тутовый Шелкопряд. И не был Библиотекарь.

Радостный звук колокольчика разбудил меня. Я открыл глаза. Весело сияло солнце, стекла оттаяли, раскаяние продолжалось. Я огляделся вокруг.

Наум, весь розовый и счастливый от света, не переставая тряс своим колокольцем перед моим ухом, хотя я уже давно проснулся. Он улыбался, и глаза его не были пусты (о, взглядывайтесь во счастье: обязательно пустота).

Вдруг меня осенило: ну, конечно, конечно же это был новый день, вчерашний уже умер. Я поделился этой догадкой с Наумом. Он безумно захохотал.

— Долго спите-с! Здравствуйте, — захохотал он. — Здравствуйте, долго спите-с! — («А слово-то-ерс тут причем, — мучительно соображал я. — Причем тут оно?») — Долго спите-с, вам говорят. Вставать! На воздух!

Я нехотя подчинился. Он растормошил меня, начал щекотать меня под мышками, всячески льстиво заигрывать со мной, обнажил мои ребра. Прятался от меня, кокетничал, целился в меня из своего детского пистолета... Где он его достал? Я, как по обязанности, из деликатности, улыбнулся ему и снисходительно посмотрел на его колокольчик (больше на колокольчик, чем на него) — он не переставая галдел им.

Вдруг меня осенило. Он украл его у меня! Он украл его у меня в сарае! — Старый рыбачий колокольчик моего отца. Так вот где я его видел, так вот почему он был знаком мне — наш старинный рыбачий колокольчик из фальшивого серебра. Но потом я успокоился.

Все-таки это было почти воровство. Лучше бы уж он его у меня попросил, что ли. (Просьба всегда приятна нам, хотя бы мы и не собирались ее выполнять.) У меня не было причин отказывать ему. Да и, по правде сказать, я не слишком дорожил этим колокольчиком: память моя устала от прошлого. Но я, конечно, ни словом не упрекнул его.

Мы стали умываться. Умывальник наш совсем испортился, и пользоваться им было уже почти невозможно. Это было очевидно. Тогда я попросил Наума полить мне на руки, и он с готовностью исполнил мою просьбу, шая поливая мне воду на затылок из помятой алюминиевой кружки. Умывшись, я взял у него кружку и хотел помочь ему тоже, но он категорически отказался. У него был свой способ. Набрав в рот воды, он принялялся понемногу выпускать ее себе на руки, смешно оттопырив губы. Я еле сдерживался от смеха. Где он так научился? У кого? Когда? Надо будет потом обязательно спросить его об этом.

Умывшись, мы пошли вытираться. Я не скупясь протянул ему угол своего вафельного полотенца, но он отверг его. Неужели он был брезглив, или, может быть, был просто неряха? Не знаю, но он вытерся тайком краем своей нестираной рубахи.

Потом мы стали куда-то собираться. Я не знал еще точно — куда, но я подчинился его неугомонному настроению. Вместе с ним я суетливо бегал по комнате, хватал и переставлял с места на место какие-то вещи, подсвистывал ему и подпевал. Кажется, мы распевали какую-то революционную песню.

Потом он оделся, зашнуровал свои рыжие ботинки, взял бамбуковую трость. Я не мешал ему. Затем он отвернулся. Опять весь как-то невозможно скрючился, пряча у себя что-то под полкой, словно боялся, что я подсматриваю. Но я не любопытствовал. Приняв равнодушный вид, я отошел к окну.

Снега уже почти не было. Замолкли и улетели воробьи. Снега уже почти не было, и я сказал ему об этом. Он, задумавшись, промолчал. Попросту — не ответил.

Он промолчал, и мне сделалось неудобно за него, за то, что он оставил мой вопрос без ответа. Мне сделалось неудобно и совестно, и он понял мое неудобство и стыд. И снова я понял то, что он понял, и снова началось понимание и стыд — стыд и понимание стыда. И опять началось соперничество, перегонки и запуски, и это была нравственная борьба. Ибо никто не хотел уступать в ней, каждому было больно (стыдно?) уступить, и так мы стояли и боролись, и с ненавистью глядели друг на друга, и понимая, понимали, и он уже начал уступать. Ибо совесть его была на ущербе, и ограниченность его была налицо. Он отвел глаза.

Он отвел глаза, посмотрел вниз. Посмотрел вниз, задумался. Неглубоко вздохнул... Вздохнув же, сказал:

— Посмотри на эти книги.

Я рад был это закончить и облегченно вздохнул, перенимая его настроение, переводя взгляд на книги — они лежали в углу.

— Посмотри,— сказал он.— Погляди.

## ОНИ СТОЯТ ДЕНЬГИ

Конечно, он был прав. Об этом-то я как раз и не подумал.

— Ну, какие же тут деньги,— как-то холопски и явно лицемера сказал я.— Ну, какие уж тут деньги.

## ТАК, КАКАЯ-НИБУДЬ МЕЛОЧЬ

— Не мелочь,— строго сказал Наум и наступил мне на ногу.— Вовсе даже никакая не мелочь.

## ПЯТЬДЕСЯТ, МОЖЕТ БЫТЬ, РУБЛЕЙ

И он выразительно посмотрел на меня.

Сумма была, конечно, немаленькая. Действительно, огромная сумма. Я смутился.

Я смутился, отвел глаза. Отвел глаза, задумался. Откуда ему было известно об этом? Я пытался это постичь, но так ничего и не придумал. Так ничего не добившись от себя, я подумал о нем: неужели он хочет сдать эти книги букинистам? Не может быть! Лучше, если бы он их сначала прочитал. Я бы помог ему в этом.

Но чьи они были? Откуда? Чьи? Вряд ли, конечно, это были наши книги, но сумма была так привлекательна и эквивалентна, что я старался об этом не думать. Я пытался не думать о чести. Корысть овладела мною до такой степени, что... Корысть овладела мною, и долг был забыт.

Смертельное безмолвие овладело нами. Надо было взорвать его. Во что бы то ни стало! Именно для этого я и задал ему свой нелепый, как я сам его понимал, вопрос — и только для этого, ибо ничто другое меня больше не смущало.

— Наум,— сказал я пыливо.— Наум,

## ОТКУДА ТЕБЕ ЭТО ИЗВЕСТНО?

Он ужасно покраснел.

Он ужасно покраснел, смутился, замялся и забормотал. Конечно, понять в этом было ничего нельзя (в том, что он сказал позже):

— Такпустякимелочьякааятоподумаешьпятьдесятрублейпятьдесят каиктожалкихрублейнукомуюониужныпятьдесяттвоихжалкихрублей сразувидночтомногонедадутясразуэтоумепросебяприкинулпятьдесят рублейнуподумаешьпятьдесятнесчастливыхрублейбезкопеекденегчтоли никогданевидалнуладнопустинускемнебываетнучтоприлиппристалкак банныйлистспрашивайлучшеапомогикаснестивнизнупоехалихватит ужепоехаливремянеждет

## ЗАВОДИ ЕЕ

Я внимательно посмотрел на него.

— Наум,— сказал я пытливо.— Наум,

## ЭТО НЕ МЕЛОЧЬ

И наступил ему в отчаянии на ногу.

Тогда он задумался, устало вздохнул. Ну, что, мол, ты тут прицепился, ужасно надоел,— казалось, хотел и никак не мог выговорить он, но, конечно, ничего не сказал, не посмел.

— Я сосчитал их,— вдруг выпалил он в раздраженье, ломая руки, и выбежал на улицу.

Так он сосчитал их! Так он их все-таки сосчитал! Чудак! Так бы и сказал сразу. Это в корне меняло дело. Тогда нечего ему было забивать мне мозги какой-то дребеденью, ссылаться на фонетику и эстетику — или на что он там, не помню, ссылался, не помню и не хочу помнить, да. Всегда у него так: эстетика, красота, поэтика, ох, ах,— а под ними рубли и копейки. Так бы сразу и сказал.

Это была, конечно, нелепая отговорка, но я решил его больше не упрекать. И так ему досталось из-за меня. Да и все-таки это труд: сидел ночами, пыхтел, напрягал зрение. Прану, главное, расходовал. Задерживал дыхание. Пусть уж сдает их, коли пришла охота. Я ему не помешаю в этом, нет. Да и деньги-то нам тоже не лишни. Сразу и необразишь, на что их можно потратить. Во-первых, уже давно прохудилось и проржавело ведро (за ночь набегаает лужа), вышел из строя умывальник (о последнем я уж не говорю, даже и упоминать об этом не следовало, как-нибудь и обойдусь. В конце концов, Наум предлагает неплохой способ); мыло давно вышло, не было белья. Не было даже мочалки. Не штопаны носки. Но главное, мы давно не были в бане, а пункт этот требовал немедленного разрешения. (О съестном я также умалчиваю, ибо могу вообще не есть. Ведь я укреплялся в Брахмачарье и накопил уже огромные запасы праны, хотя... (Я поднимаю кундалини.) Мне это негрудно. Но согласится ли терпеть дальше Наум — вот что стояло под вопросом и вот что сеяло тревогу.)

Выяснить это было совершенно необходимо, ибо его присутствие в этом доме в корне меняло положение вещей, и с этим приходилось считаться. К тому же он был, кажется, гурман, а все гурманы, как правило, капризны и прихотливы. Стало быть, расходы должны увеличиться. (О шампуне я тоже говорю с пальцем во рту, обойдусь в конце концов и без него, а он — пускай, коли такой чистюля; шам. Хамами-то такие чистюли чаще всего и бывают: когда недоступна чистота и чистоплотность и порядочность внутренняя, так на коже, на волосах, по ногтям стараются. Золотое кольцо в носу у свиньи. Выпрашивал еще купить дезодорант какой-то — под мышками прыскать; шам.)

Это сильно встревожило меня: прибавлялось много забот.

Прибавлялось много забот, я вышел на улицу.

С какою-то хамскою, издевательскою гордостью и независимостью он стоял и драл голову кверху, тыкая палкою в снег. Затем сел на нее, безответную и глумливо торчащую, придерживая шапку рукой. Должно быть, он наблюдал за скворцами. И, видимо, чувствовал свою правоту, знал ее и был уверен в ней, но все-таки немножечко и не уверен. Ибо скорый, тревожный, как бы вопрошающий взгляд был брошен им в мою сторону при выходе, — но я как будто его и не заметил. И он как будто бы не заметил моего незамечанья, а я как будто бы не заметил незамечание его незамечания, и опять это, тягостное, началось между нами — незамечание незамечания незамечания, но я решил обрратить все это в шутку.

— Ну, чего ты тут стоишь! Живо! — крикнул я ему как бы не в гнев. — Живо! Носить книги!

Он быстро забыл свою независимую позу, палку, взгляд — и ловко бросился наверх, точно только этого приказа и дождался. Он был забавен: смущен и растерян, как дитя; к тому же с него слетела шапка. Я засмеялся.

— Да не спеши же ты так, в самом деле, чудак, — упрекал я его подобострастьем и покровительственно улыбался.

Но он, конечно, не захотел меня слушать.

Я выкатил из сарая тележку, перевернул ее, вытряхнул кусочки угля. Проверил ногою скаты. Осмотрел управление... Тормоза. Все оказалось в полном порядке. Скворцы в этом ничуть не сомневались. Они не сомневались в этом с самого начала и подтвердили это сверху своею трелью. Я расшифровал их уверенность, как...

Наум уже шел ко мне. Медленно передвигая ногами, он нес огромную кипу книг и виновато выглядывал из-за нее, кося глазом. Кажется, он боялся, чтобы я не передумал! И кажется, он хотел унести все сразу! Узнаю его добросовестность и аккуратность! Чудак! Да не передумаю ж, не передумаю, не передумаю. Не спеши! И приспичило ж тебе с этими книгами... (Наверное, ему нужны были деньги, и он хотел их на что-нибудь потратить.)

Я чуть подтолкнул ему тележку навстречу и помог уложить книги в ящик. Я сделал это как-то снисходительно. Трудно сразу перейти от чувства превосходства, которое только что испытал, к предупредительности и деликатности: поэтому промежуточным, как бы понижающим и передаточным звеном (редукция) я всегда использую снисходительность, потом строгость... или нет: вначале. Вначале скептицизм, потом снисходительность, потом ироничность (грубая), потом ироничность мягкая (набело) и только потом уже — предупредительность, сердечность, доброжелательность, мягкость... Другие, конечно, могут поступать, как им заблагорассудится и не считаться с моею школою лицемерия (ибо все промежуточные инстанции чувства между ненавистью и любовью я объявляю лицемерными: подлинное для меня проявляется лишь в крайностях, только они для меня и истинны; другие, повторяю, вовсе не обязаны считаться с этой шкалой. У меня свои масштабы).

Наум побежал домой снова. Он задыхался, частил ногами, спотыкался. Боже, сколько подобострастия! Упрека самому себе! Веры! И сколько непозволительного кривляния! Он непременно мне должен потом отомстить за это, да! (Вот она: самая кровожадная, самая неутомимая, самая неукоснительная месть, месть из местей, месть за однажды испытанную нами угодливость, подобострастье, рабство! Ты посмел сомневаться в том, что я существую (ибо требование нашего унижения и уничтожения и есть требование нашего уничтожения) — ты посмел требовать этого? — Так вот тебе! Вот! Вот тебе месть, кровь

крови, глаз за глаз — и все, что хотите! И око за око, и кость за кость!)

Почему-то он долго не возвращался. Я принялся уже скучать и беспокоиться, но наконец он спустился. На этот раз книг у него было поменьше, даже совсем мало, скорее повод и маска — всего несколько штук, — но ступал он как-то тяжело и задыхался. Я расценил все это как намек и решил помочь ему. (Теперь уже можно, сказал я себе. Теперь было можно: снисходительность, скептицизм, презрение — были, ироничности и иронии — были, теперь можно перейти и к холодной неприступной вежливости, а там уже... Но до деликатности еще было далеко!)

Я подбежал к нему — но так как-то, не роняя еще своего достоинства подбежал (ибо мне хотелось уже почему-то его уронить; чувство вины; вина чужого унижения тяготела надо мной), — я подбежал к нему в заносчивости и нетерпенье сердца, спеша им, но он, видимо, это сразу почувствовал и не дал мне помочь ему. (Здесь уже сознательное, сладострастное, лелеемое собою унижение, унижение унижения, унижение паче гордости; следующим будет снисходительность, — нет, вначале презрение, строгость и презрение (на каком-то пункте наши ощущения совпадут, и это будет любовью, симпатией, взаимным расположением), потом чувство превосходства (всегда оно испытывается униженным пред унижителем, но позже, гораздо позже, потом), — и мы разойдемся, наши ощущения разойдутся, — и ненависть, стыд, неприязнь, унижение и превосходство попеременно будут владеть нами, поочередно — каждое в нас и между нами.)

Он пошатнулся и не дал мне взять часть его ноши, но я уже заискивал перед ним. Я хотел наклониться и сделал уже этот рабский жест, начало жеста, внутренний росчерк его уже пролетел во мне (о, проклятье рабства; неискоренимо). Наум ухмыльнулся. Он, конечно, уже все заметил и, улыбаясь, ухмыльнулся (различил росчерк). Надменность и превосходство начали расти в нем. (Боже! Ну почему так трудно нагибаться перед мужчинами — мужчинам перед мужчинами (женщине перед женщиной еще труднее), — почему? Перед женщиной ты наклонишься — и еще умножишь свое превосходство, но перед мужчинами, перед мужчинами-то — почему? Нет, немец! Лишь перед женщинами, то есть перед тем, кто на самом деле нас унижить не может, наши наклоны достигают полных девяноста градусов, — ни за какие почести, ни за какие богатства мира, даже за самую жизнь, перед женщиною мы так не согнемся.)

Мы уложили все, обвязали багаж веревками. Подложили соломой. Прикрыли какой-то тряпицей... Наум все больше и больше отчуждался от меня, и это была месть. Наконец он меня ею настигнул. Но все-таки он еще продолжал любить меня, и я все еще обожал его, несмотря ни на что. Хотя... Хотя, конечно, понимал я: не навсегда. Ведь был он из тех, кого любишь лишь на случай, до тех пор, пока они тебя любят, пока нежат тебя, льстят. А есть другие: вот они уж предали тебя и злословят и разливают вокруг тебя клевету, а ты все еще их любишь. И кажется — за клевету-то еще горше и тоскливей. Но Наум, конечно, был не из них.

Я легко толкал тележку, объезжал, когда было надо, лужи, вымоины, бугры... Вовсю сияло солнце, верещали птицы, таял на полях снег.

Руки, однако, мерзли. Я остановился. Наум, конечно, не предложил мне своих рукавиц, ему выгодней было не замечать этого. Я поглубже вздохнул, вытянул из-под пальто рукава своего старого пуловера, натянул их на пальцы, тронул... Я запасаюсь теперь столь необходимым мне теплом и терпением и милосердием тоже: путь нам предстоял нелегкий.

Ямы стали попадаться все чаще. Сначала я старательно объезжал их, извивался, лавировал. Вскорости мне это надоело, и я шагал по лужам напрямки. (Сырость добиралась уже до колен.) Иногда, правда, приходилось подолгу сидеть и буксовать в какой-нибудь промозглой канаве, и тогда я призывал на помощь Наума. Наум нехотя помогал мне, зажав под мышкою трость, праздно подкладывая щепок под задний мост, подозрительно принохивался. Проку от него не было никакого, и, скрепя сердце, я отдавал ему рулевое управление и шел выталкивать нашу тележку сам. Он, как будто, только этого и ждал: мастерски вскакивал в кабину, заправски вертел баранкой, не переставая сигналил, включал заднюю передачу, включал и выключал зажигание, дальний и задний свет и т. п. — и вообще, скорее мешал мне, чем помогал, но я сдерживался и молчал. Все-таки это был помощник. Как бы то ни было, он помогал мне уже своим присутствием. Кое-как мы выбирались и снова продолжали наш путь, мокрые, измученные, счастливые.

Солнце пригрело сильнее, мои руки отошли. Я отпустил рукава пуловера. Весело поглядел я на Наума, тихо присвистнул... Бледная синяя кожа его лица вся покрылась веснушками, на виски высыпала перхоть. Плоские темные волосы его слиплись сальными прядями, от ног его ужасно пахло.

Я сказал ему об этом. Он промолчал. Конечно, я сказал ему об этом достаточно деликатно и двусмысленно, с шутливым игривым превосходством (превосходством красивого чистого тела), но он обиделся и промолчал. (Превосходство чистого тела, белья, запаха — такое превосходство, когда его выставляют наружу, всегда и меня оскорбляет больше, нежели какие-нибудь нравственные и интеллектуальные превосходства: об интеллектуальных-то, мол, мы еще сомневаемся и поспорим, но у запаха уже не выпоришь, да.)

Я сказал ему об этом, он промолчал опять. Тогда я прямо намекнул ему о бане, сказал, что ему необходимо помыться прямо сегодня же, не откладывая, сейчас, — и тут он страшно выругался вслух. Собственно, его возмутила даже не моя грубость и прямолинейность, а то, что я это вообще заметил. Хотя — что тут оскорбительного? — обижаться на это не стоило. Ну, не помылся человек в бане — что тут такого? Помоемся в другой раз. Так нет же, принялся кричать на меня, брызгать слюною, топтать... (Наум, как и многие, всегда искал оскорблений и обид там, где они вовсе и не замышлялись; с такою готовностью обижаться... эта жажда оскорблений прямо-таки повсеместна. Что тут? Жажда собственного страдания? Жажда страдания тех, кто ни по каким другим поводам страдать не способен? Может быть. Действительно, эту жажду оскорблений я чаще всего наблюдал в благополучных людях, в людях довольства и благосостояния, а Наум, казалось, был именно таким человеком.)

Он закричал на меня, что никому нет никакого дела до его запахов и перхоти, что если кому не нравится, то пускай лучше уходит и не смотрит, что веснушки, моральные свойства и запахи вообще не отмываются в бане — пора бы это *кое-кому* и усвоить, и т. д., и т. п. И его понесло.

А веснушки-то тут причем? Причем тут они? Кажется, я об них и не заикался, думать-то о них и то, кажется, забыл. Нет, я был прав! — Он *хотел* оскорбляться!

Его понесло. Всегда, когда он начинал изъясняться в третьих лицах, это означало приближающийся приступ его недовольства, это и было началом его гнева. Конечно, я сам был во всем виноват, я признавал это. Лучше бы об этом молчать. (Так всегда: только намеки Науму на его грязь нравственную, нечестность, непорядочность, беспутство, всяческую его негодность и нравственную нечистоплотность —

так не то что не обидится, а еще, пожалуй, загордится... Не так обидится, во всяком случае, как за замеченную вами перхоть либо на лбу прыщ; даже совсем не обидится, особенно если обе эти грязи тут же, рядом, упомянуть. Почему? А если уж пот чужой услышишь, то этого тебе и вовсе, до самого твоего погребения, не простят. Почему?)

Я спросил об этом у Наума. Он задумался.

— Узнаешь, намылившись,— с усмешкой вдруг выдавил он (выдувая огромный, с детскую голову, мыльный пузырь). — Намылившись, и узнаешь. — Пузырь лопнул.

Я пожал плечами: шутки его были неуместны. (Особенно ввиду лопнувшего пузыря.)

Шутки его были неуместны, мы подъезжали к дороге. Машины шли сплошным потоком. Они шли и шли, по брюхо утопая в весенней распутице, обдавая нас брызгами и урчанием. Утробный рокот моторов был слишком знаком моему слуху, но Наума, должно быть, он приводил в смятение. По-детски заткнув свои пунцовые уши пальцами, он долго боялся открыть их, но вскорости осмелел и рассмеялся. Понемногу, все еще боязливо, приоткрывая их, он все радостнее, все шире улыбался, пока, наконец, понял, что ему ничего не грозит и улыбка его имеет право на существование. Неужели он никогда не слышал этого автомобильного шума, — где он рос, где вырос, каков был его житейский опыт? По-видимому, он был плейбой и по-видимому он был жизнью избалован. Потом он стал просто баловаться и хлопать себя ладонями по ушам, как делают это иногда дети, прикрывая звуки. И занятие это ему очень, по всей видимости, нравилось.

Мы подошли к развилке. Машины все шли и шли сплошным потоком, и им отдавалось предпочтение. Никак мы не могли встать в ряд, чтобы начать свое медленное движение. Уйма времени была потеряна зря.

Я занервничал, по икрам пронеслась судорога. (Я сократил икроножные мышцы.) Наум, к тому же, опять начал отворачиваться и шептаться сам с собою, принимать таинственное лицо. Что он прятал от меня? Что скрывал? Эти глупые ужимки раздражали меня, и я сказал ему об этом. Но он промолчал.

Он промолчал, и пожал плечами, и нервно вдруг захихикал. Равнодушие его вытеснилось вдруг смущением, и он бросился помогать мне. Но я приказал ему оставаться на месте, ведь нам приходилось пока ждать. Я сократил *latissimus dorsi*.

Я сократил *latissimus dorsi*, наконец нам удалось встать в строй. Мы нащупали глазами брешь — и бросились в нее. Наум помог мне забраться на обочину, с легкостью вынес тележку на автостраду — и мы очутились среди машин. Собственно, мы воспользовались их заминкой. Мы вклинились между тяжелым груженным КраЗом и хлебным фургоном (фургон следовал за нами; ситуация для этого была налицо). Следующий за нами водитель был в отчаянии: мы отдаляли его цель.

Медленно мы стали подвигаться вперед. По-видимому, где-то случилась пробка, и цилиндрический рокот двигателей растянулся за нами до горизонта (перед нами он имел несколько иную, более изящную, но в то же время незнакомую еще мне геометрическую форму; очевидно, впереди машин было меньше).

КраЗ бешено обдавал нас жженой соляжкой, я морщился и чихал, глаза мои слезились. Мир задыхался без праны.

Я нещадно клял его, моего спутника, за это бессмысленное противостояние, к тому же он все время куда-то исчезал. Я тревожился за него, беспокоился, ломал руки.

Я тревожился за него, фургон отчаянно наступал. Оглянувшись, я вдруг увидел, что Наум рядом со мною. И успокоился. Бодро, по-воен-

ному размахивал он руками и с кем-то громко разговаривал, смеясь. Меня он как будто не замечал.

Я пригляделся. В узкую ободранную дверь фургона выглядывала толстая рыжеволосая женщина в белом комбинезоне. Из двери валил пар. Я с подозрением посмотрел на эту женщину: мне показалось, она слегка грассировала. Но, может быть, я и ошибался (за рокотом мотора не разберешь).

Вдруг они поменялись местами. Женщина ловко выпрыгнула из фургона (Наум ее деликатно поддержал), а он подскочил и прямо, без рук, вскочил в ту каморку, свесив до земли свои костлявые ноги. По-видимому, она давала ему отдохнуть.

Неужели их отношения зашли так далеко, что она могла уже уступить ему? И отчего такое безграничное доверие? Как он его добился? Я позавидовал Науму.

Я позавидовал Науму, женщина шлепала в валенках по грязи. Желтый, засаленный ее живот уныло отвисал над лоном; мельчайшие хлебные крошки въелись в ее фартук. Она тяжело дышала, но пыталась скрыть свой возраст и бодрилась. На меня она не обращала никакого внимания.

О чем они ворковали? Чему смеялись? Зачем прикладывали к своему сердцу руки? — Не знаю, но он уже примерял ее белые нарукавники.

Я страшно возревновал Наума. Что это он? К чему могли привести эти случайные связи? Чем могло все это кончиться? И неужели он был так мало воспитан, что его могло удовлетворить это уличное знакомство? Это оставалось тайной.

Потом они опять поменялись местами. Что-то произошло между ними. Так быстро? Мне даже показалось, что у них наступила размолвка. Впрочем, принимая во внимание неуживчивый характер Наума, ничего удивительного в этом не было; с женщинами он был особенно нетерпим. Теперь он, конечно, жалел о ссоре. Украдкой он бросал свои взоры на фургон, но женщина, конечно, их не замечала. И поделом! Теперь он будет знать, что за всякую победу приходится расплачиваться независимостью и угнетенным самолюбием, причем расплачиваться незамедлительно. Пока он еще любил свою независимость и несвободу, укору его были печальны и кротки. Но недалек тот час, когда он выйдет из-под обаяния своего собственного страдания, и тогда месть его будет страшна!

Уныло он плелся за мною, размазывая слезы по лицу. Выхлопной газ душил его, он морщился и чихал, слезы его были обильны. Но видел я, как он радостно отдается своему страданию, потому что мог не стыдиться его и прятаться за своими пресными слезами из-за пустяков. (О, как часто мы выдаем одно за другое, страдание внутреннее, огромное, большое подменяем страданием внешним, из-за пустяка. Другим кажется странным, как негодует, как убивается человек из-за малости, из-за грошика, из-за соринки, как возопиет человек вдруг над малым, над Скорбью же удивится и промолчит. Да, ищет Оно, ищет выхода, рвется из-под гнета, из подполья, но боится выставиться на поругание псам. Вот и заменяет Наум одно другим: слезы соленые на слезы пресные, страдание великое на страдание малое, скорбь — на ненависть, ненависть — на любовь.)

Делать, однако, было нечего. Ни сойти, ни выйти из цепи уже было нельзя: встречный ряд также шел сплошным потоком, а обочина была так высока и обрывиста, что и без груза-то было на нее не сойти, с грузом же и подавно.

Я стал уже подумывать бросить все. Вот так вот взять и бросить, оставить все, даже тележку, а самому бежать — дезертировать. Пропади оно все пропадом, что мне, в конце концов, за это будет? Не

исключено, конечно, что они устроят погоню, заставят вернуться и приступить. Да и Наум, как его оставишь? Это ведь дитя, совершенное, совершеннейшее дитя.

Наум испуганно жался ко мне, зажимая пальцами нос. И тоже у него слезились глаза, и тоже, не переставая, он перхал. Конечно, он жалел, что затеял это. И он понимал, что я раздражен против него. Я же понимал, что сейчас мне, как никогда, необходимо быть великодушным, и крепился. Ни слова упрека. Ни взгляда, ни слова. И он, конечно, был мне благодарен за это. (Вот и цена; вот и сиюминутное вознаграждение за великодушие; оплачено по самому высокому тарифу. Да возможно ли оно, великодушие-то, без оплаты, без благодарности то есть, бескорыстное? А ведь благодарность-то, между прочим, самая высокая цена, ибо расплачиваемся душой (заплатишь другим — и ты свободен, душа ликует). Ну, хорошо: тайное, потаенное великодушие. А самоудовлетворение-то куда денете? Левую-то руку? Куда, я вас спрашиваю, денете грех Онана? Некуда, то-то и оно. Это и есть самая страшная, вымогнутая за великодушие плата — самоудовлетворение. Значит, не быть великодушью? Великодушью не быть? — Не быть, не быть, никогда не быть!)

И я оттолкнул Наума.

Я стал упрекать его и за эту грязь, и за грязь нравственную, и за эти брызги, и за отравленный машинами воздух, и за потерянное драгоценное время, и за утраченное достоинство. Но вряд ли он воспринимал мои упреки: он по-прежнему молчал и виновато кивал головою.

Мы остановились. Сколько мы так стояли? Час? Два? Сутки? Кажется, прошла целая вечность. Мы сели с Наумом на повозку, прижались друг к другу покрепче (все-таки еще была весна) и заснули. Гул моторов, к которому мы уже привыкли, не мешал нам, встречный поток машин (он тоже почему-то замер) хорошо укрывал нас от ветра, только воздух, коварный весенний воздух, немного страшил нас, и мы боялись простудиться. Но он мешался с отработанным горючим и, может быть, был поэтому не столь уж опасен, и мысль об этом согревала нас.

Мы задремали. Нервные сигналы машин смутно доносились до нашего сознания, нам снились подсолнухи и огромные некрасивые эльфы с крылами как у летучих мышей. (Странно, почему я думал, что то же снится и Науму? Из-за того, что мы были рядом? Видимо, так бывает всегда, когда...)

Наум толкнул меня в бок. Беспокойный он все-таки, этот Наум. Как мне брать его с собою в постель? Никогда не знаешь, что он выкинет в следующую минуту.

Я стал браниться. Я сказал ему об этом во сне, рассказал ему о его поведении. Он повинился и сказал, что больше никогда не будет толкаться. Он обещал мне это во сне. (Наяву, конечно, он никогда бы не пошел на это.)

Я очнулся. Ровная сухая дорога скатывалась глубоко вниз, машины уже ушли. Последняя, попыхивая синим дымком, скрылась под горой. Странно, они оставили нас одних! И странно, они объезжали нас! Как же мы этого достигли? Не слышали их. Наверняка были среди них недовольные — недовольные обязательно были: ведь дорога была так узка. Но мы не слышали!

Я сказал об этом Науму; я почти обвинил его в этом; он отмахнулся. Я повторил упрек еще раз; он отмахнулся снова. Тогда я прикрикнул на него, и уж после этого он взял и сказал: «Ну и что ж?»

— Ну и что ж, — сказал он. — Ну и что ж?

## ОБЪЕХАЛИ, НЕ ЗАПЫЛИЛИСЬ

«Не запылились, хм, — подумал я. — Не запылились...»

Странная все-таки у Наума позиция. Как гибка его совесть! Я бы так не смог. Нами были недовольны, нас объезжали, нам сигналили (и, конечно, ненависть тут тоже была), а он... Ему хоть бы что! Нет, я бы так не смог.

Всегда, когда мне приходится испытывать на себе людскую ненависть, мне становится больно, как будто меня убивают. Ведь ненависть — это уничтожение, это, если хотите, дозволенное убийство (закон ее не преследует, а зря: все ненавистники непременно бы убивали (и убивают), когда б были уверены в своей безнаказанности. Даже самые порядочные и почтенные ненавистники — убивают). Ну, признайтесь: там, в глуби сердца, ведь вы их убиваете, своих врагов, даже зубами рвете и такую придумываете им казнь, какой человеку с развязанными руками не придумать вовек. (Кстати, все изобретения по части насилия и пыток от ненавистников и исходят; от них, от кого же еще; от этих, с завязанными руками. Ведь развязавшийся убийца плоск: ну, нож, ну, топор, ну, ружье, пистолет, пушка. А дальше-то что? Дальше-то что, я вас спрашиваю? Мало что и придумаешь, когда развязаны руки. А ненавистники — нет (те, с завязанными руками): веревка-то на руках и разжигает воображение, беспокоит злобу. О, какие восхитительные, захватывающие дух картины рисует им их распутная фантазия! О! Тут и иголки под ногти, и щекотанье до обморока, и вытаскивание мозга через нос и уши, и залитые свинцом глотки. Нет, как знаете: и сапоги испанские, и электрический стул, и сна недавнее — только ненавистники и молчаливники и могли придумать — они, непременно они, кто же еще? Эти, завязанные. От них все, от молчаливников наших, от ненавистников наших, в ночи мечтателей, — от тех, что молча ненавидят, но рук себе развязать никогда не посмеют.)

Так я сидел и думал, а Наум что-то копошился возле тележки.

Набрав полные руки щепок, он тщательно счищал грязь с колес и отбрасывал щепки в поле. Я удивился. Зачем это понадобилось ему? Ведь предстоял еще долгий путь, и хотя дорога впереди лежала сухая, нас могли встретить всякие неожиданности. Да и вообще, зачем это? Не такой уж он был поклонник чистоты, чтобы...

Я сказал ему об этом. Он как-то небрежно отмахнулся от меня (никогда еще он так от меня не отмахивался) и продолжал заниматься своим делом.

Я поторопил его. Тогда, покопавшись еще немного для виду, он закончил и кокетливо стал обдергивать на себе одежду, слюнявить и оттирать пятна, заглядывать себе сбоку и за спину.

Куда он собирался? Зачем охорашивался? Кого надеялся встретить? Это вызывало во мне ненависть. (Всегда это вызывает во мне ненависть — мужчина перед зеркалом). Нет, нет, не забыл: рву, терзаю в глубине сердца, убиваю и уничтожаю; испанский сапог и иголки под ногти, лучше ржавые. (И хотя зеркала тут никакого не было, зато было это женское мужское кокетство, заведение глаз под лоб и самолюбленность без границ, равнодушие ко мне и другим — а, стало быть, и зеркало.)

Но я сдержался. Молча я стиснул зубы, поднял и опустил диафрагму и попросил его поторапливаться. Но он, конечно, все понял. А я понял то, что он понял, и он понял понимание моего пониманья, и опять мы шли и понимали друг друга, и ненависть была между нами. Дрожь от холода и неприязни, мы прятали дрожь за дрожью (одну ложь за другой), хотя и различали их.

Мы прятали ложь за ложью, дорога шла под гору. Я переменил свое положение, встал впереди тележки. Посмотрел на Наума. Опять

он что-то там колдовал, повернувшись ко мне спиной, — не переставая, конечно, *понимать*; я не переставал тоже.

Я плюнул. Он резко повернулся ко мне, зажался, словно на чем-то пойманный и словно чего-то испугавшись. (Пониманье продолжалось). Тогда я фыркнул и плюнул еще раз и понесся вскачь по дороге, надеясь, быть может, избавиться от понимания понимания понимания, понимания в степени п. Я понесся вскачь, тележка лихо напирала сзади и веселила мои усталые ноги.

Наум пустился за мною. Он быстро, легко догнал меня, но вперед пока не забегал. Лихо он бежал рядом, игриво сверкая глазами, воротил голову на сторону и тяжело водил боками. Он воображал себя в корне! Хотя это я был коренником, а он был лишь пристяжной. Да и то — какой пристяжной! Так только, для виду пристяжной. (Второй пристяжной моей ненависти.)

Потом он обогнал меня. (Ненамного, на полкорпуса, на полкруп.) Я чуть замедлил бег и дал ему обойти себя; он пошел спереди.

Зажав трость под мышкой, он пошел впереди, и мы потянулись цугом. Бешено мельками по бокам картины ландшафта, с воем пронеслись машины, обдавая нас сигналами и грязью, но мы не замечали их.

Наум держался молодцом. Видимо, ему приходилось и раньше участвовать в бегах на длинные дистанции, и секрет рационального дыхания был ему знаком. Я смотрел ему в затылок, на его похабные жирные волосы, на взлизанное место у шеи. Огромная волосатая бородавка (я никогда ее раньше не замечал) прыгала и шевелилась на его шее, как живая; пот ручьями сбегал по его волосам за воротник. Он уже начал уставать. Тогда я попросил его остановиться (о себе я не думал). Он согласился.

Он согласился, и ноги его тотчас же подогнулись. Он упал; он не выдержал этого поединка — поединка скачек и понимания, — он свалился. Он упал, я гордо отступил назад. Я победил.

Он упал навзничь, прямо на бетонку; тело Бледного Стайера лежало и вздрагивало внизу у трибун. Лежало поверженным. Я победил. Ибо я —

## БЕГУН НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

а в спринте я никому не соперник.

Мне стало жаль Наума. Я подошел к нему. Страшная зеленая бледность выступила на его лице, веки почернели, опаленные ноздри трепетали, грудь делала какие-то неясные спазматические вдохи. Его стошнило.

Я помог ему прийти в себя, зачерпнул свежего снега, расстегнул воротник. Я приложил ему снег к сердцу, дал глотнуть. Приподнял его на колено, сделал искусственное дыхание. Понемногу дыхание его восстановилось.

Медленно возвращалось к нему сознание (понимание, конечно, прекратилось, я уступил ему). Он виновато улыбнулся.

Он виновато улыбнулся, взор его был не со мной. Тогда я сказал ему об этом. Я сказал ему, что его глаза не со мной, что я их совсем потерял, что... Он открыл их. Мука раскаяния разливалась на его лице.

Бледный Стайер (бедный гаер!), зачем ты меня не послушал!

Он страстно обнял меня за колено, впился в свою руку губами. Я не оттолкнул ее. Он просил у меня прощения! Он просил у меня прощения за все — за все, и я простил его. Ведь он был слаб и наг, он просил у меня прощения, и я положил его к себе на колено. Жал-

кая виноватая улыбка все еще играла на его устах; борьба жалости и великодушия началась во мне — и никто из них не уступал друг другу. Никто из них не мог другого одолеть. Они пробовали быть одно другим: великодушие — жалостью, а жалость — великодушием, я не давал им смешаться, но они не могли друг друга одолеть, победить. И тогда они совокупились. Они сделали это без меня, без какого бы то ни было участия и соучастия с моей стороны, я этого не хотел.

Тихо я приподнял Бледного Стайера, поставил его на ноги. Он стоял, расправив грудь, глубоко дыша. Он смотрел высоко в небо.

Тихо мы тронулись в путь. Тихо плыли облака. Они шли с нами рядом, плыли, едва не задевая нас, иногда обгоняя нас, иногда следуя за нами по пятам. Но, в общем, мы были первыми.

Мы въезжали в город. Наум обхватил меня за шею и, прихрамывая, пошел рядом. Люди с любопытством глядели на нас: быть может, они завидовали нашей дружбе. Но, может быть, они невзлюбили нас — и тогда это было негодование. За что они не любили нас? и за что — любили? И в чем они подозревали нас, нас, — кто еще никогда... Ведь могли же мы просто любить друг друга — или между людьми это было запрещено? Страсти не было между нами.

Мучительны были эти вопросы, мучительны и надрывны, но мы пристально следили за развитием своего недуга — там, внутри, он, назревая, вызревал. Впервые мы чувствовали к себе такое внимание людей (не знаю, испытывал ли раньше такое Наум, но мне кажется, нет), такую сердечную близость и такую любовь. Дети любили нас. Быть может, они любили нас только за то, что мы умрем значительно раньше их — ведь мы были значительно старше. Но старики ненавидели нас, это было очевидно, они ненавидели нас лютой ненавистью, они ненавидели нас за то, что мы будем после: ведь мы были значительно младше их, и мы отнимали у них жизнь.

Должны ли мы были ненавидеть поэтому детей? Нет, этого не было между нами. Мы их любили. Они стояли и мудро глазели на нас своими детскими глазенками, кричали нам свои детские приветствия и махали флажками. И Наум улыбался им, часто и беспомощно переводя взгляд с них на меня, улыбался и плакал, и нелюбви не было между нами. (Они приветствовали нас как иностранную делегацию.)

Мы въехали на асфальт. Черная лоснящаяся дорога широко растилалась перед нами, медленно выгибаясь своим выпуклым хребтом. Снова понеслись в оба конца машины, встречные не обращали на нас никакого внимания, шедшие за нами преследовали нас.

Как-то неуютно было чувствовать себя на такой дороге одному (хотя несчастье вряд ли могло случиться), как-то неуютно и одиноко. Мы выехали на безопасный путь. То была безопасная зона, широкая метровая полоса относительного покоя, — странно, асфальт здесь был значительно светлее, — Угрюмая Ограниченность Дороги, пространство непересекающихся прямых.

Мы шли между двумя белыми осевыми линиями, то непостижимо сужающимися, то беспримерно расширяющимися, но, в общем, они не нарушали принципа параллелизма. В этом разреженном геометрическом пространстве мы двигались осторожно и как бы в вакууме. (Причем мы не переставая думали о Неэвклиде.) Был невесом наш бег, и напряжен наш слух, и мозг наш был обтекаем. Его обтекали запредельные шумы города. Он замер.

Глухой ватный удар вдруг раздался за нами. Мы оглянулись. Серый, как утка, голубь катался с раскрытыми крыльями по асфальту; машина уносила перья на ветровом стекле.

Голубь колебался и извивался, как червь, пробираясь в безопасную зону, замирая под несущимися колесами. Он странно так перевер-

тывался через голову, кувыркаясь, волоча разбитыми крылами, нежными с исподу. Мы со страхом наблюдали за ним, молились на него, просили пощады.

Ему повезло: больше его не тронули. Он счастливо, роня младенческий пух, добрался до разреженного пространства параллельных линий и, по-человечески вздохнув, умер. Встречные потоки воздуха шевелили его мертвые крылья: вокруг завихрялась пыль.

Наум подбежал к птице, взял ее в руки, снял шапку. С ненавистью он посмотрел на Них и что-то неясно пробормотал.

Я взял его за рукав. Он тихо, отводя глаза, взглянул на меня и пошел, прищептывая, за мною. Теперь я мог обойтись и без его помощи: дорога была под гору. Я подхватил со вздохом тележку, нахлобучил поглубже шапку и оставил его наедине с печалью... Я оставил его наедине с собой.

Сколько мы так шли? Час? два? сутки? Не знаю, но солнце еще было высоко. Наум начал отставать.

Наум начал отставать, я удивился этому. Он вел себя как-то нервно и беспокойно. Что случилось? Я посмотрел вперед. Навстречу нам медленно приближался Пограничник, поигрывая полосатой палкой у голенища.

Наум нервничал и суетился, покашиваясь на палку, он явно хотел бежать. Неужели он думал, что его арестуют или будут бить? Это была странная мысль.

Я взял его за руку, крепко сжал ее. Я попросил его сдержаться и быть мужественным, и мы пошли навстречу неизвестности.

Мы остановились как вкопанные. В теле его началась дрожь, мне она не передавалась. Я улыбнулся, ободрил своего спутника, похлопал его по плечу... Я усмехнулся и посмотрел вперед и смело пошел навстречу опасности — Наума я вел за собою.

Черный, в белых ремнях, полушубок мрачно подвигался к нам. Наум нервничал, выдергивал свою руку из моей и пытался пересечь границу. Как назло, отказывало управление. Почти не держали тормоза. Все было против нас. Все было потеряно.

И вдруг... О счастье! Небывалое! Неземное! Он медленно, как бы раздумывая, повернулся к нам спиной и начал постепенно удаляться. Мы сбавили шаг.

Он бежал от нас! Он испугался! Он сдался! Но нет: в его поступке было достоинство и превосходство. Это было достоинство силы. Он как бы поучал нас. Властный! Он удалялся.

Наум, однако, воспрял духом. Это была очевидная победа. Ведь нравственно мы были сильнее его, и он это почувствовал. Я сказал об этом Науму; он ухмыльнулся. (Он уже избавился от благодарности ко мне, благодарности за свое спасение. Ее груз больше не тяготил его. Как ему это, однако, удалось? Не может быть, чтобы он...)

Он ухмыльнулся: видимо, он был не согласен со мною. Ну хорошо, не согласен. Но зачем же издеваться надо мной? Зачем ухмылки? Мало ли с кем не бывает ошибок, так неужели... Я этого не заслужил.

Полушубок повернул снова. Снова засуетился и попытался перейти границу Наум (он пытался воспарить над землей); я схватил его за локоть. Ухмылка соскользнула с его лица. Упала на пол. Я подошел и раздавил ее каблуком. Скользкую, как кость сливы.

## ОН ПРИБЛИЖАЛСЯ

Он приближался, он был уже почти рядом. Снова отказало и закапризничало управление. Спустило и завихлялось колесо. Пуговицы сияли, как солнце. Он приложил руку к голове.

— Попр-р-рошу предъявить!— выкатилось грозно из полушубка, и я вздрогнул. Ремни грозно заскрипели.

Ремни грозно заскрипели, я вздрогнул, подтолкнул Наума. Чего он хотел от нас? Что замышлял? Пытался ли он соблюсти законность? (Правовые отношения между личностью и государством.)

Наум ему что-то показал. Быть может, это была пенсионная книжка? Или техталон, технический паспорт на машину? Во всяком случае, это был какой-то документ, я успел заметить это. Но, может быть, я и ошибался.

Он сверил по книжке наш номер и остался очень доволен. Истина была с нами. Закон был за нас. Право было за нами.

Право было за нами, но он, вероятно, был не удовлетворен этим. Да, он не был удовлетворен этим — и палка его взвилась в воздух. Наум испустил страшный вопль (или, или!) — и нарушил государственную границу. Взвизгнули тормоза. Раздался удар в бампер. Овчарки взяли след.

Он почесал палкой за ухом и смущенно сказал: «Ну, что ж...»

— Ну, что ж, — сказал он. — Ну что ж.

## ПРИГЛАШАЮ НА ТЕХОСМОТР

Желаю удачи.

И начал медленно удаляться.

Я согласился. Не мог не согласиться. Я соглашался даже на ремонт. К тому же, она давно нуждалась в покраске. Двигатель стучал. Коробка скоростей нуждалась в пересмотре. Карданный вал... Да и вообще, масляные фильтры требовали замены. (Я уже думал, как мы будем регулировать зазор.)

Я согласился. Радостно заколотилось сердце. Приподнялась и опустилась диафрагма. Вкладыши, подшипники, клапана...

— Наум, — страшно закричал я, обрывая себя. — Где ты?

— Я здесь! — помахал он мне рукою с тротуара и послал воздушный поцелуй. Гражданин чужой страны.

Господи, жив! Как я благодарен ему за это! Господи, Господи, Боже.

Мы шли, мы неслись, мы летели, как ветер (два параллельных сирокко), бешеный поток машин разделял нас и не давал нам соединиться.

Мы бежали *вдоль*. Мы бежали *вдоль* друг друга (и так же *вдоль*, как бежали, мы всегда друг друга понимали, никогда поперек, то есть никогда, в сущности, по-настоящему друг друга не постигали; всегда поверхностно сверху, как...). Я крикнул ему об этом. Он радостно закивал головой. Видимо, он чувствовал то же. Параллельные пересекаются! (Лобачевский что-то имел против Эвклида.)

Наконец появилась брешь. Собственно, они остановились, как вкопанные. Это продолжалось целое мгновение. Мы бросились друг другу навстречу. Мы соединились.

Наум радостно подбежал ко мне, обнял, расцеловал. Блудный сын блудного отца. Библия и Рембрандт. Возвращение из эмиграции. Торжественное перенесение праха. Четвертая, одиночная, эмиграция.

## ЭМИГРАНТ ВОЗВРАЩАЛСЯ ИЗ ПАРИЖА

Эмигрант возвращался из Парижа, таможенники проводили (тех)-досмотр.

Он показал мне ногу. Собака укусила его за голень. Черные, фиолетовые по каймам, расплывались по ноге зубы. Надо обязательно

ему сделать прививку против бешенства. (Только бы его не поразила водобоязнь.)

Мертвая тишь объяла вселенную, и мы обняли друг друга. Радостно закружилось сердце. Солнце выходило из-под небес.

Солнце выходило из-под облака, зеленый глаз дьявола не дремал. Красное, сверкай! Сверкнул. Озарение движения. Просветление колес.

## БОДХИ

Движение возобновилось — государственные границы восстановлены — нарушитель обезврежен — поле запаханно — награды вручены —

## СОБАКИ ВЗЯЛИ СЛЕД

Собаки взяли след, мы поехали дальше. Наум сильно хромал (при переходе через границу ему прокусили ногу) и сказал, что у него поднимается температура и что он чувствует необыкновенное волнение по возвращении на Родину. Я сказал, что, может быть, это временно и с температурой пройдет.

Ведь так всегда бывает при возвращении на родину — волнение, температура, сухость горла и прочее. Он унес родину на каблуках сапог! Он рассмеялся и сказал, что я, как всегда, прав, только это обычно сушит нёбо.

Потом он мне рассказал о Париже. По правде сказать, я сильно завидовал ему — Париж всегда оставался моей неосуществленной мечтой.

Как оказалось, он даже побывал на Пер-Лашез. — Так, ничего особенного. Посетил даже какое-то знаменитое собачье кладбище и возложил цветы и цыплячью косточку (бараньей у него не оказалось) на могилу неизвестного фокстерьера — возле нее всегда полно народу. Был и в Доме Инвалидов и искал там некоего Кандида.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что Наум посещал только печальные и грустные места — ни в Лувре, ни на Монпарнасе он так и не побывал. Зато, как говорил, грустил над Бастилией и бродил по Гревской площади — там раньше рубили. Целая роща торчащих из-под земли пеньков (рубили заподлицо). Эйфелевой башни, разумеется, он не миновал.

Понемногу я начал понимать его характер. Привязанности его многое мне раскрывали. (Пошлостью башни он только оправдывал свою угрюмость.)

Мы перешли на тротуар (зеленый глаз дьявола разрешил нам это). Мы бежали из преисподней. Ева и Адам!

К нам подходили снова. Теперь их было двое. Серые, как крысы, они подошли вплоть и взяли под козырек. Наум весь задрожал и спрятался за мою спину. Господи, как мне хотелось помочь ему! как хотелось защитить, спасти! Но они вытащили его из-за меня и заломили ему за спину руки. Я стоял, словно набрав в рот воды, и ничего не смел возразить им. Сейчас они его возьмут и уведут. Сейчас они его посадят в тюрьму.

За это они арестовали его? За что крутят руки? За что хотят лишить свободы? Ведь он вернулся, он повинился. Он показывал им свои ноги, обкусанные до мякоти ногти, обмороженную мочку уха, он пытался их разжалобить. Наивный! Он им рассказывал про Париж. Про фиалку и женщин Монмартра. Нелепый! Сейчас они посадят тебя в тюрьму, и хотя ты на родине, тебя арестуют. Никому не позволено безнаказанно пересекать государственную границу. Даже в шутку. Даже во сне.

Его увели. Они отвернули за угол, скрылись из виду, и боль и одиночество вошли в мое бедное сердце. Я пожалел о нем. Товарищ! Скольким я был обязан ему. Как он был добр. Когда же я теперь отблагодарю его вновь? Теперь все. Время потеряно навсегда. Все кончено.

Я сел на книги и закрыл руками лицо. Была печаль, было горе, но глаза мои оставались сухи. Странно, его не было со мною, но мне было стыдно перед ним. Совестно за свои сухие глаза, за свое жесткое сердце, за то, что я не мог выдать для него даже слез. Даже слез — такой малости! Я огорчился.

Я огорчился, сновали вокруг люди, весело щебетали.

Я огорчился, грохотал в водостоках лед.

Я огорчился, вздрогнули подо льдом реки.

Я огорчился. Наступала моя последняя весна.

Кто-то ударил меня по плечу. Я очнулся. Прохожий? Что тебе было до меня!

Я открыл глаза, отнял от лица руки. Передо мною стоял Веселый Эмигрант, бледный прокушенный гаер. Он молодецки заломил шапку на затылок и рассмеялся в небо. Так это был Наум!

Он улыбался. Он был на свободе, он хохотал. Вероятно, он чем-нибудь откупился от них (коррупция во Дворце правосудия) — иначе бы они его ни за что не отпустили. Я не верил своему счастью. Я не верил, но он повертел у меня перед глазами бумажкой. (Какова же все-таки была мзда?)

Бумажка была какой-то важный документ, желтая хрустящая квитанция, выписанная под копир. Я рассмеялся, взглянув на нее. Это был смехотворный штраф, ничтожная сумма, как же дешево он отдался! Можно сказать, вышел почти сухим из воды. Как это ему удалось? (Я забыл о его находчивости.)

Я спросил у него об этом. Но он попросил меня не задавать ему никаких вопросов и сказал, что надо просто жить и радоваться на свободу — на свободу, солнце и жизнь. Не надо ни о чем спрашивать, да и все очень просто!

Он помог мне подняться, и мы тронули дальше. Было уже недалеко, мы быстро приближались к цели. Весна ободряла нас.

Опять с любопытством оглядывали нас люди, приветствовали и улыбались дети. Рыжая большая собака грелась у стены на припеке и жмурила свои старые глаза. Наум звонко похлопал себя по ляжке, позвал ее к себе. Она нехотя приподнялась, но потом раздумала и улеглась снова. Тогда Наум ударил ее ногою в бок. Зачем? Бессильно она оскалила свои желтые зубы, но так и не могла докончить злобы: ее одолевала старость.

Зачем он обидел животное? Это ему не простится. Никогда.

— За то, что они берут след, — сказал он. — За то, что они отслеживают нас.

— Но ведь, кажется, Наум, это была не овчарка? — нехотя возразил я ему (мне не хотелось ссориться после долгой разлуки). — Мне кажется, это была не она.

— Все равно, — сказал он. — Все равно.

### ЭТА БРАЛА ТОЖЕ

Я не стал с ним спорить: весна была так хороша. Старухи грелись на скамейках, выползали из берлог старики. Все выше, выше поднималось небо, все таяли и таяли облака.

Мы подъехали к магазину. Я попросил своего товарища немного

помочь мне — только внести книги на лестницу, а потом он может быть свободен. Он с удовольствием выполнил мою просьбу; даже слишком поспешно. Я попросил его также посторожить нашу тележку. Он согласился снова. Я разрешил ему погулять пока на бульваре (тележку он должен был забрать с собой), но просил с бульвара никуда не отлучаться: быть может, я скоро вернусь. И я особенно настаивал на внимании к личным транспортным средствам: время было беспокойное, вешнее. Он опять радостно согласился со всем и обещал мне.

Боже, как ему хотелось побыть одному! Как ему хотелось быть самостоятельным! Неужели я так стеснял его? Ничего, пусть немного развеется; побалую его. Друг!

Он шел по скверу, гордясь своей взрослостью и независимостью, не оглядываясь и не смотря на меня. «Ребенок, совершенный ребенок», — улыбался я. Так выходят они, дети, впервые на люди, гордясь своей взрослостью и независимостью, и так же делают вид, что не замечают тех, кто родил и воспитал их. Мужающий эгоизм детей! Я вздохнул.

Я вздохнул — он уже скрылся за липами, громыхнув на прощанье тележкой. Стало грустно и одиноко. Я взялся за книги. Пора.

— Что я вам скажу-уу сейчас, что я вам сейчас скажу, — возник вдруг передо мною невысокий лысый мужчина в очках (не еврей) и в шляпе (лысина угадывалась даже под его глубокой шляпой). Он помялся.

— Что я вам предложю-уу сейчас, что я вам сейчас предложю... Он помялся опять.

«Не еврей, не еврей, не еврей, — проносилось. — Не еврей».

— Я дам вам хорошую сумму за эти нехорошие книжки, — смущаясь, пропел не-еврей и скукисился. — Я предложу их вам; отдайте мне эти книжки. — Он был настойчив лишь в интонации.

Я задумался. Это был бы антизаконный почти противогосударственный акт. Почти противогосударственное, преступление. Торговать возле магазина запрещено. К тому же нельзя лишать государства его монополии на торговлю. А я выполняю все установления государства, ибо я добросовестный и законопослушный гражданин. К тому же он назвал эти книги нехорошими (удивляюсь еще, как он не назвал их...) Это оскорбляло меня. Я стиснул зубы.

Я стиснул зубы, но человек продолжал заискивать и заглядывать мне в глаза, обирать на мне невидимые соринки и крутить мои слабые пуговицы. Тогда я согласился, пока он не открутил их окончательно. Я подумал, что это было бы антигуманным — приводить его в уныние своей несговорчивостью, — в уныние, упадок и недоумение, — и я согласился. (К тому же и деньги нам были нужны.) Он радостно заулыбался.

Мы чего-то ждали. Я сделал какой-то нетерпеливый жест, но он удержал меня за пуговицу. Он был властен со мною (надо мною) — как-то униженно, как-то заискивающе, но властен, и я подчинился. Эту властность придавало ему полученное от меня обещание, а смягчало ее лишь то, что оно еще не было претворено в жизнь. Но я предвидел уже его безучастье.

Мы чего-то ждали. Наконец к нам подошла какая-то картавая женщина, почти старуха (не она). Человек встрепенулся и, заискивая, подбежал к ней (о, по-другому заискивая, совсем; перед женщинами всегда по-другому; с подобострастием превосходства):

— О, Роза, — простонал он. — Куда же ты ушла? Давай же побыстрее наши деньги...

(«Не она, не она, не она, — проносилось. — Не она».)

Они быстро расплатились со мной и, часто оглядываясь, ушли. Побежали галопом.

Неужели они думали, что я могу передумать? Чудаки! Нам-то они были не нужны.

Я пересчитал деньги. Чудесная, благородная сумма; на это я, сказать правду, не рассчитывал. Я зажал их в руке. (Как предупредить об этом Наума?)

Я зажал деньги в руке и стал думать, как сообщить об этом Эмигранту. Надо тщательно подготовить его, у него слабое сердце. Надо начать издалека. (Как если бы мы получили наследство.) Но, может, пока не сообщать ему совсем? То есть сказать ему не всю правду? Так, мол, ходят слухи, что какой-то наш дальний родственник, наш заграничный дальний родственник... Поверит ли? У него недоверчивый характер. Но, может быть, лучше все-таки невинно обмануть его, чем сокрушить правдой? Лучше и великодушной? Вряд ли. Вряд ли, конечно, я надеялся обмануть его пронизательность, но подозреваемая правда, уж конечно, человечнее правды высказанной. И, как всегда, вряд ли великодушные мое будет понято. (Я все-таки надеялся. Так, робкая надежда.)

Я вошел в сквер, поискал глазами Наума. Его, конечно, нигде не было. Я поискал его даже на деревьях, как птицу, — так, на всякий случай взглянул вверх. Но и там его тоже не было. Тогда я решил просто обождать его на скамейке. Ведь мы договорились об этом.

Я сел. Неумолчно галдели и бродили между кустами дети, тыкая лопатками в снег. Они перепархивали с ветки на ветку, как эльфы. Старухи тоже разбредались по округе, верещали и вели себя, как дети. В этом была отрада. Сердце мое согрелось. Ведь было солнце.

## ОНИ СИДЕЛИ

Они сидели. Две маленькие голубые женщины, очень похожие друг на друга; вероятно, это были близнецы.

Испуганно они отодвинулись от меня на край, видимо, они о чем-то уже догадывались. О, мерзость! Неужели они могли подумать, что я...

Я сделал им внушение (придвигаясь), но они опять не поняли меня. Впрочем, они обнаруживали уже недюжинное кокетство. Старшая (они были близнецами, но ее уже состарила чужая похоть), — старшая, мне показалось, подмигнула мне, и я ответил. Я ответил, она засмеялась, обнажив свои нехорошие, источенные сладостью зубы, но тут же прикрыла рот рукавичкой. Господи, где она научилась так? Кто сказал ей, что этого надо стыдиться? Не обольщена ли она? Не взята ли змием? Что она слышала о «Кама-сутре»?

## ОНИ ШЕПТАЛИ

Господи, где этот жиденок, аид, за что мне такое наказание!

Младшая ухмыльнулась. Она вела себя так, как будто ей было известно. Она ухмыльнулась посмотрела вниз. Медленно посмотрела на меня.

## СТРУИЛИСЬ ОЧИ

По поднятию век ея, по перебору ног узнал я ее склонность к блуду. Я смутился.

Где Наум, где этот несчастный жид?! (Молчание.)

Подошла нянька. Злая старуха с вплетенным в накладную косу бантом. Забрала их на руки, сделала им краткое внушение, волхвуя. Господи, ей не тяжело? (Подняла их вместе со грехом.)

## ОНИ МАХАЛИ

Они махали мне рукой. Махали, смотрели вниз. Смеялись. Как они прощались со мной! (На берегу моря, в тростниковую хижину, он вошел к ней; зашлась. Зашлась, раскрыла колчан пред стрелю. Вонзил.)

Младшая поднимала глаза. Мы прощались навсегда.

Делир медленно приближался к скамейке. Пена выступила у его губ. Окровавились удила. Тяжко водил боками. Он сделал и-го-го, оглашая окрестность ржанием. Брызнули по снегу копыта. Он остановился подле как вкопанный.

Маленькая девочка сидела у Делира в тележке и улыбалась. Эдакий розовый мандаринчик с подгнивающим бочком. У него неплохой вкус! (Марфиньке всякие фрукты полезны.)

Он запыхался. Он страшно устал и запыхался, но как блестели его глаза! Как радостно вздымалась грудь! Как малиново звенела и трепетала упряжь! И как трепетали ноги! Он рвался вперед, этот чудак, кентавр своего и моего желания, но девочка легко сдерживала его прыть, как сдерживают свою рвущуюся к греху похоть. Она сдерживала ее скакалкой. Он был поработен. О, рабство похоти и похоть рабства! Желание управляло им.

— Где они? — насупившись, спросил Делир и ударил копытом в землю.

Я пожал плечами: о чем ты, пеший?

— Где они? — повторил он с ненавистью. — Где? Для тебя все, для тебя, для тебя! — взвизгнул он со слюною и взмыл к небесам.

«Застоявшийся жеребец с места в карьер берет», — подумал я и усмехнулся.

Делир бешено удалялся, разбрызгивая клочья пены и перекусывая удила.

Девочка отклонилась назад, еле удерживая вожжи, голова ее глабоко запрокинулась, развязывались на ветру банты. Она задыхалась от ненависти и ветра. Страшную скорость развивал Делир, но это было от злобы. (Я бы не мог соревноваться с ним в этом.)

Они сделали еще круг. Мальчишки гурьбою пронеслись за ним, крича, чтоб их покатали тоже. Но он брал только девочек, розовых начинающих мандаринчиков с необлупленной кожурой. Мальчишки готовили заговор. (Главарь уже завязывал силок.)

Мальчишки готовили заговор, главарь уже завязывал силок. Он остановился. Прекрасная Герцогиня, дочь Франции, вышла из кареты, ее окружала свита. Нервно обмахиваясь павлиньим веером, она дерзко поглядывала на меня из-под перьев. Я подошел к нему (под ее павлиньим взглядом), распряг его, снял сбрую. Накинул на круп парчовую попону. Герцогиня подбежала и забрала у него скакалку. Исчезла. Рассеялась, как инжирный цвет.

Делир часто водил боками. Он просил пить. Полцарства за глоток воды для моего коня! Я взял его под уздцы и повел за собою (его нужно было еще хорошенько выводить). Преданно он побрел за мной. Преданно и виновато. Кто бы еще мог сочетать в себе такие противоречия? В этом был его истинный талант! (Кентавр его добродетели и греха.)

Мы вышли на тротуар. Люди шарахались от нас, как от чумы. Это было чудо: лошадь в городе. Я усмехнулся.

Мы засматривались на лотки. Бойкая весенняя торговля иголками и пирожками. Солнце сияло всюю. Он просил пить.

Сомневаясь, я дал ему монету, и он подошел к автомату. Люди столпились возле него. Чудо в городе — лошадь у автомата. (Лошадь хотела пить.)

Воды в автомате не было (чудовища стояли на консервации). Тогда он подошел к киоску и встал в длинную очередь. Люди отпрянули от него. Это было чудо — лошадь в очереди. (Я сделал вид, что животное не со мной.)

Я ждал. Он долго торговался с киоскершей из-за стакана, проводил по нему изнутри пальцем и что-то доказывал; он показался ему грязным. Лошади, я слышал, очень брезгливы. Ну что ж, они правы, если...

Он апеллировал к очереди, демагог! Он заставил ее перемыть всю посуду. Кажется, он предьявил ей какой-то документ — и очереди, и продавщице. Она злобно взглянула на меня, но подчинилась. А я-то тут при чем? Всегда они срывают зло на мне, когда нет виноватого, а есть вина. То есть когда у следствия нет причины. (Что сказал бы на это Аквинат и что возразили бы на это позитивисты?)

Наконец он напился.

— Наум, — сказал я ему, — нельзя пить так много, ты простынешь. — Томимый жаждой, он был вынужден выслушать мою тираду.

Скучая, Наум смотрел вверх, словно ища поддержки у солнца — оно сияло вовсю. Ковыряя носком асфальт, напуская на себя скуку, он не понимал, как это противоречит весне и как его разоблачает солнце. Чудак, он не представлял, как нелепы маски при свете дня — даже невинное домино начинает действовать только при заходе солнца.

Я попросил его поторопиться: ведь нам еще было необходимо попасть в баню и надо было успеть вовремя вернуться домой, взять белье и отвезти тележку. Дел перед мытьем было достаточно. (Само мытье я рассматривал как развлечение.)

Он спросил, продал ли я книги. Я нехотя ответил ему. Не хотелось разнуздывать его инстинкты. Тогда он попросил у меня немного денег. Внезапно, ни с того ни с сего. Я, разумеется, отказал. Насупившись и шмыгая носом, он замолк. Но долгого молчания не вытерпел и характера не выдержал, а начал ко всему придирааться.

Зачем я прогнал его девочек (а это были его девочки) — он хотел их покатать; ведь они ждали его. Ждали его покататься с ним. Я сказал, что их забрала нянька и что я здесь ни при чем. Он не поверил. (Испустив при этом подозрительный звук.) Он сказал, что я завидую ему, завидую ему во всем, завидую даже его успеху у женщин и поэтому прогнал их. Что за бред! Зачем зависть? Откуда мне было знать, что это его девочки? Я ничего об этом не слышал.

Я промолчал. Что было взять с этого несмышлениша? Он просто устал. перевозбудился от весны. Придрался еще, что наша тележка давно не мазана и скрипит, как деревенский драндулет. Стыдно, мол, с ней даже выйти на люди — все шарахаются от нее в стороны. Что мне было сказать? У праведности нет доводов. Он искал ссоры.

Я промолчал снова. Пускай, думал я, позлится, может, зло и выйдет. Выпущу из него воздух, как из мяча. Тогда он опять перешел на деньги (всегда все на них переходит, и всякая ссора, начатая им издавна, непременно выводила его к деньгам; никогда я не верил его обидам, высказанным раньше денег, и знал, что, начав с обычных своих возвышенностей и высокомерий, выбредет затем на деньги наверняка). Опять он начал про них, эти деньги, стал капризничать и отставать. Бурчал, что я никогда не даю ему на булавки, на баранки и то не даю, то есть не даю ему маленьких, карманных денег на карманные расходы; говорил, что он уже не маленький, что при его *поле* и возрасте ему необходимы не только карманные, булавочные то есть, деньги, но и вообще *суммы* (так, неопределенные, мол, суммы) — на непредвиденные расходы; говорил, что у него нет даже галстука, шнурков, туфель, нет даже носового платка. Хорошо, сказал я, носовой платок у тебя будет. Что еще? Он сделал вид, что не слышал моего замечания и продолжал канючить дальше. Наконец, договорился. Среди прочей чепухи и око-

личностей, брякнул вдруг, что ему нужен золотой перстень или хотя бы серебряный; что у его сверстников уже давно есть такие и только он один... А он ведь ничем их не хуже, ничем. Сказал еще, что ему давно нужна новая (настоящая) трость, а не такая, как эта, до неприличия заношенная и сделанная из простой лыжной палки. У него нет даже часов. Цепочка для часов и то отсутствует.

Я смутился. Алчность и неблагодарность всегда до растерянности изумляли меня (каково? — перстень! какво? — часы! Вот так всегда: начнут с носового платка, а кончат виллой и собственным выездом). Он любил дорогие вещи, я догадывался об этом. Но чтобы так...

Я просил его замолчать. Немедленно прекратить это! Он фыркнул и отвернулся от меня, нарочито глядя куда-то в сторону. Но деньги наши ему, видимо, не давали покоя. Опять он стал брюзжать и надоедать мне, зудеть под ухом, и я, сжалившись, протянул ему немного мелочи. Он презрительно отвернулся, но деньги все-таки (как-то из-за спины) взял. Потом стал просить еще; я не дал. Какие, подумаешь, великосветские претензии!

Он стал просить у меня на янтарное ожерелье! Вот как. А не хочет ли он, в таком случае, жемчужного кольца? Нет, колье ему ни к чему. Тогда, быть может, алмазную диадему? Нет, не хочет тоже. Алмазы он презирает. Я весело погрозил ему кулаком — до такой степени не воспринимал этого бреда.

Он рассердился. Ему нужно янтарное ожерелье, нормальное янтарное ожерелье, а не то... Он поджал губы.

Ну, хорошо. (Я решил выслушать его.) Зачем оно тебе? Так, подарить кому-нибудь, отвечал он. Кому же — женщине или мужчине, спросил я. Женщине, конечно, сказал он, кому же еще? (И это — без оттенка сомнения!) Ха-ха, сказал я, женщин-то у тебя ведь, я думаю, нет? Почему же? Нет, так будут, сказал он. Сейчас нет, потом будет. А может, уже все-таки есть? Может, и есть, незамедлительно согласился он. Не ври, Наум, сказал я и треснул его кулаком по затылку. Никогда у тебя их не было и не будет (неужели он имел в виду эту грязную засаленную шлюху из хлебного фургона?) — девочек я не принимал в расчет.

— А Герцогиня? — хитро подмигнул он мне левым глазом — и мы вошли в универмаг. (Просто удивительно, как он тотчас услышал мое сомнение!)

В универмаге, как всегда, кишело от народа и запахов. Горячий воздух calorиферов сразу обдал меня до головы, и мне захотелось спать. Я хотел было задержаться возле них по привычке, но Наум уже влетел в магазин и побежал по рядам, страстно припадая к витринам. Улыбаясь, я пошел за ним. Я уже все забыл!

О, это был страстный покупатель! Если бы ему еще мои деньги! Впрочем, с деньгами-то еще как раз неизвестно, как бы он распорядился. Может, взял бы да и спрятал их в кубышку. Честное слово, он бы смог. Такой скарעד!

Он просил показать ему то то, то это, подолгу торговался и перебирал товар, перешушывая, как в частной лавке, ткани, и, в конце концов, ничего не покупал. Но я ведь выдал ему на карманные расходы, я точно помню это! Впрочем, он, наверное, хотел показать себя очень при деньгах, а продавцы, конечно, все понимали и насмешливо улыбались, развертывая перед ним косынки, тяжелые штуки тканей, женские кружевные панталоны и чулки. Мужские товары его не интересовали!

Странно, но он пользовался симпатией. В меховом отделе он попросил показать ему кунницу. Продавцы держали зверька за хвост, видимо, он все-таки не вызывал у них полного доверия. Но, может быть, они делали это по привычке — ведь он всегда раньше пользовался у них сочувствием.

Он долго разбирал мех пальцами, дул на него, как заправский купец, поднимал на свет, встряхивал, пытался даже прикинуть себе на плечо. Продавцы со страхом потянули у него мех обратно, и, спасая свою респектабельность, он со вздохом заявил:

— Нет, не подойдет. Слишком жидок. Не мой стиль.

Продавщица обиделась и по-бойарски накинула ему мех на плечи. Он принялся охорашиваться и взбивать волосы.

Мне, наконец, это надоело. Я быстро повернулся и отошел от них, стал разыскивать нужную мне вещь. Он тотчас (с куницей на плечах) побежал в отдел украшений, и глаза его разгорелись неприличным блеском. Быстро он перебежал от одной витрины к другой, умоляя, поглядывал на меня; просил подождать. Нет, блеск золота не насытит его! Неужели он не понимал этого? (Куницу, наконец, сняли.)

Я молча потянул его за пуговицу, вложил ему в руку клетчатый, с шахматным конем, платок. Я был несказанно горд своей покупкой. Он даже не поблагодарил меня и равнодушно сунул платок в карман. Неблагодарный!

Меня это разозлило. Неужели он не понимал, что денег у нас нет, не так уж много, что мы можем позволить себе лишь такие платки, платки, да, да еще, может быть, бумажные недорогие сорочки. Неужели не понимал? Нет, не понимал и не хотел понимать. И даже не пытался. (Я задохнулся от слез.)

Я вошел в хозяйственный отдел. Уныло побрел он за мной, что-то зло прищепывая и печалась. Я делал вид, что не замечаю его. Брезгливо перебирал он веселый кухонный хлам: кастрюли, сковороды, миски, дешевый грубый фарфор. Раскрыв огромную двадцатилитровую кастрюлю, он вывалил оттуда стружку и стал водить изнутри пальцем, рассматривая ее на свет. (Так проверяют жир.)

— Вы что, не можете их тут? — брезгливо спросил он у продавца, тщательно вытирая палец платком (новым!). — А санинспекцию вы не боитесь? (Меня чуть не вырвало на его орфоэпию).

«Ведь не купит же, не купит, не купит, не купит, — с ненавистью думала продавщица, не глядя на него. — Не купит».

— Не возьму, — высокомерно процедил сквозь зубы Наум и как бы нечаянно поддел крышку каблуком. Она отчаянно зазвенела.

Мне стало неловко за Наума, и я попросил его прекратить это. Он попросил меня не указывать ему. Занимаясь своим делом, сказал он. Покупай свои разорительные платки.

Я разозлился. Грубить мне! А кто ты такой, чтобы... Быстро я выбрал себе мочалку, кусок хозяйственного мыла, постоял в раздумье над топором. «Нет, не куплю, — решил я окончательно, — все-таки почти целковый, обойдусь». И я поискал Наума глазами.

Он сделал вид, что не замечает меня. Он стоял перед огромным пультом, включая и выключая кнопки (воображал себя оператором, пианистом?) Стал включать и выключать люстры, расположив свои грязные пальцы на панели, как на клавиатуре. Он перепробовал все люстры, но на каждую недовольно дулся и пыхтел. Затем подошел к бездарной громоздкой лампе (настойной; она стоила огромные деньги), взялся рукою за ее мраморную стойку и выразительно посмотрел на меня. Что, мол, слабо? Он хотел купить ее! Мраморную, с побрякушками из хрустала! Господи, зачем она ему? Эта плебейская роскошь, да этим он сразу отрекомендует себя умному человеку! Сразу же! Что за безвкусица и нелепица, что за...

Я сказал ему об этом. (Странно было то, что, никогда не держа таких денег в руках, мы как будто сговорились и выпустили это из виду!) Я пустился в пространные объяснения.

Я пустился в пространные объяснения, он не хотел ничего понимать. Он только упрямо твердил, что ему необходима настольная лам-

да, что из-за меня он не собирается портить свое и без того уже неполноценное зрение и что неужели же я такой циник (!), что даже такой малости не могу для него позволить, даже такого пустяка не могу для него сделать, да. Я разозлился и плюнул.

— Ну хорошо, — сказал я. — Ну хорошо. Такая тебя устроит?

Я нажал на кнопку пластмассовой, с оранжевым колпаком, лампы, и она зажглась.

Я победоносно посмотрел на него. Как? Нет, такая ему не подойдет. Хорошо, а такая? — показал я на лампу подороже, уже выходя из себя. Нет, такая не подойдет тоже. Тогда какая же? Вот такая, хрустальная, за 500 рублей. — О-ооо...

Что было тратить слова? Их запаса не хватило бы даже для уныния. Я купил себе морковную терку и бросился из магазина вон. Он окончательно разозлил меня, к тому же мы совсем забыли о тележке. Цела ли она? Что с нею случилось? Пропади он пропадом со своим хрусталем! С соболями и кунницами! С золотом и женским бельем! С кастрюлей!

Я выскочил на улицу. Тележка была на месте. Это было неожиданно странно: не раз уже ее у нас похищали. Но она была на месте. Такое счастье! Я с облегчением вздохнул. Я даже подумал, что там, в магазине, мысль о тележке ни на минуту не оставляла меня, все время меня подсознательно беспокоила и что мое раздражение против Наума на самом деле было только это тележечное беспокойство. Я с облегчением вздохнул: мне приятно было оправдаться перед собою (и оправдать еще заодно товарища).

Я долго ждал его. Я успел замерзнуть и не раз обвинить моего товарища. Оправдания и обвинения, перемежавшиеся в тепле, превратились теперь в сплошное обвинение, недомогание совести. Я уже не знал, кого винить — себя или его. И был уже готов наброситься на него (себя?) с кулаками.

Наум, наконец, вышел. Стиснув зубы, он продирался сквозь злую равнодушную толпу, расталкивая ее локтями. Кажется, он даже чертыхался. (Лексикон его был не беден!) Я понимал его. Чего толкаться? Зачем лезть? Что вдруг изменится, если попадете туда позже? Или не попадете совсем? Нет, они толкались так, как будто их ожидало там разрешение всех вселенских вопросов.

Наум выдрался из толпы, отплевываясь и злобно что-то бормоча. (Должно быть, он использовал ненормальную лексику). Быстро оглядев свое пальцецо и пробежав по бортам, как по клавишам аккордеона, он чертыхнулся снова: пуговиц на пальто не хватало. Выпустив в толпу еще что-то непечатное, он сел рядом со мною и хлопнул меня по плечу. Кореш! Мы отдохнули.

Странно, но почему он до сих пор не вынимал рук из карманов? Даже по клавиатуре пробежал не пальцами, а взглядом. На что он надеялся? Как вышел из магазина, так и... Надо было их все-таки вытащить: пуговицы бы тогда и уцелели. Эх, меня не было рядом!

Я сказал ему об этом. Он промолчал. Он промолчал и сказал, подумав:

— Так, знаете ли... Так, знаете ли, как-то все... некогда... —

## РУКИ НЕ ДОХОДЯТ

Что он болтал? Рук ему некогда из кармана вытащить? Руки у него не доходят? Он, кажется, уже начал заговариваться. Эх, Наум, Наум... Мне бы твои заботы.

Я вздохнул, взялся за тележку. Вслед за мною вздохнул и он. Синхронизатор! Потрепав его по щеке, я сказал:

— Не грусти, Наум. Пуговицы мы тебе купим.

Вероятно, он почувствовал в этом издевку и яростно сверкнул на меня глазами. Издевку или подвох. Ну что ж, может, чувство его и не обманывало. Я иронизировал над ним.

Я решил замять дело и успокоить его. Вытащил ему руку из кармана и вложил в его ладонь большой серебряный рубль, как метку. Как метку, как взятку, как... Голова выпала на пол. Наум страшно смутился.

Зачем он украл ее (а он украл ее, я в этом не сомневался)? Зачем? Она лежала в промасленной бумаге на снегу и обвиняла его. Черная и отвратительная, в подтеках крови; он совершил тяжкое преступление. Я мягко пожурил его, велел ему отнести ее на место. Он наотрез отказался.

Да, он украл ее — ну и что? Он и за воровство-то это не считает. Так, мелочевка какая-то. Государство нас больше обманывает. Вообще, он *не настолько непорядочен, чтоб быть мелочно порядочным, чтобы не делать мелких непорядочностей и проступков*, — он их делал, делает и всегда будет делать, да. Он всерьез считает, что только по-настоящему честные и ответственные и могут их себе позволить (и позволяют). По этим-то мелким воровствам и жульничествам честные люди и узнаются. Другие воруют крупно. Нашу (мою!) мелкую порядочность, нашу *трамвайную*, троллейбусную то есть, честность он презирает. Да, да, билеты возьмете, еще как возьмете — только войдете — как засуетитесь и возьмете. На билетик, пожалуйста, передайте. Проездной! Сезонный! Единый! На это вас хватит. А за угнетенных-то, небось, вступить слабо? За правду, за слабых, за поправанных? Слабо. Самим в угнетенных, в поправанных походить — слабо? Слабо. В психушках посидеть, в полосатеньком, зеброй, походить, а? Берите-ка лучше свои билетки — я вас всех по ним и узнаю. Презираю и узнаю. Берите,

## А Я БУДУ ЕЗДИТЬ ЗАЙЦЕМ

И он взял голову под мышку. Независимый, гордый, как Урхо Кекконен.

Что он болтал? Какие билеты? Какая слабость, правда и угнетение? Какая психушка? Какой трамвай? В жизни не ездил на трамвае, да у нас... его и в городе-то нет! Всегда, пойманный на какой-нибудь неправде и мошенстве, он пускается в высокие материи, и...

*(Продолжение следует)*



---

---

С. Стратановский  
БИБЛЕЙСКИЕ ЗАМЕТКИ

1

Ящики скорби и радости  
кукла Его Авраам  
Куклы Его Моисей  
пророки, цари на Сионе  
И на огромной ладони  
Камушком кажется Храм  
Ящики гнева и трепета  
войн, всеожженных и царств  
Имя Его не узнаешь  
след от стопы не найдешь  
Входит он в мясо как нож  
Жизнь похищает как вор

1978

2

Вот Он из толщи Ничто —  
огнь невещественный  
Буря в пустыне синайской  
Буря на море —  
конец человека-челна  
Вот Он — вожатый ведущий  
через тело быка-чугуна  
Словно хворост  
Его запылали глаза  
Ветхий образ —  
над грешным народом гроза

1982

3. ИСААК ПРОТИВ АВРААМА

Бог или ангел случайный  
Мимолетающий  
тогда удержал его руку  
Я не знаю и знать не хочу

Вряд ли кому интересны  
Нынче эти разборки  
Но все ж расскажу по порядку

Утром проснувшись  
Вышел я из шатра и увидел:  
Двое наших рабов  
двое юношей купленных нами  
На базаре в Салиме  
топорами халдейскими рубят  
Для всеожженья дрова

Рядом отец Авраам  
над точильным склонившийся камнем  
Темный как туча на небе  
точит свой Богонож

«Разве праздник сегодня —  
спросил я тогда Авраама —  
Почему ты, отец,  
приказал заготовить дрова  
Точишь нож для чего?  
Неужели Господь захотел  
Снова жертвы внеплановой?»

Ничего не ответил отец  
Лишь рабам повелел мне на плечи  
Дров вязанку взвалить  
и пошли мы вдвоем по дороге  
В землю Мориа

Шли мы три дня и три ночи  
и вот наконец перед нами  
Гор появилась гряда  
и опять я спросил Авраама:  
«Где же тот агнец, отец,  
что назначен на кушанье Богу?»  
И опять не ответил отец  
Только тогда

когда дикой тропой мы взошли на какую-то гору  
И дрова разложили  
только тогда я взглянул  
Аврааму в глаза  
и увидел глаза человека  
Ставшего тигром

Хищным прыжком  
прыгнул он на меня. Я упал  
На поленья ничком  
потеряв от удара сознание  
И очнувшись увидел  
что вервием жертвенным связан  
От коленей до плеч

То ли ангел случайный  
Мимолетающий  
тогда удержал его руку  
От прямой уголовщины  
или грозный раздумал Господь  
чавкая есть мою плоть  
Я не знаю и знать не хочу

«Мальчик мой долгожданный —  
отец лепетал со слезами —  
Мальчик мой Исаак  
ты спасен от Господних зубов  
За мое послушанье  
за хождение мое перед Богом

И отныне наш род воссияет в пустотах  
И по Божьему слову  
та область где странствуем ныне  
Станет нашей землей»

Я не ответил.  
Я молча по скользкой тропе  
Стал спускаться в долину

1984

## 4

Кто это был я не знаю  
мне имя Его не сказали  
Был ли Он Некто похожий  
на меня, на отца и на брата  
Или Ничто бестелесное  
приходило в то время на землю?  
Был я тогда малолетком  
в Мицраиме, земле потогонной  
Были на стройке рабами  
братья мои и отец  
Злобно глумились над нами  
фараоновы слуги — прорабы  
Мы ненавидели их

Помню в священную ночь  
спать не ложились в бараке  
Месяц как жертвенный нож  
тихо сиял над землей  
Помню как ели ягненка  
обжигаясь, давясь от волненья,  
И вот тогда, наклонясь:  
«Слышишь — сказал мне отец —  
за бараками нашими,  
слышишь,  
Ходит Господь по земле  
наказуя народ мицраимский  
Первенца в каждой семье  
убивая мясницким ножом»

Был я тогда пацаненком  
и что было дальше — не помню  
Помню лишь где-то в пустыне  
наше становье, шатры  
Скот подышающий с голоду  
ропот усталых, озлобленных  
«Кто Он? —  
спросил я тогда —  
Для чего Он увел нас оттуда?  
Что Ему надо от нас?»

1982

## 5

Я — часовой на стене  
крепости иерихонской  
у горизонта, вдали

вижу я вражеский стан  
 Вижу несметное войско  
 беспощадного Бога номадов  
 Знаю что в городе были  
 соглядатаи нашей земли  
 Знаю что с ними якшалась  
 грязная шлюха Раав  
 Знаю: падут эти стены  
 перед воинством ихнего Бога  
 Знаю что буду заколот  
 в полдень священной резни

1982

6

В год агрессии нашей  
 мы истребляли мечами  
 Жителей этой земли  
 данной в наследие нам  
 Господом нашим...  
 Ели мы их виноград...  
 пили воду из ихних колодцев  
 Черен был облик земли  
 но остались в живых ее боги  
 И вот теперь по ночам  
 Ходят они среди нас  
 безъязыкие, страшные боги  
 Ходят и смотрят на нас  
 пристально смотрят на нас

1982

7

В страхе вернули враги  
 с золотыми дарами впридачу  
 Ящик священный — ковчег,  
 генератор безмерного гнева.  
 Бурно народ ликовал  
 со слезами молились левиты  
 Бегали мы голодранцы  
 по местечку с восторженным криком:  
 «Бог воротился из плена  
 в наши селенья, домой»

Бегали с вестью счастливой  
 и заспорили вдруг ненароком  
 Как в этом ящике малом  
 помещается Он, Всемогущий,  
 Море и землю держащий  
 необъятный как небо над нами  
 Спорили мы и решили  
 этой ночью прокрасться к ковчегу  
 Крышку открыть, заглянуть  
 в обиталище Бога Живого

Нет не проспал я тогда  
    просто сдрейфил, не вышел из дому  
Мышью в постели дрожал  
    обмочился со страху, а утром  
Люди нашли у ковчега  
    группы подростков поверженных  
Дланью карающей мир

1983

8

Вот и вернулись домой  
    из восточного долгого плена  
Мы — потомки Иакова  
    богоизбранный царственный род  
Плакали мы увидав  
    в разорении наши жилища  
Наши сады в запустеньи  
    и в развалинах храм Соломонов

Был среди нас человек  
    называвший себя прозорливцем  
Лидером рода, хранителем  
    букв и рассказов священных  
Гневно он нас укорял  
    в отступленьи от норм стародавних  
Звал к искупленью грехов  
    вербовал на ударную стройку  
Нового дома Господня

Помню из первых и я  
    записался тогда добровольцем  
Вкалывал год словно раб  
    а потом за усердьем в прорабы  
Произведен был пророком  
    программистом народного счастья

Помню то утро когда  
    привезли на подводах снабженцы  
Кедров ливанских стволы  
    для закладки в священные стены  
Взяли мы их на ремни  
    но сорвался ремень и свалился  
Кедр, изувечив меня

И вот с тех пор я — калека  
    попрошайка под стенами храма  
Ввысь устремленного,  
    в небо, к Господу наших молитв  
Клянчу на хлеб каждодневный  
    и пытаюсь понять безуспешно  
В чем согрешил я тогда  
    и за что был ушиблен Всевышним  
Чем не потрафил Ему?

1983

«Гроном Господь поразит  
 всех мочащихся ночью в постели»—  
 Так говорил мне наставник  
 буквоучитель заслуженный  
 Школы служек при храме  
 И счастливые мальчики —  
 львята законов синайских —  
 Мазали грязью меня  
 за мое непотребство ночное  
 Били, плевали в лицо  
 и гогоча говорили:  
 «Выродок ты,  
 сын моавитянки, полукровка»

О как я плакал тогда  
 как молил Всемогущего Бога  
 Жизнь у меня отобрать  
 тихую смерть подарить  
 Горько я плакал тогда  
 и явился ко мне утешитель  
 Ангел железный с небес.  
 «Мальчик — сказал Он — не плачь  
 не ропщи и не жалуйся больше  
 Будет награда тебе  
 Божий дар за недетское горе  
 Станешь великим пророком,  
 провозвестником жизни грядущей  
 Будешь прославлен как царь  
 у народа надменных потомков  
 Авраама, раба моего.  
 Ну а пока что хлебай  
 с каждодневной похлебкой обиду  
 Боль и побой терпи  
 ведь ничто не дается задаром  
 Горе тебе не за грех,  
 горе за будущий дар»

1984

# Михаил Тарковский

## РАССКАЗЫ

### ВАСЬКА

#### 1

Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за глухарями не поедem», — подумал он, чувствуя, как пропадает всякая охота подыматься.

Было поздно. Николай, давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря папиросу, и прикручивал цепочки к капканам.

— ...Сорок пять... Ну, и как спали, Василий Матвеевич? — проговорил он, швырнув в кучу последний капкан.

«Мог бы разбудить, если так недоволен», — подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями окно, спросил неизвестно зачем:

— Давно сыпет?

— Ешь давай, — ответил Николай, — да поедem сеть смотреть.

Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом.

Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, закричала с елки кедровка. Но когда Николай с Васькой спускались к Бахте по скользким чугунным камням, снова потемнело, и засипел по воде было притихший дождик. Николай отвязал от кустов веревку, и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блестки.

— Заводи иди, — поеживаясь, буркнул Николай. Чувствовалось, что ему неохота ни шевелиться, ни к чему-либо прикоснуться. В сеть попали три большие шуки и таймень. Николай застрелил его из тозовки\*. Когда ехали назад, дождь усилился, и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам.

Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге\*\*, которую ему отвел Николай в этом месте. Но едва он поднялся в хребет, пробрел по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к болотцу с красным мхом — всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно.

— Ну и охота мокнуть было? — усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и».

Васька поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через месяц выйдет.

Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирал стекла газетой, подрезал ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя, и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай прикурил от лампы, улегся и, не глядя, достал с полки журнал.

Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал осты-

\* *Тозовка* — так охотники-промысловики называют мелкокалиберные винтовки тульского оружейного завода.

\*\* *Дорога или пугик* — ряд ловушек на пушного зверя.

вающий на лабазке собачий корм, вернулся, лег на нары — и затосковал. Дождь убил в нем всю прежнюю бодрость — бодрость от новых забот, от легкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Все его удручало. От шуточек Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно огрызаться он не решался, да и не умел. Все меньше нравился ему и сам Николай, который без конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, папирос. Казалось, что если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы Васька видел, как хорошо тот у него работает. Казалось, что Николай все время ищет повода придрататься — что если нарезать хлеб толсто, он скажет «оковалков напахал», а тонко — «ково настриг — окошво видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым.

Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в веснушках, и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Все больше не нравились его избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что сказал бы отец по этому поводу, наверное, что-нибудь вроде «лесу пожалел, а головы нет». Не нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково — стол у окна и по бокам нары. Особенно раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в двух направлениях — так, что, когдаходишь, сначала получаешь дверь по спине, а потом танцуешь на кривом полу, чтобы не завалиться на печку.

Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом несколько дней. Она была широкой и неприветливой с бесконечными камнями, косами, скалами в косо́й кирпичик и сеткой облетелых листовенниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое просвечивает зеленое ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или еще того лучше — Хигами, Гикке и Ядокта, которую Николай, надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело Верхняя речка, Андроновский лужок, Алешкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, Енисей, озера на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные берега Сарчихи, из которой по виске\* можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и прозрачно-слоистых от того, что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила.

Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: темно-золотой, с копейку, чешуей и человечьесамодовольным выражением выпученных глаз и приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке\*\* по затопленному ельнику, услышал совсем рядом, впереди, нежный колокольчезвонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели желтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и

\* Виска — протока.

\*\* Ветка — долбленая лодка.

оставив на воде две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями.

Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, отравился смотреть сети и так увлекся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро — прямо в серебряное небо, где над перевернутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной черемшой.

Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя сквозь остывающий костер на дрожавшую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не лежала на Васькином плече так хорошо и никогда он не испытывал такого счастья. И такой усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, все выпутывал из бесконечной сети серебристых, пахнувших огурцом сивов. Отец отнес Ваську в избушку, сходил на берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался, заметил, прикручивая фитиль, как дернулась рука спящего Васьки с распухшими красными пальцами.

Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибитую к острову и полную песку лодку. Васька остался вдвоем с бабушкой: мать умерла, когда он был еще совсем маленьким.

## 2

Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днем Васька подходил по белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном лиственничнике. Утро было холодным. Пар выходил изо рта плотной струей и с шелестом рассеивался.

Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. Были видны заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона нехстати взлаял кобель-первоосенок и тут же замолк, пряча глаза. Ваську все это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. Мороз не давал мешкать, и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, густо синели тени, тянулось за лыжами сахарный ступенчатый след. До избушки не хватало нескольких капканов, и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удальством подумал: «Все хорошо будет — в следующем году доставлю».

В одном месте на припорошенный лед вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись толстые красные клесты и грызли эти зеленые звезды своими, похожими на испорченные ножницы, клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движении какая-то смешная ухватистость.

Серебрились на еще светлом небе тонкие, изогнутые, как рога, ветви лиственниц. Полоска пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плес и над ним — сопка с припудренной вершиной.

Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором — все было засыпано пухлым голубым снегом. Васька не спеша освобо-

дил ноги из юкс\*, снял тозовку, привадник\*\*, понягу\*\*\*, согнувшись, вошел в ледяной сумрак и прежде, чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. В ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом он, не расслабляясь, надел лыжи и притащил из поленницы несколько листовых чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, казалось, еще до того, как их коснется топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края затягивались ледком, сквозь темную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша, развернулась отколотая льдинка, и Ваську еще раз умилила эта зимняя живучесть речек и ручьев, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька, с одобрением уставшего человека, прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему реву в высокой трубе, из которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссеченный искрами.

Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчетливым морозным шелестом шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой красной, плавилась в кастрюле льдышка глухариного супа. Васька развесил соболей, снял азам\*\*\*\*, заиндевший изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти невыносимую пустоту в животе, еще некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду только тогда, когда бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, пакульки и портянки аккуратно висели на своих местах. После чая он поставил на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, переживая блаженство этого долгожданного мига.

Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой луковой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и красиво висят портянки на затертой до блеска перекладине под потолком. И росла в нем безотчетная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжелого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь тем, кто погружен в самую сердцевину бытия.

## 3

С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь еще с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пестрого от кухты\*\*\*\*\* леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдаль у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приемник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шап-

\* Юксы — кожаные крепления для лыж.

\*\* Привадник — сумка, в которой носят приманку (приваду).

\*\*\* Поняга — деревянный каркас для переноски груза.

\*\*\*\* Азам — суконная куртка.

\*\*\*\*\* Кухта — снег на деревьях.

ки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далекое и мерное шуршанье лыж.

Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с березовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы.

Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с сободем, застрявшим после выстрела в толстой и лохматой кедрё, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьется во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сквородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая, доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дыроватого» ведра.

Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше скидывающим лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай раздраженно осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды, и он ушел в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хотя он и мечтал о нем весь день. Впредь он стал еще более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять еще больше и еще мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со снегом на крыше, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы все добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному.

Был один, Борька, все приговаривавший во время сборов: «Тайга — это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолете. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька все не появлялся. Николай забеспокоился, пошел к напарнику сам, шел два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в теплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», — подумал Николай, а кончилось все просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню.

Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковылял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка.

Вылетел вертолет, Николай пошел встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознания с тускло горящим фонариком в руке.

В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришел с Холодного (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку (мороз столько-то градусов). Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «Пишу стоя на коленях жалко мало пожил».

Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие

битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остается между ними все меньше и меньше. Особенно потеплело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек.

В отношениях с людьми Ваську все больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто все выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно баящий «Захребетный» — последним болтуном, лентяем и посмешищем целого поселка. Был еще некто «Пятнадцатый». Говорил он резким недовольным голосом с причавкиванием, и казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравился его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья, и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геней, и Васька сначала их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и хорохорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый».

Однажды Васька пришел настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттаит ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причем сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.

## 4

Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, легкая, как соенок, мягкая от надетых на нее платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьем, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет — по льду не ходи»).

Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как темным утром тащится с фонариком в контору узнать, «нет ли от Васи чего».

Еще вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?», — он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда.

И, чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он вернется, как хорошо они с ней зажи-

вут, теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.

Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жилье, за открытую лыжню, по которой он вчера пришел и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги.

Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Ее хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушел домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье — «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мертвым сном. Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:

— Вот что Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.

Будто лопнул лед под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически мерно сопит Николай и так равнодушно-недвижен еще тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лежа с открытыми глазами, чувствовал, как все продолжает тонуть, цепенея в пробирающем до костей холоде, — будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголенный сном страх одинокой потерянной души. Васька затопил печку. Она загудела, и все сдвинулось с мертвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью...

Настал день, а страх все не отпускал. Он был с Васькой все время — и пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте\* на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в реве мотора. А потом показался дом на угоре, и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганной спине и говорил не своими губами: «Ну, будет, будет...» А над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль, и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.

## ОСЕНЬ

### 1

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается...

— Тук-тук.

\* *Нарта* — сани.

- Да-да!
- Здравствуй, Галь.
- Здравствуй, Андрей.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Мужик где?
- В мастерской.
- Тук-тук.
- Да-да!
- Здорово, Петрух.
- Здорово, Андрюх.
- Как дела?
- Помаленьку.
- Так-так.
- А что хотел?
- Да вот, в тайгу собираюсь — крышечку ищу.
- От бачка?
- От бачка.
- Была у меня крышечка, да Вовке отдал — он в тайгу собирается.

Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

— Плюнь ты, Андрюха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции.

Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку да зайду к Толяну».

— Молодец, что зашел, — обрадуется Толян, — а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди — рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые, как ни старайся, — все на последний день останутся, глядь — давно уж темно и домой пора.

— Не забудь, — скажет Толян, поднимаясь, — фуфайку. В прошлый раз оставил.

— Вот голова дырявая! Столько дней в старой хожу! Спокойной ночи, — возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту. Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет — крышечку от бачка.

## 2

В ту пору весь год у меня проходил в заботах: то лес несет — грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь, и я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности, прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульты для тозовки, батарейки, приемник. Что ни говори — собрание своеобразное, посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевиный Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день, с раскисшим снегом и не-

приятно теплым ветром, залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я, не спеша, выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете, и открою первую страницу.

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туманным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарахтя, невидимая самоходка, наконец, гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью.

Прибежал Толян — сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным — в последние дни все не ладилось: то пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора.

Пришел трактор с саями. Мы погрузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда — стой!»

И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, илимки\*. Вот и все. А дальше — лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом — минеральная синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:

— Да заглуши ты его! — И достает из рюкзака бутылку спирта. И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью рыжая лиственница на берегу, коренастая фигура напарника, кастрюлька с инструментами, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой.

С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде — вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широком мелким перекатам она течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закутка, и, подъехав проверить, были поражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавами, висел десяток замерших в гамачном оцепенении щучар.

Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы

\* Илимка — род деревянной лодки.

вылетали глухари и, неподвижно выгнув шею, следили за приближающимися лодками. Встречались стан уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей — Николаями Васильевичами.

Был хороший момент: Толян, пройдя или, как говорится, «подняв» Шивёры (очень бурливое, хоть и глубокое, место с сильным течением), лихо сшиб налетевшего Николая Васильевича, а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.

Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога.

Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока, наконец, не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой, вот мотор громко взрывает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара — откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится, и ты, надав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса.

По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны, и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка.

Уже нос лодки поровнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора, и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дергая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холодком. В тот же миг меня понесло обратно, кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шарахнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза и полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упершись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку, а сам кричит:

— Все поймал, только сундук утонул.

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все — и ружье, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, — потеря сундука с книгами

была для меня настоящим горем. Лучше бы какой-нибудь рис утонул, думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулёмок\* заготовлены на несколько лет вперед, все надоело, и хочется только одного — живого человеческого слова. Кроме потери книг удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте, и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный!), совесть моя была не чиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толяну и отравившую мне всю осень.

Пережив такое начало охоты, я в ожидании следующих бед по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо. Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналы, но я отказался: не судьба — так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повяло не сильным, но каким-то сплошным и нештучным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Много вкладывается в такое рукопожатие. Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору.

Шивера в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений. Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, привязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дзерь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике. Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пулками лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина», все в одном старом, без обложки, томе — как я забыл о нем!

Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косою вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.

В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки, и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря... Прадед жил в Шуге и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною

\* Кулёмка — деревянная ловушка на соболя.

на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне.

Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избышки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь — веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья до тех пор, пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре...

Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избышки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду, как могу, служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.

Дождь стихал. Разъяснивает, говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленицы, завтра утренняя будет, поеду на Майгушашу, не забыть капканы — в ручье висят. Запалив костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:

— Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?

А может быть, природа — это самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней, и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличиться и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее — мол, как можно так повторяться из года в год? — что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря — тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпенье и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торопливому человеку:

— Хочешь получить от меня подарок — съешь сначала моего кислого яблочка...

Вот попробовал ты ее кислого яблочка, и словно чудо произошло — уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет: плывите, мои золотые, плывите, да напоминайте нашим детям — кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.

---

---

# Владимир Тихомиров

## ВЕСЕННИЙ КРУГ СТИХОВ

*Цветы, деревья, женщины и птицы,  
что нам пожатье каменной десницы!*

### 1

Нас манит север, как магнит,  
в весну-красну, в зеленый скит,  
под синий свод, в страну чудес,  
где мать-сыра земля родит,  
не уповая на прогресс,  
родит сама траву и лес.

Там огород под снегом спит,  
и дремлют семена в кулечке,  
и душу плоти в мерзлой почке  
всю зиму яблоня хранит.

Зима живому лютый ворог.  
Я печь топил, в окно глядел:  
на градуснике было сорок,  
и воздух хлопьями густел  
меж черных яблоневых тел,  
как молоко густеет в творог.

Я слышал, их тела скрипят,  
я слышал — это был не морок! —  
неправда, что деревья спят,  
когда на градуснике сорок.  
Их мучит боль, тела их мрут...  
последний, непосильный труд...  
...Так умирала мать моя  
три дня, не приходя в себя.

А помнишь юности разгар?  
Какое это было время!  
Какой разлад, какое бремя,  
какой немилосердный дар,  
когда ты для ребенка стар,  
для взрослого — всего лишь семя.

Нам было трудно, мы росли,  
хотели в небо, корни рвали,  
взлетали, падали, взлетали  
и оторваться не могли,  
нам было больно, мы не знали,  
что пусто небо без земли.

И узнавали мы с трудом,  
что нам нужны вода и пища,  
огонь, чтобы согреть жилище,  
и камень, чтобы строить дом,  
земля — родное пепелище,  
и небо — кров над очагом.

2

Все ближе дали, все теплей  
 цвета текут по окоему,  
 и оку темен зимний кут,  
 закутанный в тепло и дрему.  
 Я приступом беру окно,  
 трещит на клейстере бумага,  
 ломается, как вешний лед,  
 но зимней рамы переплет —  
 распятие! — стоит упрямо  
 враспор: не поддается рама, —  
 должно быть, воскресенья ждет.

Когда наступит воскресенье —  
 тебя я встречу, — сор и дым,  
 весь зимний быт изгоним в сени  
 и вместе окна растворим.

3

Откроем створки на восток —  
 бумага хрустнет, как ледок,  
 и прынет в дом хрустальный ток.

Мы двери отворим на юг —  
 на огород, на лес и луг,  
 на скворчий свист, на дятлий стук.

И мы калитку распахнем,  
 благословляя друга друг,  
 на волю выйдем и войдем  
 в наш круг земной, в наш старый дом  
 и в небо — синий водоем.

4

Как странно: мы с тобой — вдвоем,  
 а целый мир — как будто третий.  
 Как странно: мы с тобой живем,  
 едим и пьем — среди столетий.

Я не поверю, что случайно  
 мы встретились в течение лет  
 и выпал нам один билет.  
 Не верю! Здесь должна быть тайна.

Здесь умысел не нашей власти:  
 иначе, не могу понять,  
 зачем дано нам это счастье —  
 вдвоем средь вечности стоять,

стоять средь вечности и тьмы  
 на этой глинистой дороге  
 под солнцем, промочивши ноги...  
 Весь мир — вокруг, а в центре — мы?

## 5

Мы будем жить, пока земля цела.  
И смерти нет — хотя я сам руками  
своими трогал мертвые тела  
отца и матери, — мы станем облаками  
и будем плыть, пока земля цела.

Мы будем плыть, пока земля цела.  
И смерти нет — хотя я не однажды  
был в этой жизни без любви и жажды  
мертвей скалы, — и не мертва скала,  
и камень жив, пока земля цела.

И камень жив, пока земля цела,  
и смерти нет, пока под облаками  
стоят деревья, и растет скала,  
и в землю мы ложимся семенами,  
и дождь идет для утоленья жажды, —  
мы будем жить, мы будем не однажды,  
мы будем жить, пока земля цела.

## 6

На счастье баночка раскокана,  
осколки брошены в ведро.  
Явилась бабочка из кокона,  
которому была нутро.  
Разрушен дом — жива жилица,  
летит, садится на цветок:  
из бабочки рождается птица,  
из птицы — солнечный росток.

## 7

И к нам с утра в восточное окно,  
всегда как будто ненароком,  
заглядывает рыжее — оно  
нам брызжет в очи желтым соком.

Еще нас будит по утрам  
бесстыжий птичий тарарам.

Еще: ведром гремит сосед  
и черplet воду из колодца.  
О, как легко нам удается  
родиться вновь на этот свет!

## 8

Люблю тебя и свет рассветных вод,  
люблю тебя и воду из колодца,  
тебя и звук ручья, который льется,  
тебя и дождь, который с неба льет,

тебя и пламя, что под сводом бьется,  
тебя и печь, ее жерло и свод,  
и этот темный в небо дымоход,  
и этот дым, который в небе вьется.

Люблю тебя, и все, что мной любимо,  
беру на взгляд, на ощупь и на вкус:  
огонь и воду, небо, запах дыма,

и пенье птиц, и утро на дворе,  
и наших тел веселый груз  
на утренней заре...

9

Ты моешь окна до хрустальной  
высокогорной чистоты  
и мир земли — большой, овальный —  
мне открываешь с высоты:  
всего-то в нем ручей да поле,  
по окоему лес да бор,  
но слово просится — «простор»,  
и следом просится — «раздолье»!

Ты говоришь мне: посмотри,  
на яблоне набухли почки,  
цветок является из точки,  
себя взрывая изнутри,  
вселенная в горизонтали —  
три километра между вех,  
а сверху вниз и снизу вверх —  
немыслимо, какие дали!

Я заглянул вперед на месяц,  
увидел то, что я хотел:  
над бором серебрился месяц  
среди полупрозрачных тел;  
местами талый снег блестел,  
и запахом осенней прели  
кусты дышали по ручью...  
Сыграли смерть и жизнь вничью!  
Что было — будет все в апреле.

Цветится воздух — дышат деревца,  
так оживает роща от опушки;  
на солнцепеке первые лягушки  
творят намаз, благодаря Творца;  
белье крылами плещет у крыльца,  
и солнце уткой плещется в кадушке,  
гуляют куры, козы,  
и старушки  
сидят, оплечь накинув пальтеца...

---

---

# Юрий Карабчиевский

## УТРО И ВЕЧЕР

### Повесть

15

Пропуск, конечно, лежал за подкладкой, карман отошел аккуратно по шву, и Славка, ощупав угол пальто, бессильно откинулся на подушку. Собственная глупость его убивала.

Две полных недели он провалялся: пневмония, накаркал старый болтун. Две недели никого, кроме мамы, не видел, впрочем, разок заходил к нему Гришка, в пиджаке, при галстукке, остроносый — ему бы очень пришлось очки, но зрение у него было, как ни странно, отличное. Он учился вечером в Институте связи, работал в радиомастерской, видимо, попивал-погуливал, набирался бодрости и здоровья, и только заговаривая о родителях, нехотя проявлял в себе прежнего Гришку, становился как бы беднее голосом и поглядывал влажно и неуверенно. Чувствовалось, что это в нем — навсегда, что этого уж ничем не вытравишь. И Славка не то чтобы ему завидовал, чему уж тут было, такая обуза, но испытывал все же неясную жалость. К себе, а не к родителям Гришки...

Пару раз он порывался пойти с ними, но не мог заставить себя подняться в нечеловечески ранние часы их ухода. А ведь они-то вставали намного раньше: корова, хозяйство... Непостижимо! Он даже решил для себя, чтоб не мучиться, что это просто другие люди, так они устроены от рождения, чтоб работать, когда остальные спят. Нечастые его попытки помочь, например окучивать какие-то грядки, воспринимались ими вполне снисходительно: пользы от него никакой не ждали, но зато это было для них развлечением.

Так однажды они пололи картошку, он и Валя, матери не было, его же мама сидела в доме, читала книгу, прячась от солнца. В этой работе он все понимал, но зато она казалась ему бессмысленной. Он не мог поверить, что вся эта травка, ромашка и, кажется, лебеда и все остальные, уже без названий, приносят реальный вред картошке. Картошка отдельно, а эти отдельно, каждый живет сам по себе. И вытягивая из земли очередной стебелек — подрагивающий, медленно, одну за другой, рвущий свои подземные связи, — он чувствовал над своей головой не высокий Закон Целесообразности, но какую-то абстрактную необходимость, быть может, столетнюю неподвижность неосознанной упрямой крестьянской традиции.

Он работал полуголый, в одних плавках, а она — в косынке и сером платье, да еще в резиновых сапогах, на которых налипли сгустки навоза: перед этим она была *на дворе*, что-то там делала у коровы. Но платье было не очень длинное, а она двигалась впереди него, спиной к нему, сгибаясь над грядками. И он подумал: почему бы нет?.. Реальность этой мысли его поразила, он работал уже с пересохшим ртом, тянул до конца, до *ее перерыва*. Наконец она дошла до забора, разогнулась, расправилась, отрянула руки. «Шабаш на сегодня. Уморился, небось?» Они умылись, сливая друг другу, он искоса на нее поглядывал, не так, как прежде, а уже иначе, выстраивая у себя в голове какой-то

неясный прерывистый образ. «Пойдем, — сказал он чужим голосом, — посидим *чутко*, отдохнем в *тенечке...*» Чужой голос, чужие слова. И двинулся, не глядя, к своему сеновалу.

Она пришла за ним, села рядом, грызя травинку и напевая. Он обнял ее, притянул к себе, поцеловал сухо куда-то под глаз. От волос ее густо несло керосином. И он понял с тоскливым разочарованием — ведя свою свободную правую руку вдоль ее шеи и дальше, вниз, что-то там на пути нарушая, опуская, расстегивая, даже рвя, — понял вдруг, что не то, не то, что не надо ему... и как же теперь?..

— Ты меня не любишь, — сказала она.

— Люблю, — сказал он упавшим голосом, еще слабо надеясь на сопротивление, но она сидела, опустив руки, неподвижно уставясь перед собой на стропила, затянутые паутиной. Керосином пахло ему и потом, и еще немного навозом оттуда, из соседнего коровьего отделения, но ему казалось — от ее сапог, а запах сена был только фоном, обрамлял, но не сглаживал, не притуплял. Между тем рука его нашла, что искала, и тут же он, горожанин и книжник, вызвал в памяти слово «упругая», ощущал же под потной своей ладонью нечто явное и безразличное... Так они несколько минут сидели, тесно, молча и неподвижно, и он ждал любого ее движения, чтоб истолковать его как неудовольствие, и дождался, и высвободился — не хочешь, не надо, — и ушел первый, как бы обидевшись...

## 16

Инна же, казалось, была всегда, до и после, как, допустим, Гришка, который, кстати, ее недолюбливал. «Уж больно она какая-то правильная, все у нее, — говорил он, — по струночке, все, как надо, никаких отклонений. Чистюля, общественница, отличница, член ученического комитета; заметь: ученического, куда назначают, не комсомольского, куда выбирают». — «Ну, это ты брось, — возражал ему Славка, — в комсомольский тоже почти назначают. Она способная, вот и все, этого у нее не отнимешь». — «Способная. Но ни рыба ни мясо. Отличница. Правильная. Чистюля». — «Ну, заладил одно и то же! Тебе что, больше нравятся грязные?» — «Что ты, что ты, зачем ты так! Но должно быть в девке что-то такое... такое, знаешь...» Славка знал. Гришке нравились бойкие, заводные, «хулиганки», как ласково он их называл, — это импонировало его собственной робости, льстило его еврейскому самолюбию. Но по поводу Инны он был, в общем-то, прав, чего-то, и верно, ей не хватало: какой-то неточности, отклонения, недостатка — ну хоть бы картавила, что ли. И лицо было у нее симпатичное, и фигура — все вокруг говорили, и нельзя сказать, чтоб была неприступна — нет, доброжелательна и тепла. Но вот, допустим, в школе на вечере (к вечерам в школе все тогда и сводилось) она сидела в углу на лавочке, плотно сдвинув стройные ноги, к ней подходили и уходили, с ней с удовольствием разговаривали — девчонки, парни, учителя, — и она была в меру оживлена, улыбалась ровно и одинаково, и сидела, сидела в своем углу, и так бы одна до конца просидела, если бы Славка, по долгу дружбы, не приглашал ее время от времени, или Гришку еще иногда подталкивал: «Давай, давай, подождет твоя Верочка, тебе же лучше, пусть поревнует». Но к Инне даже не ревновали.

Это она научила его танцевать, как и во всем, придерживаясь тут системы. Заставляла использовать любую возможность, даже на улице, на тротуаре, вдруг приказывала покрутиться вальсом, тренировала его, как спортсмена, и потом на вечере зорко следила, серьезно об-суждала и вносила поправки.

Книги она читала по списку, который сама для себя составила,

побуждала к этому также и Славку, но тут он не дался, не снизошел. Тут он был уже сам по себе и не слишком доверял ее вкусам. По разным причинам, а еще потому, что стишки его ей безусловно нравились, а он уже начинал понимать их цену...

Такое у них установилось приятельство, что мог он ей рассказать что угодно. Рассказал про Аду, показал письмо. «Глупая девочка, — сказала Инна, — придумала себе... Делать ей нечего». Он немного обиделся: что значит «придумала»! Но вслух, конечно, кивнул и поддакнул. Про Валю — ему даже очень хотелось, тут какой-то особый был интерес, тем более что по прошествии времени та история выглядела иначе: глаже, уверенней, завершенней, будто именно так и было задумано. Конечно, он так прямо не мог — последовательно, как тому же Гришке, но вдруг с удивлением осознал, что так даже лучше, что только усилил, потому что намек был шире реальности, намек, помимо того, что было, содержал в себе и то, чего не было. Славка не утверждал, что было, но такая возможность не исключалась... И тут он впервые, с большим удовольствием увидел, как она изменилась, как она на несколько долгих минут совершенно потеряла самообладание, раскраснелась, слегка приоткрыла губы и медленную-медленную свою руку указательным пальцем повела вдоль юбки, от бедра вниз, в колее гофрировки, резко переломленной на коленях... Потом она встала, надела пальто. (Было это у него дома, помнится, занимались они английским. Она ему ставила произношение, а он сопротивлялся, как только мог, все согласные упрямо произнося по-русски и еще обосновывая это упрямство, еще подводя под него теорию. Мол, все это возможно только в детстве, а теперь и гортань уже затвердела, и путного ничего не выйдет, не язык, а одно кривлянье, и значит, лучше уж прямо так, понять можно, а дальше неважно.) Оделась и вышла, ничего не сказав. И тогда именно в первый раз он и подумал о ней, как о всех... То есть он, возможно, думал и раньше, но теперь впервые отдал отчет: он думал об этом и *знал*, что думал.

И опять был вечер, снова вечер, вечер по времени и вечер в школе — и уже он к ней понемногу приглядывался, нет-нет да посматривал со стороны, как там она, а что — ничего, и, танцуя с ней, не повинность нес, а исподволь по мелочам провоцировал, расчетливо, как Онегин Ольгу: то руку пожал, то плечо погладил, то в глаза заглянул чуть глубже, чем прежде, но все это мельком, как бы случайно, чтоб тут же в любой момент отказать. И она, он чувствовал, подавалась и к концу, как Гришка говорил, завелась. И когда уже все почти разошлись, и они, последние человек десять, задержались на сцене у пианино, и Люся Яхнович, темная, шуплая, стала разбрасывать свои руки по клавишам — то Инна уже была при нем, сама его прочно держала под руку, головой склонялась, прижималась плечом... Люся аккомпанировала сама себе, пела же она популярную песенку, самодельную, очень в то время модную, от которой все они дружно трогались. Такая была заманчиво-грустная, запретно-печальная...

Малышка спит. Качает ветер шторы.  
Я у окна сажусь писать письмо.  
Пусть это будет нашим разговором.  
Оно сегодня пишется само.  
Малышка спит. Небесное созданье!  
Уж скоро год, как ты покинул нас...

Нет, песня была что надо, все содержала, дополнений не требовалось. Девушки подпевали и мякли, парни хранили уважительное молчание, внутренне смахивали время от времени набегавшую в мыслях

слезу. Дежурные погасили свет, осталась гореть одна только лампа, да и та была не прямо над ними, а совсем в стороне, в конце зала. И то, что сидели они теперь в полумраке, не видя друг друга, а только чувствуя; и то, что песня уже кончалась, а другой не хотелось, а повтора — тем более; и то, что их всех уже выгоняли, покрикивали откуда-то издали, — придавало этим последним минутам особый, трижды усиленный смысл. И когда они вышли потом на улицу, то оба были вполне готовы, едва успели проститься со всеми, свернули в первую же подворотню — и прямо набросились друг на друга. И был вначале такой момент — очень короткий, но все-таки был, — когда он блаженствовал в полной гармонии, в соответствии действий и своих чувств. Но очень скоро, почти сразу, он услышал ее умиленный бормот: «Любимый... Как же я... Как мы теперь...» — и тут же с размаху ухнул, упал, даже будто удар ощутил подошвами и почувствовал твердость кирпичной кладки, между которой — и ее спиной — была зажата его рука. Он вдруг увидел ее в темноте: спутанные в беспорядке волосы, полурасстегнутый ворот платья, какой-то искусственный цветок на груди, оторванный, висящий на тонкой ниточке... Он подумал, что все это ей не к лицу, другим даже лучше, а ей — нет, она должна быть всегда аккуратной, чтоб не быть жалкой и уничтоженной. И лицо ее тоже ему не понравилось, ей и это не шло — не владеть собой.

«Пойдем, — шепнул он. — Надо идти». — «Да? Зачем? — спросила она. — Я не хочу. Я хочу с тобой. Ты меня возьмешь? Ты меня не оставишь?..» Она уже вступила в эту игру, и ей хотелось, чтоб все по правилам, чтобы использовать все возможности, все закоулки и переходы, ничего не упустить на пути к вершине. Он же никакой вершины не видел, какая вершина, домой бы дойти... И когда он простился с ней у подъезда, ткнувшись губами в ее губы, и почти вырвался и помчался, — то было ему совсем уже плохо. Ему казалось, что это итог, что от всех его туманных мечтаний, от всех надежд (и от всех *Надежд...*) осталась ему одна только эта — приятельница (почти приятель), как бы родственница, едва не сестра.

Вся предстоявшая бесконечность жизни обернулась тогда простой арифметикой, и обычные его вдохновенные пассы, всегда вызывавшие к чуду и тайне, теперь не витали в свободном пространстве, в прекрасной и ускользающей пустоте, а натыкались на нечто неустранимо предметное. Романтический аромат неизвестности привел его вдруг не к трепетным розам, а к крахмальным матерчатым лепесткам; да, вот именно — мятым, свисавшим на тонкой ниточке.

И что удивительно: та, другая, грубая тайна, тот, скажем, всеобщий секрет, так ведь им еще не раскрытый, должен же был его вдохновлять — и вот заранее, еще не достигнув, он уже испытал разочарование. При мысли об этом не слово, не вывод, но безмянный такой сквознячок обдавал его душу мгновенным холодом...

Существовало тут, впрочем, одно обстоятельство, одна затянувшаяся ошибка, наивное детское представление, смехотворность которого он вполне понимал, но от которого все же не мог избавиться. Это был вариант той самой системы, упрощенный, касавшийся только женщин; по нему выходило, что именно женщины делятся на две основные категории, и одних *любят*, а других...

Там, в деревне, старшая, Галя, безусловно, относилась ко второй категории, сюда же он, не думая, простым исключением, относил всех женщин в деревне. Молодежные игры на пяточке, ежевечерне им наблюдавшиеся, очень в этом его укрепляли. Была там такая игра — «ремни», верх изобретательности и тонкости. Ее затевали уже с темнотой, когда все станцовано и пропето. Гармонист умел только три мело-

ди: вальс «Дунайские волны», танцевавшийся и как танго, «Русско-го», сходящего за фокстрот, и песню «Последний нонешний денечек», состоящую из одной музыкальной фразы, медленную, безумно тоскливую, не имевшую, сколько помнил Славка, ни развития, ни конца. Ее обрывали всегда в середине строчками, неизменно его поражающими: «И вот конец веселой песне, спасибо, кто играл и запевал!»

Это была недостроенная изба-пятистенка (Славка долго удивлялся такому названию, нигде не видя пятой стены, пока не догадался, что она внутри). Какой-то Федор начал и бросил, что-то там у него случилось, кажется, умерла жена, он куда-то уехал, завербовался, и остались эти четыре стены (пятая была внутри, как положено) и куча полуобтесанных бревен, понемногу растаскиваемых соседями. Пространство между избой и бревнами, то есть то, что так и не стало двором, теперь использовалось для танцев, это, собственно, и был пятачок. Парни и девки сидели на бревнах, младшие ребята вместе со Славкой занимали тоже отдельное бревнышко, в сторонке, ближе к углу избы. «Игра в ремни, — говорили ребята, — самое интересное — игра в ремни!» Первый раз он ждал с большим нетерпением, и вот после «веселой песни» парни пошушукались между собой и загалдели бодро: «Ремни, ремни!» Девушки сдержанно захихикали, и один из парней потянулся и встал, расстегнул широкий армейский ремень, снял, перевесил через плечо и медленно, вразвалку пошел вдоль бревен за спинами девушек. Он остановился против одной, постоял, покачиваясь, расставив ноги, снял ремень с плеча, слегка замахнулся и не больно ударил ее по задку. Девушка взвизгнула, будто от боли, вскочила и отлетела в сторону и теперь уже где-то на пятачке, в середине, стояла переминаясь. А парень вернул ремень на плечо, подошел к ней, так же не торопясь, взял за талию и увел в избу. И тут же с бревен поднялся следующий, стал отстегивать свой ремень. Все повторилось без изменений, только выбранную им девушку этот уже увел не в избу, а куда-то за угол, вниз, к реке. Девушек было намного больше, и в конце оставшиеся без пары встали сами, запели и пошли по домам. Тогда и Славка пошел домой, сладко подрагивая и ужасаясь, но еще успевая и удивиться, почему «ремни», а не «прутья», не «палки» или, допустим, не «кулаки»?.. Но, пожалуй, он чувствовал, против логики, что правильно именно так: «ремни», — слово это чем-то сюда подходило, быть может, как раз своей удаленностью. Ремни могли быть и не ремнями, но ведь и игра не была игрой. И потом, не важнее ли было *снять*, чем ударить?..

А то уже были другие девушки, не обязательно очень красивые, но несшие нечто такое в себе... живое и нежное содержание, душевную женственность, тихий свет.

Это был ряд, сходящийся к Наде.

Между тем ряды сплетались и путались.

Ада, например, ни на что не годилась: туда — но это и представить нельзя, сюда — но это смешно и подумать. Но и Инна — тоже была в промежутке, не так, как Ада, по эту сторону, и там и там, на двух полюсах, ближе, пожалуй, к «да», чем к «нет», но все же достаточно еще далеко. Их приятельство между тем продолжалось, все выглядело, казалось, как прежде, но ровная горизонтальная плоскость, по которой катились их отношения, была уже явно наклонена, они оба чувствовали эту тягу, прилагали усилие, чтоб удержаться, и оба впадали в неловкость и связанность.

Лицо у нее бывало на удивление разное, только что как будто один человек — и тут же вроде совсем другой. От ее настроения, от его? Вот он взглядывал и удивлялся: нет, это надо! где же он раньше?.. И затем, уткнувшись в экран телевизора или, допустим, в свою

тетрадку, чувствовал уютную, спокойную радость, расслаблялся и думал: что ж, судьба... Но тут же, буквально через минуту, взглядывал снова и ужасался: эта?! такая?! Да как он мог!

Однажды они сидели в ее комнатке — настольная лампа, диван, полусвет — он рассматривал подsunутые ею книги. Она готовилась на исторический, кое-чем успела обзавестись, он же не знал ни имен, ни названий и фальшиво удивлялся каждому тому, а уже их штук пять, неуклюжих и толстых, лежало на стуле у ее колен. И то ли ее негромкий голос, то ли ракурс был такой безошибочный, то ли просто в нем накопилось... Но опять, едва лишь к ней притянувшись, испытал он все то же разочарование и уже знакомую ему тоску. Неизменная двойственность его отношения мгновенно обернулась той стороной, обнаружив подмену буквально во всем: от ее смущенной полуулыбки, искренней, но и в чем-то лживой, до обманчивой телесности ее чулок, казавшихся на вид живее живого — и встречавших его руку непроницаемой жесткостью...

А еще она что-то ему говорила, прерывая фразу на поцелуе, но потом, в следующем промежутке, не забывая ее продолжить и закончить в третьем или четвертом. «Наконец-то, — говорила она, — ты ко мне вернулся. Что же ты так долго не возвращался, я измучилась, все ждала, ждала. Меня уже и Наташка спрашивала, какие, говорит, у вас отношения? А что я могла ответить? — Не знаю. Нет, я знаю, ты боишься поддаться чувству. (О Господи! — он заскрежетал зубами.) А ты не бойся, ты не противься. Нет, я тебя никому не отдам. Ты мой! Ты мой?» Он сразу не понял. Это она его, что ли, спрашивает? «Ты мой, скажи?» Он молча кивнул. Ему уже было теперь все равно, хуже относиться к себе он не мог бы. Он испытывал бурное восстание чувств — чувства меры, вкуса, а также юмора, всех тех, что устремляются в пустоту, не заполненную другим, единственно уместным. Его спас осторожный стук в дверь. Она мгновенно от него отодвинулась, обвела себя ладонями сверху вниз, как бы уместая в прежнюю форму, собрала, примяла незастегнутый ворот — и дверь отворилась, вошел отец, тихий, вкрадчивый человек. Черное тельце радиолампы застряло в его неуверенных пальцах. «Слава, — сказал он, — ты не подкажешь? 6Ж7 вместо 6К7?..»

И теперь после долгого перерыва, прочно заполнив главное место, он вдруг подумал еще и об Инне, уже не мечась, уже не терзаясь, хорошо зная, для чего и зачем... Слева (у сердца?) помещалась Надя, Инну же он ловил как бы за руку, перехватывал мысленно у запястья и бережно отводил направо, туда, где уже маячили легкими теньями... Совесть его при этом как будто молчала.

Он знал, что она никуда не денется, власть его над ней была велика, он еще даже порой удивлялся, что эта власть не распространяется и на Надю. Это тоже была одна из загадок, в которые он иногда погружался, зная заранее, что не решит, что ничего не поймет и не выяснит, а если и обнаружит новое, то только какой-нибудь новый вопрос.

## 17

Квартирка у Ленки была отдельная, Славке она показалась огромной, бесконечное множество помещений, и все это Ленкино, больше ничье, ну, папы и мамы, какая разница. Здесь можно было прожить неделю, не зайдя ни разу в одну из комнат, в одну из своих *собственных* комнат! Славку эта мысль поражала. Случаи, когда он бывал в отдельных квартирах, он мог бы легко перечислить по пальцам, а чтоб задержался дольше, допустим, часа или тем более заночевал — такого не было и в помине. Родителей Ленка сплавил на дачу, на *соб-*

стенную — тоже деталь! «Будьте как дома!» — сказал он Инне; и Славка, подавленный обилием предметов и величиим угадываемого пространства, воспринял его слова как шутку. Но, видимо, для Инны все обстояло иначе, потому что, потоптавшись и поулыбавшись в меру, она уже через десять минут расхаживала уверенно и деловито, в ярком переднике поверх платья, позвякивала рюмками и тарелками, громко смеялась и разговаривала, сама общительность и непринужденность, и Славка чувствовал внутри этой легкости даже некоторое сдерживающее усилие. Ленкина девушка, не раз здесь бывавшая, вот уж кому бы и вправду как дома, оказалась вдруг на втором плане, в мягкой и уютной ловушке Инниной заботливости и снисходительности. Была она и внешне довольно блеклой, что говорить, приятный сюрприз для Славки, и он сравнивал и не уставал убеждаться, насколько Инна весомей и ярче. Соответственно и Ленка в его глазах терял часть своего превосходства. Что же это он, говорил себе Славка, испытывая радостное возбуждение, что ж он так слаб, а мы-то думали... И так в конце концов разошелся, что ринулся, теряя всякую бдительность, шумно отодвигая стулья, в центр, в гущу, в самое пекло...

— ...«Филлипс!» — это Ленка обращался к Инне. — Покупать надо только «Филлипс» и «Грюндиг». Нет, это «Филлипс». Прекрасная машина. Две дорожки, полоса частот. Слава вам потом объяснит.

И Славка кивал с набитым ртом, торопясь селедкой и непрожеванным хлебом задавить подступающие к горлу спазмы.

— Да, это международная фирма. Отделения в Германии и Голландии. Нет, что вы, в той, настоящей Германии...

В перерыве, танцуя с Ленкиной девушкой и самодовольно косясь на Инну, улыбающуюся Ленке со светской сдержанностью, он вдруг понял, что хватит, что давно уже хватит, что уже две рюмки назад, как хватит...

— Ну, выпили! — крикнул Ленка, и Славкина рука поползла по столу, медленно, как бы движимая другой рукой, и когда он приблизил рюмку ко рту, то почувствовал абсолютную невозможность влить в себя ее содержимое, эту тяжелую едкую жидкость. Он лихорадочно огляделся, подумал было: в бокал, в бокал! — но Ленка смотрел на него неотрывно. И тогда он, не в силах разжать губы, преодолевая судороги в челюстях, начал втягивать в себя, цедить сквозь зубы, и сразу схватил стакан с водой. Но вода не столько уже разбавляла, сколько сама принимала оттуда, становилась едкой и тошнотворной — все пропало, теперь бежать! И уже беспомощно трепыхаясь, каким-то произвольным движением ему удалось зацепиться за краешек, он вскарабкался, вылез и по узенькой тропке... Ненадолго — это он понимал, но не мог не радоваться отсрочке, вел себя шумно и оживленно, хотя и несколько суетливо, и эта суетливость все увеличивалась по мере приближения катастрофы. Он успел еще дотанцевать с Инной, еще усадил ее на диван («Какой ты бледный!» — сказала она, и он проклял педантичную ее внимательность), еще вразвалку прошел по комнате и даже задержался перед гравюрой с панорамой города... какого города? И открыл дверь и закрыл дверь — и бросился куда-то во тьму закоулков, интуитивно угадывая направление, по притяжению, по родству, и достиг, и отдался с тупым сладострастием щелканью задвижек и выключателей, холоду кафеля, шуму воды. Все качалось, ползло, ускользало из рук. Откуда-то появился стакан, ему подсовывали, он мычал и отказывался. «Выпей, — мягко повторила Инна, — выпей, дурачок, это же сода». Покосившись, он увидел ее длинную руку, эта рука ему вдруг понравилась, он стал целовать ее выше локтя, а она его гладила и прижимала к себе, но он вырвался с силой — и опять туда. И мыл руки, мыл руки, хотя мыло оказалось с противным запахом, этот резкий запах он долго помнил потом...

Первый раз он очнулся еще в тумане, еще без ясного чувства реальности — но уже и без той напасти, свободным от нее, он подумал: свободен! Комната была ему не знакома, он лежал на спине на широком диване; постель, неизвестно откуда взявшаяся, светлела на кресле бесформенной грудой; и Инна расстегивала ему рубашку, отслаивала ее от его груди прохладной, надежной своей ладонью...

А когда он очнулся во второй раз, то все для него уже было кончено, оставалась только боль безысходности и бездонный потусторонний холод.

Он обнаружил себя на том же диване, в постели, под тяжелым чужим одеялом, лежавшим как-то плашмя и отдельно от его холодного голого тела. Одеяло не грело, не облегало, а прикасалось к телу в отдельных местах, бесцеремонно и оскорбительно, как врач на осмотре в военкомате. В сердце его помещалась боль, никогда он не думал, что так болит: как нога, как рука. Принять бы чего-нибудь. Принимает же мама какие-то капли. Неужели и вправду может помочь? Двадцать капель — и как рукой. Причина останется, боль исчезнет. Причина... Главное — не называть. Не имеющее имени — не существует. Еще обойдется, еще минует, еще он, может быть, как-нибудь выплывет. О Господи, да куда же он выплывет, что минует, кретин, идиот! Жизнь минует, и он без нее обойдется... Он чуть повернул голову вправо и в сумеречном предутреннем свете увидел скомканную свою одежду, прямо на полу, под самым диваном. Брюки валялись вверх рубашки, одна брючина была вывернута наизнанку, неестественно, как вывернутая нога. Чуть поодаль на коврик, аккуратно и строго, стояли пустые Иннины туфли, белые с высокими каблуками, со слегка проступающими наружу темноватыми выпуклостями от пальцев. И тут он впервые вспомнил об Инне, до сих пор, как ни странно, о ней не думал, будто она здесь была ни при чем. И уже отворачивая голову в сторону, снизу вверх он скользнул взглядом по креслу — и с ходу споткнулся о ее одежду, выложенную в вопиющем порядке на сиденье, на спинке, на подлокотниках. И вздрогнул, услышав ее ясный голос, заботливый, бодрствующий: «Ну что ты, что ты! Ты спал? Какой ты! А я вот ни чуточки».

Он сам удивился: как же он спал? И тут же одернул себя. Болван. В том-то все и дело, а в чем же еще!.. Что он спал всю ночь, лежа рядом с ней, и хуже того: не сразу спал, а сперва порывался... как с той деревенской девочкой... И опять, как тогда, *ничего не было*. А это уже значит — всегда!..

Он не ответил, скатился вниз, вывалился из-под свесившегося одеяла и стал лихорадочно одеваться, стороной, стороной обходя свой стыд, пригибаясь, прячась, дрожа от холода. Нашелся только один носок, помедлив, он сунул его в карман, надел сандалеты на босу ногу — и только тогда взглянул на нее. Одной рукой она подпирала голову, другой тянула на себя одеяло, так что видны были только глаза и лоб. «Что-нибудь случилось? — спросила она (голос ее был приглушен одеялом). — Ты на меня за что-нибудь сердись? Скажи, я исправлюсь. Я ведь не знаю». — «Нет-нет, — сказал он, — все хорошо. Я пойду умоюсь, а ты одевайся. Не хочется с ними утром встречаться. — Он даже заставил себя улыбнуться, доверительно, как ему показалось. — Смотаемся лучше с первым трамваем». — «Хорошо, я сейчас», — сказала она, и он повернулся и сделал шаг. «Постой, только одну минутку. Ну, пожалуйста, подожди сюда». Но он уже и дверь затворял и уже нырлял во тьму коридора, издали угадывая запах мыла, резкий, розовый, тошнотворный — роковой запах вчерашнего вечера...

Он еще устроил себе испытание, уже сознательно все подготовив, отослав маму к тете Розе и даже купив бутылку вина, десертного, какой-то мадеры — тоже мерзость, но все же не водка. Инна была в новом ярком платье с неожиданным, слишком назойливым вырезом, в каких-то явно чужих босоножках: высоченный каблук, как кулак под челюсть, ремешки, липкое слово «подследники» — все как-то выглядело принужденно; принудительно — хотелось ему сказать. Теперь он готовил себя и настраивал, наблюдал изнутри и со стороны, прислушивался к каждому своему побуждению — и уже заранее знал результат. Подозреваемый всегда виноват, и всегда несведущ экзаменуемый...

На этот раз она поняла, хватило ей все же образования, и тогда — это его поразило — не стала жалеть его и успокаивать, клясться в преданности и верности, все равно, мол, какая разница, не в этом дело, я не за то... Ничего из розовых этих слюней, специально им для нее сочиненных и так бы, казалось, ей подошедших, не стала она ему говорить, а стала расспрашивать его о подробностях, с интересом истовым, но сторонним, он просто ушам своим не поверил: ну, он-то к ней — это понятно, но чтоб и в ее отношении, в самой основе — та же механика, элементарная... Он отвечал ей грубо и резко, не узнавая ее, не желая знать...

И на этом кончались их отношения и кончалась вся его прежняя жизнь.

## 18

*Урод* — вот что это все означало. Подозрение, давно бродившее около, невнятное, как разговор за стеной, превратилось в короткое страшное слово. Он мог бы еще, казалось, посомневаться, приписать мнительности, воображению, неслучившееся — еще не факт... Не может быть, начинал он, глупости... Но отчего же тогда он не знает с Инной? Оттого, что она сказала... а он сказал... Нет, это было необратимо. Слова, произнесенные вслух, и не им одним, выносили его уродство в открытый мир, обрекая существовать среди прочих реальностей.

Господи, думал он, глядя в зеркало, ну, совсем нормальный, трудно поверить... Но, уже внимательней присмотревшись, находил и какие-то внешние признаки: ширину черепа, форму глаз, нездоровый румянец... Холодел и убеждался: необратимо! Выплывала мысль о самоубийстве. Он даже слегка поиграл вариантами, но почувствовал, что такая игра не достойна трагизма его положения. Ничуть не уменьшая этот трагизм, он все же мог еще думать о смерти иначе, как в будущем времени. До следующего раза, сказал он себе, до первого случая...

Для него началась какая-то странная жизнь, вся под знаком его унижительной тайны и тайной боли.

Вот он смотрел в знакомые лица, слушал, спрашивал, отвечал — а слышал и видел только одно, то, что умалчивалось и скрывалось.

— Что же ты, Слава, — укорял его Рудик, — так поганно выступил перед Верой. Мне, значит, втык, а ты вроде побоку? Не ожидал, не ожидал.

А Славка думал: у него жена. Вот у этого с фарами, толстогубого. Такая постоянная женщина...

— Ну что ж, придется вам поработать. Выбрасывайте к лешему ваши пентоды, ставьте панельки под бН6, по одной на каждую пару выходов. Крутизна остается, а места вдвое...

...Когда он начинает думать о ночи? С обеда? С конца рабочего дня? В троллейбусе, подъезжая к дому? Ну, дома за ужином — это уж точно. Такое уверенное волнение, такое спокойное нетерпение. Еще те-

левизор, небось, посмотрит, чаю с вареньем еще попьет. «Ну что ты, что ты», — шепчет жена, теряя остатки дневной инерции, а он уже мычит и бормочет и шлепает в темноте губами...

— Не пройдет по питанию, — отвечал ему Славка. — И могут еще паразитные связи...

...А Вера? На что уж серьезная женщина, а тоже ведь, не лицо, а маска. Проговаривает заученный монолог между редкими мгновеньями подлинной жизни. А Рая?..

— Паразитные — еще посмотрим. А вот потребление прикинь по каскадам.

...А Рая? Ну, эта вроде него, во всяком случае — очень близко. Эта уж точно — всегда об одном: выдает ли зарплату, собирает ли взносы, рисует ли с наивным бесстыдством, рядами, в невообразимых количествах, фаллические знаки своих конденсаторов...

— Старик, ты манкируешь! А я-то надеюсь. Только в пять сегодня заснул. Засыпаю и думаю: все мура. Славка на месте, не подведет. Еду спокойно, как к себе домой, а меня за грудки и к Перельгину!

— Знаешь, это теперь не проходит. Она уже знает. Ты как-нибудь сам...

— То есть как прикажете понимать? Ответ с отказом?

— Ну, я же сказал.

— Старик, ты лишаешь меня личной жизни!

...А ведь Ленька, пожалуй, живее всех, он-то уж более всех соответствует, самое минимальное расстояние между «на уме» и «на языке».

— Слушай, а Инна твоя — ни-че-го! — он произнес через «г» и в разрядку. — Не красавица, нет, но зато фигура! И давно ты с ней?

— Да как посмотришь. Если считать... А если считать...

Вот и врать уже становилось ему в привычку.

А порой он впадал в другую крайность, доводя до абсурда свою систему, до предела — детскую свою блажь. Вдруг ему начинало мерещиться, что *этих* отношений не существует в природе, что все это люди вообразили, такой субъективный идеализм, как религия — как он представлял религию: все верят, хотя никто не видел. А этого в принципе быть не может, потому что как же... серьезные люди. Мама? Или та же Вера Андреевна? Или, допустим, Евгений Павлович, был у них такой преподаватель в техникуме, мягкий, деликатнейший человек, из тех инженеров-интеллигентов, из Нижегородской лаборатории, пять языков, все книги на свете, светлый взгляд и чистая, четкая речь. Неужели и он — запирает дверь, снимает пиджак, усмежается криво, лицо его темнеет, наливается кровью, и вот он уже не управляет собой — и кидается, обрушивается, слепо и хищно... Нет, этого не может быть! А *дети* откуда? — Не так, по-иному, вопреки всякому точному знанию! А *книги*? — Выдумали те же люди, которые выдумали и *это*. А Ленька? — Врет, так же, как он. Он-то ведь врет, почему бы и Леньке?.. А отец? — Да, вот разве отец... Ну а те, на снегу, под черными крыльями, и третий, в стороне у забора?..

Да нет, душевспасительного этого сна никогда не хватало ему надолго, собственные действительные ощущения легко опровергали весь этот бред. Но след от этого в нем оставался, некоторый, что ли, сдвиг восприятия, от которого легко рождался соблазн считать, что все вокруг сговорились: *не пускать* его, оставить в *одном лице*, поскольку раздвоенность и двусмысленность — это как раз и есть посвящение, то, с чего начинается взрослая жизнь.

За два месяца он постарел на годы. «Повзрослел» — он не мог про себя сказать, чувствовал именно постарение, как он себе его представлял.

Он обнаружил в себе скрупулезность и пристальность, страсть к

выявлению тайных следов, к прослеживанию пунктиров и петель. И так далеко иногда заходил, что уже не помнил, откуда начал.

Вот: книги и дети, действительно... Он явно изменил отношение к книгам, к читаемым и к уже прочитанным. Предыдущая расплывчатая классификация подчинилась одной основной системе: те, в которых *было*, и те, где *не было*. И вот, если брать девятнадцатый век, то русская литература, как ему показалось, легко отделялась от всей западной и целиком относилась туда, где *не было*. Этот его собственный неожиданный вывод произвел на него сильное впечатление. Он даже подумал в какой-то момент, а не находились ли наши писатели под властью такого же детского сна, но уже не минутно, а стойко и длительно? Не сомневались ли они, грешным делом, как он, в некоторых очевидных законах природы? Не являлось ли это профессиональной болезнью, как, к примеру, чахотка и эпилепсия?

Ну зачем Пискунову его девица? Чтоб вышивала, когда он сидит за мольбертом! А Подколесину зачем жена? Чтоб избавиться от мелких неурядиц быта! Но это — Гоголь, ладно, не надо... Но Достоевский! Или даже Толстой: если что и *есть*, то всегда исключение — как проступок или несчастный случай, то есть нечто, людям нормальным чуждое. А все эти бесконечные наши пьесы с женитьбами на богатых невестах! Нет, все понятно, деньги так деньги, но не может — не может! — живой человек не думать — с радостью или досадой, с омерзением, с безразличием, пусть хоть как, но не может же он не думать о том, что его ожидает и это! Но нет, все его мысли — о деньгах. Невесте еще, пожалуй, по бескорыстию, дозволено помечтать, повздыхать, жених же только стучит на счетах. Он, конечно, циник и проходимец, женится — вроде как нанимается, но ведь не в чиновники, не в повара! Не-ет, то ли дело французы: Стендаль, Флобер, Мопассан, Золя...

...Да — и дети. Он стал замечать детей — не так, как прежде, не как принадлежность, не как нечто, прилепленное ко взрослым, — а внимательно, с вызовом и вопросом стал засматривать в эти странные личики. Ему удивлялись — да тот же Ленька! — никто из его приятелей-сверстников ничего подобного знать не знал. Да и сам он еще совсем недавно... Но природная склонность его к систематике была и тут удовлетворена. И опять — хватило двух категорий. Он заметил, и это его поразило, что у детей *отсутствуют лица*, и у самых умных, у самых красивых — нет, у красивых и умных особенно! То есть нет лица в обычном смысле, как четкого выражения ума, и характера, и отношения к миру и людям, потому что и нет, в окончательном виде, ни того, ни другого, ни третьего — такой он, естественно, делал вывод. Детские лица — всегда в движении, в перемене, в поиске, в беглом намеке... Но пока еще это была банальность, если б только так, то о чем говорить. Но в том-то и дело, что так — не у всех, наблюдались еще и другие дети, *застывшие*, как он их называл. Лица у них были совершенно взрослые и только уменьшенные в размере, как правило, что были некрасивые лица и ума они тоже не обещали — впрочем, не обещали они ничего. Все уже было в них зафиксировано, все будущее развитие — предопределено, да и не развитие ждало их в будущем, а, скорее, последовательное проявление... «Посредственное», — сказал он себе.

Он не мог проверить эти жесткие выводы, но косвенные подтверждения им обнаруживал: у детей с настоящими детскими лицами родители выглядели умнее и тоньше, а все застывшие взрослые личики были, как казалось ему, простоватыми. «Вот тебе и расизм! — усмехнулся он мрачно. — Человечеконенавистническая теория».

И лишь в том находил себе оправдание, что, глядя на «плохих» и «хороших» родителей, одинаково завидовал тем и другим...

А порой он думал: ладно, ну что ж, ну так. Надо успокоиться, примириться. Жизнь не только в этом, в конце концов. Дело, работа — вот главное в жизни, а все остальное — только при том. И работа была безусловной реальностью, и работу, *дело* свое — он любил. Иногда он сам себе удивлялся: что за профессия, почему? Неужели просто оттого, что учился, ходил на определенные лекции, читал определенные книги? А мог бы быть химиком или механиком, или вовсе каким-нибудь там лингвистом? Допустим, родился бы в прошлом веке, когда и вблизи ничего не лежало, — вот и все. Страшно подумать. Ему казалось, что это в крови, что, сколько он помнит, всегда это с ним: типовые схемы, расчетные формулы, прекрасная, точная терминология и даже низкий плебейский жаргон, которого он терпеть не мог, никогда не поддавался его соблазнам, не опускался ни разу в жизни до всех этих «трансов» и «кондюков», а произносил «трансформатор» и «конденсатор», «катодный повторитель» и «триггер Шмидта», со вкусом выговаривая каждый слог. Он был специалистом, профессионалом, это значило, что что-то в нем было повернуто, перестроено на особый лад. И не то чтобы способность логически мыслить, а, скорее, общее восприятие, подсознательное, без формул и слов. Он мог смотреть на какую-то схему и думать о чем-нибудь постороннем и чувствовать смутное неудобство, такую, что ли, неясную грусть, Бог весть откуда происходящую. И только назавтра, взглядевшись внимательно, обнаруживал в этой схеме ошибку или тяжеловесное тупое решение. Но и радость испытывал он постоянно, и от таких порой мелочей, что просто стыдно было признаться. Простейший какой-нибудь мултивибратор, рассчитанный им за двадцать минут и за столько же собранный и включенный, выдавал ему ожидаемый импульс — и он удивлялся и умилялся, считая метки на осциллографе: надо же, сорок микросекунд — ну не чудо ли, ну не праздник!..

Но вдруг он слышал обрывок фразы или вдруг открывал случайную книгу — и тоска убивала его наповал. Потому что *любовь* составляла суть, *любовь* была наполнением жизни, а все остальное — только при том! И потому что каким-то немыслимым образом, противомыслимым, непостижимым *любовь* — это и было *то самое*, хотя *то* могло и любовью не быть. И, как мог, оставаясь внешне бесстрастным, внутренне он бился в тупой истерике и проклинал, проклинал эту подлую жизнь, в которой все так мерзко устроено. И ему хотелось быть стариком, дряхлым, седым, в окружении сверстников, когда все равны перед близкой смертью, а что там у каждого в юности, в прошлом — этого уже и припомнить нельзя...

А однажды Роза, добрейшая Роза, мамима двоюродная сестра, старая дева и просто старая, сухонькая, почти беззубая, сидела у них за столом под лампой, попивала чаек и читала книжечку, «Лженерон» — это Славка ей дал почитать. А сам он полулежал на диване, сцепленные руки закинул за голову, и смотрел на лампочку, прямо и пристально, наслаждаясь этой мучительной пыткой, еще и преувеличивал ее мучительность, как будто держал перед кем-то отчет. Тетя Роза читала и комментировала, он время от времени ей поддакивал — и вдруг она громко расхохоталась, так что он оторвался от лампочки и сквозь пятна, круги и слезы попытался ее разглядеть. «Ох, не могу, — причитала Роза тоненьким, пересыхающим своим голоском, — ну и Теренций, ну, молодец, ко всему оказался еще не мужчиной... Представляешь?»

Он сперва почти не расслышал, но тоже рассмеялся и тоже громко — просто чтоб сделать ей приятное, этой старой, доброй, ну и так

далее. Но круги в глазах его начали блекнуть, и вот он ее наконец увидел: маленькую, трясущуюся в хохоте голову, с париком, сползающим с лысого черепа (сколько помнил, она носила парик). И тогда он почувствовал, что и в самом деле мог бы свихнуться, *если б был еще жив*. Он слышал ее комариный писк и свой идиотский смех вперемежку, и хотел остановиться — и все не мог. Два уroda смеются над третьим... Боже, как страшно, подумал он!

Но стихи он вспомнил не в этот раз, а позже, когда ехал куда-то в метро и вошли двое, мужчина и женщина, оба изогнутые, переплетенные, перекрученные какой-то страшной болезнью — он и прежде, конечно, видел таких, но теперь он увидел их по-иному. Он всматривался торопливо и жадно, обводя многократно каждую линию, и каждая словно была не отсюда, несла двойной, пародийный смысл. «Природа и творчество», — думал он, коряги, подобранные в лесу, напоминающие человека... И дальше, все более погружаясь, он думал, что вот ведь мог бы и он — иметь вместо рук эту связку костяшек, вместо ступней эти черные гири. Ведь просто случай, что это не так!

Подумать только, никогда не ценил. *Быть как все* — как просто, как мало!

Тут и вспомнил он эти несколько строк, всплывших однажды к нему из бреда.

Пусть подходят ко мне все хромые, слепые, горбатые,  
Все уроды, себя сознающие вечно в обиде.  
Пусть подходят ко мне и, как честь, отдают мне  
частицу своих привилегий.

Странную он почувствовал связь между тем безумным поэтом — и этими, такой магический треугольник, потому что и Роза была при вершине, сидела в своем одиноком углу, а он, Славка, не попадал, а маялся в центре и только поглядывал.

Как он тогда не запомнил фамилии? Была ведь, на двух или трех листках. Совсем простая, на «-ин» или «-инов». Нет, теперь уже безнадежно. Быть может, когда-нибудь напечатают? *Когда-нибудь* напечатают *все*...

Он забыл выйти на своей остановке, проехал, вышли сначала те, выползли, помогая друг другу. Он доехал до следующей, потом назад.

И во всю эту боль я оденусь, как в новую кожу...

И только месяца через три, как-то пережив бесконечное лето, уже осенью, он шлялся одиноко по улицам, и пришла ему в голову одна идея... однако простая такая мыслишка. Он подумал вдруг, что Инна... Ведь все-таки Инна! Что, быть может, дело все-таки в ней? Его враждебно-родственное к ней отношение, его вечное отталкивание, порой даже ненависть... Ведь это же все не могло испариться, ведь есть же какой-то закон сохранения! Все копилось, собиралось и должно было вылиться. Вот и вылилось...

Он поступил с собой как с тупой скотиной. Он не послушался самых верных, самых отчетливых своих чувств. И был наказан, и так и надо, и, Господи, ведь это же ясно, как день!..

Как день, не замедливший наступить.

Это было воскресенье — день без утра.

Он спал до двенадцати, мама его не будила. Потом он ел, то ли завтракал, то ли обедал. Потом копался в книжном шкафу, что-то почитывал, что-то откладывал. А потом он ехал в букинистический и встретил в трамвае Надежду Сергеевну.

Он набрал всякого барахла, в основном подарки ко дням рождения: «Степное солнце», «Дочь партизана», «Мы — советские люди», «Крутой поворот»... Аккуратненько, бритвочкой, вычистил надписи: «Славе, Славику, Вячеславу, от родителей, от дирекции школы, от друга Левы, от друга Вити...» Была и от Инны — «Емельян Пугачев», чистенький, новенький красный трехтомник, кто знает, может, и интересный, он так ни разу и не раскрыл. Заляпанный чернилами старый портфель напрягся, раздираемый плоскостями, углами и ребрами переплетов. Так, вдвоем с этим взрывоопасным портфелем, поместил он себя на площадку трамвая и, поджимаемый наседавшими сзади, продвинулся вглубь и припал к сиденью, и держал портфель животом и пахом, а спиной заслонял его от толпы. Так он стоял, склонившись и свесившись, а под ним сидел скуластый военный и читал обтрепанный «Крокодил». Три бандита, огромных, на всю страницу — «Налоги», «Инфляция», «Безработица», — прижали к земле хорошего парня, которого звали «Уровень жизни». «Что такое «инфляция»? — маялся Славка. — Быть может, апатия, безразличие? «Он испытал инфляцию в жизни»...» Военный вдруг встрепенулся, привстал, выпрямился и врубился в толпу, пропуская кого-то к свободному месту. Этот кто-то сел, расправляя юбку, и Славка узнал Надежду Сергеевну, лишь чуть-чуть, показавшись ему, пополневшую, в очках с большими чистыми стеклами, в изящном, в талию, сером костюме, с легкой сумочкой в легкой руке. Она почувствовала его взгляд моментально, повернула голову направо и вверх, просияла:

— Ты?! Вот здорово! — Сняла очки, бросила в сумочку, положила теплую сухую ладонь на его руку, державшую поручень. — Ну, здравствуй. Знаешь, я очень рада...

Хорошая улыбка, подумал он трезво. И она действительно рада, вот что любопытно...

— Ставь сюда. Тебе далеко?

— Да нет, он тяжелый.

— Тем более ставь. Ну-ну, смелей!

Он поднял и осторожно опустил портфель, почти ощущая сквозь всю его толщу, сквозь весь его отупляющий вес, живую поверхность ее коленей... И сразу привычно себя одернул. И тут же одернул себя, одергивающего: да пошел ты!.. И весь обратился к ней.

— А ты изменился, — сказала она. — Ты очень, очень изменился. Славка!

Левая ее рука с сумочкой лежала на дурацком его портфеле, и в этом тоже было что-то волнующее.

— Да? — сказал он. — А... вы... — ничуть. Вот только очки...

— Это для улицы. У меня и тогда была близорукость, просто стеснялась носить. А теперь чего уж... Изменился, изменился. Совсем другой.

— Хуже?

— Трудно сказать. Да нет, вроде бы даже лучше. Мужик!

Она опять улыбнулась.

— Но что-то такое появилось в глазах...

— Старость?

— Шутишь... А знаешь, может, и старость. Усталость. И опыт какой-то невеселый. Что-нибудь случилось? Кто-нибудь умер?

Он удивился не столько ее пронизательности, сколько ее заинтересованности. Опять, как тогда, с уютной радостью он ощутил исходящее от нее тепло. И еще — иное движение времени, словно время вблизи нее завихрялось и, крутя, увлекало его за собой...

— Да... И умер, и случилось, и так, по мелочи...

— Ну, расскажешь. Или не расскажешь, как хочешь.

Он стал рассказывать — в общих чертах, обрисовывая формальные контуры жизни: отец, техникум, завод и так далее, лишь слегка заштриховывая эти контуры, — и все время чувствовал ее интерес и даже, казалось ему, понимание если и не всего, то уж очень многого, стоявшего за этим внешним рисунком. Поразительно, но она улыбалась и хмурилась не в ответ на те или иные слова, а как бы в зависимости от того состояния, в котором находился он, Славка, в каждый описываемый им момент... Он снова заметил толпу вокруг, только когда пришлось пробираться к выходу. Они вышли вместе у Покровских ворот, и она сразу и просто взяла его под руку.

— Ну вот, теперь еще пару кварталов...

И только портфель отравлял ему жизнь, и, проходя мимо какого-то мелкого скверика, он опустил руку за низкий заборчик и разжал затекшие пальцы. Средний палец слегка запоздал, корявая ручка, срываясь, царапнула мякоть. Она обернулась на глухой стук, но, видно, решила, что это так, постороннее. И только уже у своего подъезда спохватилась:

— А где же?.. Забыл? Оставил?

Он усмехнулся:

— Да нет, ничего. Все в порядке, все хорошо. Я, собственно, ехал его выбрасывать.

— Да?! А дома было нельзя?

— Никак нельзя. Чем дальше, тем лучше.

— Что же там было? Подпольная рация? Изобличающие документы?

— Документы, — сказал он. — Изобличающие. Прошлые в коленкоровом переплете.

— Высокопарно, но интригующе. Зайдешь?

Она кивнула на дверь.

— Зайду. Спасибо. А... тот ваш дом... это ведь тоже где-то поблизости?

— Там остались родители. А здесь — я с мужем.

— А-а... Ну да...

Все встало на место. В карты бы играть с его везением.

Надо было прощаться и уходить, но теперь, когда он согласился зайти... В глупейшем оказался он положении. И конечно, тут же, догнав себя, мысленно сказал себе: и естественно! И иначе просто быть не могло!

— А он... кто? — спросил он, оттягивая время.

— А он фехтовальщик.

— Вы что, серьезно?

— Представь себе, совершенно серьезно. Известный.

Она назвала фамилию. Плевать, он не знал ни одного фехтовальщика. Но каков анекдот! Он представил, как будет рассказывать Леньке, привирая по мере необходимости. Подвернулся услужливый каламбур, он жевал и никак не мог его выплюнуть. «Муж хитер — мушкетер». Домой ему хотелось. К маме. Лечь и уснуть. Он угрюмо шел следом за ней к подъезду.

Дом был во многом похож на тот, тоже из старых, с лепными балконами, с высокой тяжелой дверью подъезда, даже, может быть, с тем же числом этажей. Ему стало не по себе еще и от этого. Интересно, подумал он, не на третьем ли? Рядом с дверью висела доска объяв-

ний, и была наклеена сверху бумажка с надписью красным карандашом: «Учу шить» — и внизу телефон. «Учу жить», — пошутил он вяло. Позволил себе — взамен мушкетера.) Она покивала с полным сочувствием.

Нет, этаж был теперь второй, хотя ступени такие же низкие. Он шагнул через две, а мог через три, пока она ступала на каждую.

— Гольцев — Сапожников — Шварц — Федотова...

— Ты что?!

Она обернулась в упор, остановилась, держась за перила.

— Откуда ты знаешь? Ты приходил?

Он не ответил, отвел глаза. Спросил:

— А муж... Он как, ничего? Не захочет меня насадить на шпагу? Я как-то давно не имел возможности... Или вы меня представите своим учеником? председателем совета отряда?

— Ты приходил! — повторила она. — Ну конечно! Как же мне не сказали. Жаль... А впрочем, может, и к лучшему...

Они оба стояли теперь вдоль перил, она — на две ступеньки выше, так что лица их были на одном уровне. Она накрыла его руку своей и жала пальцы. Рука была сильная.

— Слушай, вот тебе полный отчет. В школе я уже давно не работаю. Ушла почти сразу... тогда. Это раз. Муж... Ну, чтоб долго не говорить... Нет его сейчас, он на сборах, так что тебе ничего не грозит. И он не на шпагах, он рапирист. И пошли скорей. Я очень устала. И хочу кофе. И хочу выпить!

Он не сразу двинулся следом за ней. Его осиротевшая вмиг рука еще сильнее вцепилась в перила, и так он еще постоял, пытаясь расслабиться, умерить дрожь в напряженных мышцах.

Она отперла дверь, прошла вперед, пропустила его, захлопнула. На хлопок открылась дверь комнаты справа, вышел старик с бритой головой, осмотрел обоих, сухо сказал: «Добрый вечер» — раздельно и правильно выговаривая, — и исчез, как не было.

— Сосед... Я сейчас.

Она сняла босоножки, надела мягкие тапочки. Он следил, не забыл сказать себе: как тогда! — но тут же решил, что отбросит эти проколы. И он не тот, и она другая, все заново, и что будет, то будет... Они прошли в конец коридора.

— Вот кухня, сейчас приготовим кофе. А здесь — все остальное, можешь зайти, если надо...

Да-да, ему было надо, уже поджимало, как всегда при таком возбуждении. Но, щелкнув задвижкой, он какое-то время еще постоял, прислонившись к двери. Туалет был огромный, высокий и чистый, по кафельным стенам — переводные картинки, машинки всяких иностранных марок. И потом, шагнув, наконец, вперед, он еще долго стоял в идиотской позе, ощущая какой-то болезненный спазм, не в силах совершить простое и привычное действие. Его скованность усиливалась этим простором, он словно бы находился в жилой комнате, словно бы в зале... За стеной в ванной, он слышал, лилась вода, она мыла руки. В какой-то момент, в полном отчаянии, он уже решил плюнуть и выйти, но понял, что уж это будет верная гибель. И как-то усмирив, уговорил себя потихоньку... Ванная была тоже гигантских размеров, но тут это не имело большого значения. Он только слегка замешкался с выбором мыла: было три куска в трех разных мыльницах. Он потрогал пальцем и выбрал влажное. Затем, так же перещупав, — одно из трех полотенец. Он не знал, сколько все это заняло времени, но вдруг опомнился, что, наверно, ужасно много. И действительно, кофе был уже сварен, нарядный парящий кофейник стоял на подносе, две тонких чашки, бутерброды...

— Готов? Пошли! Вон, бери бутылку. Это хорошее, только вчера привезли из Грузии.

Он шел за ней следом, неся бутылку и два бокала, и опять, как тогда, как сколько-то лет назад, видел ее чужие взрослые икры... Из Грузии... Что он знает?

Справа было еще две двери, они прошли во вторую, ближайшую к выходу. Стена книг, полировка, ворс, тахта, столик, низкие кресла. Никаких таких мушкетерских предметов и вообще мужского присутствия не наблюдалось. Может быть, там, в соседней комнате?

Он неожиданно ловко открыл бутылку, штопор вошел по центру и прямо, и потом этот громкий лихой хлопок — смешно, но это его подержало.

— Ну! — она подняла бокал. — Для начала, за встречу.

Вот когда он понял, зачем его пьют. Густое тепло разлилось по телу, вытесняя дрожь, размягчая мышцы. Он схватил бутылку, налил еще — себе, потом, спохватившись, ей. Увидел ее внимательный взгляд.

— Будешь пьяный. Поешь, попей кофе...

И он ел, и пил, и болтал, и балдел, и балдел, и когда она встала еще за бутылкой, он схватил ее за руку.

— Нет, *посиди!*.. — И замолк на секунду, проверил звучание. — Посиди, я что-то не могу один. Я, знаешь, что-то устал один...

И смущенно хмыкнул. Она послушно присела рядом.

— Ну-ну, я знаю.

— Знаешь? Откуда?

— Чудной ты, да у тебя на лице написано. У тебя же *все* на лице написано. Как ты только живешь с таким лицом!

И ласково погладила его по щеке. Таким угловатым, отдельным движением: протянула руку, приложила, погладила... Он поймал ее ладонь, поцеловал, поцеловал — и увидел, как дрогнули ее губы и что-то туманное проплыло в глазах. Она прикрыла веки, помотала головой, как бы встряхиваясь.

— Ну что ж, придется нам больше не пить.

Но уже и в голосе ее было нечто, он чувствовал, от нее не зависящее, что-то вело ее помимо воли. И это что-то был он, Славка, его присутствие, его близость...

Из всего дальнейшего он различил и запомнил только один отчетливый кадр.

Полумрак, сумеречный свет от окна: погашена лампа, задернуты шторы. Она стоит вдалеке от него, у комода, или как это там называется, такой низкий глухой шкаф. Он только что держал ее в своих руках, сжимал и мучил и мучился сам, не думая, ухитряясь не думать, что будет дальше. Но как-то вдруг упустил — и вот она там. Она без тапок, в одних чулках, без блузки, руки и плечи голые, грудь полуоткрыта... Буквально секунду назад. Он еще чувствует тепло ее тела. И вот она стоит у комода с открытой дверцей и швыряет ему в лицо подушки — на тахту, но попадает прямо в него. Одна, другая, третья... или это одеяло? Что-то тяжелое. Он едва успел заслониться. И буркнул от растерянности совершенную чушь:

— Ты что? Ты зачем?..

Она усмехнулась, прошла, покачиваясь, дальним путем, вокруг столика, подошла, села к нему на колени, обняла двумя руками, поцеловала — неожиданно легким, торопливым пунктиром прошла по его губам из угла в угол. И только тогда ответила.

— Собираюсь спать, — сказала она. — С тобой. Если ты, конечно, не против.

Знать бы, как все окажется просто... Она обволокла его своим теп-

лом, вобрала в себя, он забыл испугаться. И очнулся, уже блаженно расслабься, уже почти засыпая. А она все целовала его и гладила, и он опомнился и отвечал с благодарностью, и удивлялся, как это он так быстро привык, так легко смирился. Удивлялся тому, как мало удивляется, как хочется ему спать, и засыпал, и спал. И во сне уже знал, спокойно и уверенно, что сейчас он проснется, и она будет с ним, и опять ему будет прекрасно, и так и было. И теперь он поражался уже тому, что всякое желание его обоюдно, что и ей всякий раз необходимо то, что ему...

Уже в полной тьме, глубокой ночью (оказалось — под утро) он услышал резкий тревожный сигнал, пружиной вылетел из постели, прыгнул на пол и на ощупь стал одеваться. Мама! Он ведь ехал сдавать книги...

Торопясь, он переходил из пространства в пространство, из нового — в прежнее измерение. Все же он успел заметить в себе перемену. Его тело, которого он всегда стеснялся, не было ему сейчас неприятно, и даже, скорее, наоборот. Одевая, обслуживая себя, он испытывал чувство, похожее на уважение. Одевшись, он присел на постель, взял ее за руку.

— Бедный мальчик, — сказала она. — Так рано... На такси у тебя хоть есть? Я свинья, мне бы надо встать, сварить тебе кофе. Ты меня простишь? Ты ко мне придешь?

Он ответил поспешно:

— Да! Вечером!

— Нет, не сегодня.

— Почему?

— Так. Сегодня... меня тебе много. Завтра. Завтра вечером. Все. Иди. Я сплю...

Что он мог для нее сделать? Сказать какие-то слова благодарности? Какие? Просто вот так: «Спасибо»? Он молча поцеловал её руку и вышел.

Он еще прокрался по коридору, зашел в туалет, потом в ванную. Взглянул в зеркало: лицо было вроде бы то же. Посмотрел на часы — пять минут шестого, надо успеть до работы.

Уже на площадке, захлопнув дверь, он дернулся: телефон! Снова забыл. Но тут же схватил себя цепко за шиворот, взял в охапку свое уважаемое тело и швырнул его вниз по лестнице и дальше по улице.

Он летел, как пушинка. Он был легок и пуст внутри. Устав от извечной своей наполненности, от распиравших его напряжений, он теперь наслаждался этой пустотой, полной израсходованностью себя, и физической, и душевной. Пустота была и вокруг него — когда он бежал по полутемным улицам, уже видя приближавшийся к остановке трамвай, на остановке, никому в этот час не нужной, в трамвае, где не было ни одного пассажира. Было что-то успокаивающее, миротворное в этой равной опустошенности его и пространства.

Он немного пометался между сиденьями, выбирая лучшее, неизвестно, по какому признаку. Наконец сел, отдышался, пристроился. Теперь от него ничего не зависело, его вез трамвай, везло время, он же только в том и другом пребывал. Темная пустая протяженность за окнами, покачивание, бдительные метки, как в осциллографе. Маленькие метки — столбы с фонарями, большие метки — остановки.

Успокоить маму, попить чаю, не забыть пропуск и проездной. Рудик совсем уходит в райком, туда ему и дорога. Хотя что ж, взамен воткнут Бородулина, этот уж полный дебил. Все перевалит на Славку, головы не подыметь. Пора, пора ему тоже сматываться,

найти человеческую работу, поступить в институт, этот год уже прозевал...

Господи, о чем он? Сегодня, сейчас?!

Он щелкнул тумблером — переключил себя на другое.

Нет, это было действительно здорово, тут без обмана. Все то сладостно-тайное, безусловно-запретное, еще день назад, как ему казалось, не имевшее места ни в какой реальности, а только в преступном его воображении,— становилось для него состоянием, действием, становилось жизнью, почти открытой, почти обыденной... И вот тут, перебирая по нескольку раз все волнующие подробности этой ночи, он почувствовал, как проскальзывает мимо чего-то, что требовало особого к себе внимания и все же уходило, ускользало от него, терялось среди этих самых подробностей. Это было нечто, как бы постороннее, не связанное с непосредственными его ощущениями и в то же время тесно связанное с ними, постоянно имеющее их в виду... И вдруг он вспомнил. Тогда, ночью, в блаженной усталости, он подумал, что вот, наконец-то, он все понимает. Именно так — все про всю эту жизнь. Про всех людей, про мужчин и женщин, про детей и взрослых. Он ощутил себя самцом, мужиком, покорителем — и уж всего на свете. Теперь же он с удивлением обнаруживал, что это вовсе не так, совершенно не так. Что кроме прямого, конкретного опыта, кроме подтверждения, что да, это есть и вот как выглядит,— ничего он больше не узнал, ничего не понял...

Ну конечно, сказал он себе, уж слишком было бы просто. Слишком много было бы покорителей. И вообще — чего ему надо, он счастлив и так. Ну хотя бы тем, что свободен. От чего? От саднящей мысли, от боли. Но странная вещь, даже это не так уж и радовало. Он, конечно, не сменялся бы с собой вчерашним, но вынужден был признать со смущенной душой, что чего-то ему опять не хватило в этой раздаче, какого-то свертка... И, больше того: он совсем не уверен, что прямо так уж и счастлив...

Что-то изменилось вокруг и рядом: появились первые пассажиры, мужчины и женщины. Ничего в них не было мужского и женского, не вторичные, а какие-то третичные признаки. Возможно ли, чтобы и они... и с ними?..

Вот и этот застарелый крючок в мозгу остался в целостности и сохранности.

Так что же ему еще было надо, чего не хватало?

Задаваясь этим докучным вопросом, он уже испытывал к себе неприязнь, едва ли не ненависть. Слово бы только рефлекс сострадания, давняя жалость, как давняя дружба, не давали ему идти до конца в этом чувстве. Чего не хватало? Ну, может быть, слов, — каких, он и сам бы не смог придумать, но каких-то трогательных, пронзительных... Те, что были сказаны им или ею, были сказаны *до* или *после*, тут Ленка прав. Ему же теперь, когда он был сыт и богат, нужны были совсем иные слова, такие, чтобы жили сами по себе, чтоб держать их во рту, лелеять и холить. Вот, к примеру: он ни разу не назвал ее по имени! Почему? Потому что — он просто заставил себя довести эту мысль до конца — потому что это имя он подсознательно оставлял для другой. Ну, еще бы — *Надя!*

Он вздрогнул. Это была ловушка. Надо было все начинать сначала, совершенно новый виток.

Что дано, что ему вообще известно? Что сейчас здесь, рядом, в

десяти трамвайных минутах, спит эта женщина — его женщина! — вне сомнений, посланная ему судьбой, такая, о которой только мечтать. (И которой он Бог знает чем обязан, но это, допустим, неважно.) И где-то там (он не мог сейчас сориентироваться) существует совсем посторонняя девочка, с которой он виделся полгода назад, а до того — три года почти каждый день, и про которую ни он ничего не знает, ни тем более она про него. Техникум, завод... Производственная пьеса. Что ему в ней? А в ней ему *все*. Все то, чего было ему не дано, и сейчас, и прежде. Но что же именно? Быть может, любовь? Он не знал, быть может, любовь. Поразительно, но именно сейчас это слово расплывалось в сознании, теряло смысл. Он попробовал вспомнить Надю — в троллейбусе и потом во дворе, где они прощались. Контур ее головы в косынке на фоне куска освещенной улицы, аккуратно вырезанного аркой. Нежный холод ее щеки под его рукой и так его волновавшую чуждость, отдельность каждого ее движения... Слабей, приглушней, чем ему бы хотелось, но все же укол под сердце он ощутил. Подумать только, он мог бы сегодня же...

И уж если ему такое везение, то пускай это как-то все совместится. Вон у Ленки прекрасно же совмещается. А он, что ж, он такой же, как Ленка...

— Я такой же, как Ленка, — сказал он себе. — Да что там — просто как все, не лучше, не хуже. — И прислушался, и нарочно еще повторил: — *Такой же, как все!*

Но и эти слова его уже не устроили. В них уже не обнаруживалось нужного смысла, никакого, даже краткого равновесия, а, напротив, была в них неясная грусть, смутное сожаление о ком-то близком, будто бы преданном им и оставленном где-то там, во вчерашнем дне. «И во всю эту боль...»

— Чепуха какая, — сказал он себе. — Чепуха и глупость. Ну, при чем тут я, почему обязательно я? Нет уж, хватит, хватит, надо заняться делом, найти другую работу, поступить в институт...

Так он ехал, сам себя уговаривая, покачиваясь, приближаясь к дому, приближаясь к утру. И мысли в голове его тоже покачивались, он задремывал и вот уже видел сон — ненадежный, прерывистый, но один и тот же. И даже как бы не сон, а фильм, трофейный американский фильм, из тех, что в детстве смотрел по четыре раза: цветной, с лыжами и коттеджами, с лукавыми играми в теплом снегу, с томительным джазом на горизонте. Голубые сугробы, дощатые желтые стены, румяные женские лица, синие окна... И только здесь, в этом зыбком сне, приходило к нему, наконец, спокойствие, чувство уюта, тепла и невнятной, но все на свете обещающей радости.

Время от времени он просыпался, нехотя озирался вокруг, косился в окно (не проспять остановку!) — и тогда осознавал вполне отчетливо, что сон — это сон, а явь — это явь; что на смену старой, едва забытой тревоге так и будет являться новая, свежая, и что с тем ему и придется жить, ничего не поделаешь... Он пугался этих холодных мыслей, поскорее опять закрывал глаза, возвращался в тепло и уют, уходил, уплывал... Но с каждым таким его пробуждением все светлей становилось за окнами и все меньше ему оставалось сна, все больше яви.

Гасли лампы в трамвае, гасли фонари на улице. Утро наступало неотвратимо.

---

---

Дмитрий Домбровский

## МОЛЧАНЬЕ УЛИЦЫ

\* \* \*

Молчанье улицы. Как много значит звук  
в молчанье улицы — тревожный и случайный  
в лиловом мраке столкновений и разлук,  
в нестройном хоре клеветы и умолчаний.

Молчанье улицы. Какая тишина  
нам уготована шагающими рядом!  
Каким изысканным и утонченным ядом  
нас опьяняет желторотая весна!

Молчанье улицы. Затейливых затей  
от нас не требуют молчальники в бараке.  
Эпоха кормит мертворожденных детей.  
Шагают мертвые — и падают во мраке.

\* \* \*

Не пытай, не спрашивай о верности  
зыбких человеческих границ.  
Ты всего лишь точка на поверхности  
с точки зренья хищных умных птиц.

Ты в морях бескрайней бесконечности —  
всадник, загоняющий коня.  
Ты — всего лишь миг застывшей Вечности,  
вспышка быстротечного огня.

И когда колени подгибаются  
и плывет торжественная мгла,  
маленькие люди улыбаются  
на твои великие дела,

измеряя циркулем безмерности,  
щупая ладонями теплынь.  
И скользит, взлетает по поверхности  
точка, устремившаяся в синь.

\* \* \*

Если — к миру лицом,  
из темнот наползают туманы.  
Мы за красным словом  
не полезем в пустые карманы,  
утонченными пальцами  
скомкав зеленую трешку,  
мы не сможем купить  
ни попа, ни гармонию, ни матрешку.  
Наши ахи и охи  
исполнены тайной крамолы.  
Мы из вредной эпохи

зудящие вредные пчелы.  
 Нам на ослике бедном  
 не въехать в чужие сенаты.  
 Наши черные бездны  
 заплюют оккупанты-солдаты,  
 наши горние выси  
 в упор расстреляют из пушек.  
 Мы останемся в памяти  
 нескольких добрых старушек.  
 У игры в кошки-мышки  
 печальный притон на погосте,  
 долгий ветер дороги  
 и выигрыш — белые кости.  
 Поиск правды и пищи  
 приводит к пролитию крови.  
 Если в чем-то и прав был Гомер,  
 то в падении Трои.  
 Посему — собирай свои пешки,  
 ссыпай свои фишки.  
 Нам ни дна ни покрышки,  
 ни бумажки от нас, ни афишки;  
 в наших грязных столицах  
 среди массы, теряющей разум,  
 нам на смену спешит,  
 руководствуясь внешним маразмом,  
 двухметровый детина  
 стандарта Америка-супер  
 из языческих прерий,  
 где властвует Фенимор Купер,  
 где, бежав из Империи Зла,  
 но привычек не бросив,  
 на гудзоновом берегу  
 кочует последний Иосиф...

18 ноября 1990

## 7 ОКТЯБРЯ 1990

Ночь — это часто уступка безумию.  
 Спящая плоть имитирует мумию.  
 Дух, разрывая позорную унию,  
 ищет свое постоянство  
 в пасмурной, непросыхающей млечности.  
 (Самое светлое — мысли о Вечности.)  
 Мерзнут протянутые конечности.  
 Время сползает в пространство.

Сны, как преддверье бессмертия, розовы.  
 Машут крылом херувимы Морозовы —  
 Павлики. Всем индульгенции розданы.  
 Кошки целуются с мышками.  
 Спят кагэбэшники, спят цэрэушники;  
 воры в законе и просто мокрушники  
 льют крокодиловы слезы; двурушники  
 машут пустыми сберкнижками.

Но — от пигмея и питекантропа  
до Риббентропа и Толика Карпова —  
всем нам как будто ворона накаркала  
скромный удел дилетантов —  
и, постигая условия желчные,  
мы пробегаем от женщины к женщине,  
пробуя силы в постыдном блаженстве и  
мелком размене талантов.

Идолы требуют жертв и лояльности;  
нам остается лишь вера в банальности.  
Ищут астрологи нормы астральности.  
Астры в руках прощелыги  
пахнут базарными сальными шутками,  
чувства опошлены вдрызг проститутками,  
бродит философ в полях с незабудками,  
вышвырнув толстые книги.

Всякой болезни — свои лепрозории.  
Многое знала веревка в «Астории».  
Тень Вавилона лежит на истории,  
к старости башни — руины.  
Нити, ведущие к смыслу, запутаны.  
Цезари часто сменяются Брутами.  
Ах, как насмешливо хлещут шпигрутены  
тех, кто согнул свои спины.

1990

\* \* \*

Вот и снова смерть пришла,  
потопталась — и вошла —  
не ко мне, а так, к соседу,  
и, прервав его беседу,

увела его с собой  
в сумрак сизо-голубой.  
Испарилась душа,  
и лежал он, не дыша.

И подумал я — какой  
затянувшийся покой! —  
и ушел. А он молчал.  
И кадык его торчал.

1993

\* \* \*

Обстановка похожа на обморок.  
Стены вот-вот упадут.  
Чай похож на бензин  
наличием радужной пленки.  
Из-под матово-мертвенных облак  
выпростан солнечный жгут.

От разгула машинных страстей  
дребезжат перепонки.

Здесь и дверь без балкона:  
скрывает намек сигануть  
в пустоту — о, иллюзия вечности  
в узком проеме!  
Но душа — не ворона,  
пусть и хочется ей отдохнуть  
от оплывшего тела,  
которое вечно на стреме.

Желтозвездные демоны сохнут  
в огромных «слепых городах».  
Темнота вызывает желанье  
оглядываться на руины,  
опрокидывать на пол посуду,  
жалеть о никчемных годах,  
наблюдая за корчами мухи,  
застрявшей в сетях паутины.

За окном ее белые сестры  
шелестят: «Будет пухом земля,  
будет саваном белым всем, кто уснет,  
дорогим и не очень,» —  
и все тянут в безмолвные выси  
обрубки свои тополя,  
одинокие призраки  
тихой уродливой ночи.

7 ноября 1992

---

---

---

---

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

---

---

Бахманьёр

### ЖИЛИ-БЫЛИ В САРМАДДЕХЕ . . .

Рассказы

*Дух золотых тануров*

*...Что самое печальное в этом мимобегущем мире?*

*Лик дряхлого царя зверей льва? лицо старого клоуна, сожженное густым гримом? похороны родных, когда не знаешь — в рай или в ад уходят навек их скорбящие души?..*

*Однажды, в голодном детстве моем, я камнем сбил воробьиное гнездо на белом тополе, чтоб съесть млявых пуховых птенцов. Гнездо упало на мою голову, и птичьи безвинные яйца потекли по моему юному лицу убийцы.*

*И досель текут они...*

*Самое печальное в мире — это разрушенное гнездо.*

*Нынче таким разрушенным, «текущим» гнездом стал родной мой город Душанбе. И многие другие города и селенья... Политики сладострастно рушат живое бытие и безумствуют, а народы покорно безмолвствуют. И люди бегут и покидают родные гнезда свои...*

*Некогда на Киевском вокзале меня потрясла одна картина: среди замученного, заплеванного, кишашщего зала ожиданья цыганская семья стелила прямо на полу белоснежные простыни, и подушки, и одеяла и спокойно укладывалась спать средь вокзального ада.*

*Теперь многие неповинные люди в нашей разрушенной стране стали цыганами, и негде им постелить крахмальные простыни свои... Смердный дух великого кочевья охватил землю нашу и ее безвинных обитателей... А там, где кочуют, — там и воюют.*

*В чем высокий смысл этих страданий неожиданных? За что Господь карает нас — и без того не самых счастливых на этой земле? Я не знаю... Быть может, Аллах карает нас за то, что некоторые хотели изгнать добрых гостей-инородцев и нарушить великий закон таджикского гостеприимства?*

*Я мечтал поселиться в старости на берегу родной моей хрустальной реки Душанбинки. Даже домик тут присмотрел — прямо у волн, алмазно-изумрудных. Я хотел, чтобы сюда приходили мои друзья-писатели и поэты. И средь них — застенчивый и мудрый писатель Бахманьёр, который пишет о сокровенности таджикского очага, дувала, хавли, танура, о сладких снах и виденьях молодого кишлачного отрока... Теперь этот отрок с автоматом в слепых руках убивает своего соседа из недалекого кишлака... Кто бросил огонь в сухие камыши? Народ мой всегда казался мне самым кротким народом в Азии — кормилице нашей, а сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»...*

*И вот кроткие убивают друг друга... Какая-то тревога, какие-то*

тяжкие предчувствия были и в снах и мифах Бахманьёра... Пожарник чувствует огонь!

В небесный язык Саади и Хафиза ворвались кровавые слова: пуля, автомат, танк, гранатомет... Но я надеюсь, что Аллах остудит, охладит горячие головы моих братьев и они бросят в ледяные реки автоматы огненные, и обнимут друг друга, и зарыдают. . .

Самое сладкое на земле — это простить и полюбить врага... И пожар уйдет из камышей... А я вселюсь в лазоревый блаженный домик у реки Душанбинки и тут буду ждать смерть-цыганку, Божью странницу.

И сюда придут дорогие возлюбленные мои гости — таджикские писатели и поэты — и будут читать свои сочинения и пить вино дружбы и любви.

И среди них нежный Бахманьёр — певец таджикской исстрадавшейся души — необъятно щедрой, и трепетной, и слезной.

А пока послушаем его новеллы вдали от того домика, вдали от родных кишлаков, и рек, и городов, и мечетей, и горящих тануров-печей, в которых томятся без нас золотые, златопышущие лепешки... Сюда, до самой златоглавой Москвы, доходит их родимый, непобедимый, злато хлебный дух...

Тимур Зулфикаров

## ОЛЕНЬ МОЙ КРУТОРОГИЙ

С острой макушки горы Шеданзо сорвалась тучка и упала на Сармаддех — ветерок остудил горячий воздух, слепой дождь насквозь промочил простой наряд деревни. И вновь на склоне Хорбуна показался круторогий олень, тот самый, что появляется уже несколько дней кряду, взбирается на пригорок Жаврак и смотрит на деревню, да так смотрит, будто его детеныша, будто его несмышлениша поймали и связали...

Круторогий олень спускается с холма Барзу, замирает, словно творящий молитву, на склоне Хорбуна, на пригорке Жаврак, и смотрит на деревню. Долго смотрит он и так же уходит, как явился, и скрывается за холмом Барзу. Круторогий олень скрывается за холмом Барзу, а в моей душе паук печали паутину плетет, тонкую плетет, золотую плетет: душа моя болит, тело мое горит и ноет, да так ноет, что хочется мне встать и вслед за этим прекрасным, и дивным, и вольным зверем устремиться в горы и долины.

Но я не могу. Ибо меня к этой мягкой постели без веревки привязали, ибо меня в этой холодной, как зимние воды, постели утопили. Поэтому в моей душе паук печали паутину плетет, паутину печали плетет, тонкую плетет, золотую плетет: душа моя болит, тело мое горит и начинает ныть.

Окно моей комнаты, настезь распахнутое, смотрит на склон Хорбуна и холм Барзу. Я подолгу наблюдаю за тем, как с острой макушки Шеданзо одна за другой срываются тучки, я наперед угадываю, что польет дождь, я хорошо слышу пенье куропаток на склоне Ялмо. «Склон Ялмо очень далеко, — говорила бабушка, — пенья тамошних куропаток не слышно в деревне. Может, ты слышишь пенье куропаток на склоне Хорбуна?» Я не отвечаю, я отлично знаю, откуда и какие звуки доносятся до моего слуха.

Окно моей комнаты всегда открыто настезь. Только по ночам мама затворяет его и по моей просьбе оставляет распахнутыми занавески и ставни. Не то я затоскую, мама! Не то я задохнусь, мама! Мама не слышит меня, после той самой ночи, когда внезапно умерла

бабушка, мама больше не слышит меня, никто не слышит меня, разве что одна Бобуна. Только с Бобуной я могу говорить по душам, так, словно говорю с самим собой. Бобуна заглядывает в мои глаза. «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик!» Бобуна следит за движением моих губ. «Говори, говори, мой мальчик!»

Из окна своей комнаты я люблю смотреть на природу, а с кровли амбара, куда меня выносят в солнечные дни,— на мир. Природа для меня — это горы Шанобурз и Шеданзо, а мир для меня — моя деревня Сармаддех. Ибо я не видел других гор и деревень, да и не могу увидеть.

Ведь я недвижим, люди!

Бабушка говорила, что я болен от рождения и всегда был прикован к постели да так и не научился ходить. А тот профессор в очках, которому меня показали, убежден, что великий страх перед ходьбой угнездился в моем сердце и сковал мои ноги. «Тьфу, прости ты, Господи,— сказала бабушка, когда профессор ушел,— бывает же, оказывается, такое: страх-гнездовальщик».

Я смотрю на склон Хорбуна, на пригорок Жаврак. Склон Хорбуна без круторогого оленя похож на все откосы мира. Склон Хорбуна без круторогого оленя — лишь обыкновенный горный откос с несколькими пригорками, поросшими кустарником. Когда на склоне Хорбуна, на пригорке Жаврак, появляется круторогий олень, все вокруг меняется, все вокруг оживает, по телу и душе растекается живительная волна радости, как если в зимнюю пору окунешься в теплую ванну, как если в весеннюю пору катаешься по мягкой мураве. Но сегодня круторогий олень больше не появится, но сегодня склон Хорбуна не станет снова единственным в мире.

Я смотрю на острую верхушку Шеданзо. Сегодня большая тучка пролилась, сегодня слепой дождик насквозь промочил наряд деревни, и на крышу сегодня меня не вынесут. Ибо мою мать пугает мой недуг, ибо ее страшит простуда. Матери кажется, что я похож на высохший цветок, который может развеяться в прах даже от очень слабого ветра...

Из окна своей комнаты я наблюдаю, как с острой макушки Шеданзо волнами спускается вниз темнота, и наслаждаюсь этим. Темнота спускается вниз ступенями: сначала темнеет пик Льва, потом его могучая грудь под названием Рез, затем ущелье Карафса и склон Ялмо, холм Барзу и склон Хорбуна... Так, спускаясь ступенями, темнота достигает окна моей спальни и входит в дом. Ночь, так же, как и день, я встречаю в своей постели, в своей темнице, в своей гробнице. «Темнота подымается снизу вверх,— говорила бабушка,— потому что заря допоздна освещает верхушки гор. Не пойму, почему ты видишь это по-другому». Я часто раздумываю о том, почему мои наблюдения расходятся с представлениями окружающих, и не нахожу ответа.

С наступлением темноты мать затворяет окна в комнате, оставляет распахнутыми только занавески и ставни. Мать не слышит меня, мать ступает легко и неслышно, подобно небесным ангелам, она направляет мою постель, мою темницу, мою гробницу, и направляется к двери. «Доброй ночи, мама!» Она гасит лампу, осторожно, без скрипа, открывает дверь и неслышно затворяет ее за собой. Я не слышу ответа на свое пожелание, я слышу только звуки ночи и тишины, которые мечутся в тесном пространстве комнаты. Может, я ничего не сказал? Может, я разучился говорить? Я хочу произнести что-нибудь вслух и услышать себя. Я говорю «круторогий олень» и не слышу собственного голоса.

Я немой, люди!

Бесчисленные звезды мерцают над деревней: над острой макушкой Шеданзо, над ущельем Карафса, над склонами Ялмо и Хорбуна —

словом, всюду мерцают звезды, подобно ночным светлячкам, они пропадают и снова появляются. Подобно ночным светлячкам, беспокойны звезды. «Плывут облака, а нам кажется, будто звезды,— говорила мать.— Не пойму только, почему тебе кажется, будто они сгорают и вновь оживают».

Я своего оленя... Нет, лучше про своего круторогого оленя я никому не скажу, пусть это будет моей собственной тайной. Я люблю звезды, мама! Потому что завидую им. Я каждую ночь считаю звезды, сбиваюсь со счета и снова считаю до тех пор, пока не засну и...

Иногда я протягиваю руку к окну, хочу сорвать звездочку и повесить над головой, пусть мерцает, пусть станет стражем моей постели, моей темницы, моей гробницы, подобно тому, как однажды ночью стражем был светлячок.

Ночной светлячок, крошечный, мохнатенький, вдруг засветился в темноте на подоконнике. Я не заметил его днем. Когда же увидел, он, одинокая звезда, сиротливая звездочка, превратился в огонек на широком подоконнике. Я взял светлячка в руки — он погас, а спустя мгновение снова вспыхнул. Засветился, словно тлеющий уголек, и я вспомнил басню, которую слышал от бабушки. Мартышки приняли светлячка за горящий уголек, уложили над ним хворост, дули-дули, дули-дули — задохнулись, а огня так и не добыли. Бабушка рассказала мне эту басню, но потом раскаялась. Ибо увидел я себя тем светлячком, что светит, да не греет.

С той самой ночи я хочу, чтобы на моем подоконнике сама собой вдруг появилась, подобно ночному светлячку, звездочка и чтобы я повесил ее над своей постелью, в изголовье.

Ибо куда я не дотянусь до звезд, они далеки, далеки. Если бы моя кровать стояла на вершине Шеданзо, я сумел бы сорвать во-он ту красную звездочку. Красная звездочка всего в нескольких пядях от верхушки Шеданзо, ее легко заполучить. Почему никто не возьмет ее? Почему сармаддехцы столь равнодушны к такой красоте? Или, может, трудно взобраться на вершину горы?..

Что я вижу? Неужели мой олень?

По Оленьей Тропе небосклона идет круторогий олень. Сквозь звездную россыпь, сквозь бесчисленные скопления звезд отчетливо проступает его силуэт. Я не ошибся, мой олень — небесное существо, обитатель Небесного Ущелья! И только раз в день спускается он по Оленьей Тропе на макушку Шеданзо, переходит через ущелье, появляется на склоне Хорбуна и смотрит на село, да так смотрит, будто его детеныша, будто его несмышлениша в деревне поймали и связали. А сейчас круторогий олень переходит от созвездия к созвездию, что-то ищет, куда-то спешит. Вот он выходит из Небесного Ущелья, по Оленьей Тропе направляется к вершине Шеданзо, и я угадываю, что он ищет. Он ищет самую яркую звезду на небе. Круторогий олень снимает своими крутыми рогами красную звезду с макушки горы, по тропе холма Барзу спускается на склон Хорбуна и прямо со склона направляется к моему окну. Приходит и, упав на колени, склоняет свои рога. От сияния красной звезды комната озаряется, как днем, да так озаряется, что слепит глаза, и я с трудом открываю их...

Я немного прихожу в себя от удивления и обнаруживаю себя в своей постели, в своей темнице, в своей гробнице. Комната наполнилась светом солнца, показавшегося из-за пика Шеданзо. Я вспоминаю свой сон и улыбаюсь навстречу маме.

Мать осторожно, без скрипа, открывает дверь, ступает легко и неслышно, подобно небесным ангелам, и, как всегда, появляется у моей постели, моей темницы, моей гробницы, с рукомойником и белоснежным, как вершины Шанобурза, полотенцем.

— Ты проснулся?

Она всегда задает мне этот единственный вопрос и не ждет на него ответа. Ибо думает, что я разучился говорить так же, как и ходить. А я делаю вид, будто ни о чем не догадываюсь, и, как всегда, говорю: «Доброе утро, мама!» Мать смотрит на движение моих губ, о чем-то думает и улыбается. «Если не будет дождя, мы вынесем тебя на крышу, обязательно вынесем».

Почему я не могу говорить с тобой, как с Бобуной, мама?

Если не будет дождя, меня поднимут на крышу. Так сказала мама. Я чувствую, что сегодня дождя не будет, ноги у меня не болят.

С крыши амбара отлично виден Нижний Конец Сармаддеха, а также Ущелье Цветов и покрытые снегом вершины Шанобурза. В Ущелье Цветов, говорят, есть родник, называется Родник Желаний. Бабушка часто говорила, что посадит меня на плечи и понесет к Роднику Желаний. Выпьешь горсть воды из него, страстно пожелаешь в душе, чтобы он даровал тебе исцеление, не успеешь и до деревни добраться, как сделаешься здоровым и цветущим!

Но намерение бабушки посетить Родник Желаний не исполнилось. В прошлом месяце она неожиданно-негаданно умерла, по словам матери, совершенно здоровой.

Постель бабушки находилась в этой же комнате рядом с моей кроватью. По ночам я спокойно и мирно засыпал, слушая ее похрапывание. По ночам она рассказывала мне сказки. Она знала их такое множество, что только по моей просьбе повторяла какую-нибудь сказку вновь. И вот, проснувшись однажды ночью, я почувствовал, что она умерла. Так умерла, будто спала, как всегда, только что не дышала. Я не испугался, я словно наперед знал о ее смерти, да и сама она готовила меня к этому и в последние дни своей жизни часто жаловалась: «Косточки мои искрошились, тело мое иссохло, она же, негодница, почему-то не спешит прибрать меня, стучится к тем, кто ее и не ждет». — «Бабушка, почему ты ее ждешь?» — «Я не жду ее, мой мальчик, я зову ее, ибо чувствую, что пора мне на покой». «Мой мальчик!» — так называла она меня всегда. «Мой мальчик, впредь пусть за тобой ухаживает твоя мать, пусть она исполнит свой материнский долг. Если она моя дочь, моя кровь и плоть, она со всей душой исполнит его. Пусть только попробует обидеть тебя, оседлаю ту самую негодницу, явлюсь сюда и выдеру по волоску ее длинные косы...»

Бабушка была единственным человеком, с кем я, не стыдясь, делился своими мыслями. Она тоже любила беседовать со мной, коротать день. «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Говори, говори, мой мальчик!»

Вот эту чудесную и ласковую бабушку в ту темную ночь ранней весны похитила та самая, как она ее называла, «негодница», и я смотрел на нее и ничего не чувствовал: ни страха, ни одиночества, ни печали...

Утром, когда мама, обеспокоенная отсутствием бабушки, вошла в комнату и обнаружила ее мертвой, она долго не могла вымолвить ни слова. Потом пришла в себя, оглянулась на меня и, увидев меня спокойным, удивленно спросила: «Ты ничего не заметил, Комьёр?» Мама всегда называла меня по имени, и это мне нравилось, теперь же мне вспомнилось, как бабушка говорила «мой мальчик», и что-то застряло у меня в горле, какая-то струна оборвалась в самой глубине души. А мама ждала ответа и смотрела на меня. Я кивнул головой и, взяв себя в руки, ответил: «Нет, я все заметил, мама!»

Но в этот раз мама не услышала меня, после того случая никто больше не услышал моего голоса. Мама в ужасе и отчаянии посмотрела на движение моих губ и без сил упала на колени между моей и бабушкиной постелями, оглядываясь то на меня, то на бабушку, и я

догадался, что она не знает, на чью грудь уронить голову и кого оплакивать...

Меня вынесут на крышу.

Отец легко возьмет меня на руки и вместе с мамой, прижавшей к себе раскладушку, поднимется на крышу. Это крыша амбара, одна сторона которого примыкает к скале. Таких строений, где стенами служат скалы, в нашей деревне много. Их крыши — место отдыха, суфа. Я люблю нашу суфу.

Раньше, когда еще за моей бабушкой не явилась та «негодница», бабушка подымалась на крышу с мягкой козьей шкурой, стелила ее рядом с моей раскладушкой и садилась пряхть. Иногда она незаметно задремывала и сквозь сон обращалась ко мне: «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Говори, говори, мой мальчик!» Не удержавшись, я громко смеялся, и бабушка, очнувшись, удивленно смотрела на меня, угадав же причину моего смеха, тихо оправдывалась: «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Это все приметы старости...»

Когда я поднимаюсь на крышу, вернее, когда меня поднимают на крышу, проведать меня приходит много людей. Являются мои тетушки, являются их дочери. Почему-то проведать меня приходят больше женщины, и чаще всех других — дочь моей тетушки с материнской стороны Бобуна. «Мы любим тебя, мой мальчик!» Та самая Бобуна, которая в пору цветения бобуны-ромашки становится, как говорится, одержимой. Но, по словам бабушки, в пору цветения ромашки на ее внучку нисходит Божественная благодать и она становится такой удачливой, что ради нее из земли вырастают цветы, а с неба льется мускус.

Бобуна приходит проведать меня, и, нисколько не стесняясь присутствующих, осыпает поцелуями мои глаза, и, подражая бабушке, говорит: «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Говори, говори, мой мальчик!» Я смущаюсь от такого обращения, краснею, покрываюсь испариной и натягиваю на голову одеяло, накинутое на мои ноги. «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Дай же мне наглядеться на них досыта». Но у самой Бобуны такие красивые глаза, что...

Я всегда скучаю по Бобуне; лишь увижу ее, лишь только услышу ее голос, у меня начинает колотиться сердце. Она завораживает меня... «Пока не научу ходить моего мальчика, не выйду замуж», — поклялась она.

Сегодня почему-то никто не является проведать меня. Я так привык к этим посещениям, что отсутствие гостей в эту пору удручает меня. Я то и дело оглядываю улицу: может, кто покажется?

Улица пуста, склон Хорбуна пуст, весь мир пуст без моего круторогого оленя. Почему-то появление круторогого оленя на склоне Хорбуна никого не удивляет, никого не занимает, словно олени в наших горах, подобно дождю, с неба падают и, подобно траве, из земли всходят. А между тем никто не встречал оленя в этих горах. И потому ликует моя душа, и потому верю я, что круторогий олень из какого-то дальнего ущелья, из какого-то дремучего леса является проведать именно меня. А может, это олень с того самого коврика, что когда-то принес мне в подарок отец?

Тот коврик повесили над моей постелью. Повесили его на стену, и бабушка подняла ладони для благословения: пусть, о Боже, мир души моего мальчика будет чистым, как синее небо этого ковра, будет жизнестойким, как елочки этого ковра, пусть он легко и стремительно бежит, как круторогие олени на этом ковре, и оставит далеко позади своих недругов, аминь.

Все присутствующие провели ладонями по лицу, даже отец, кото-

рый посмеивался над религиозными и мирскими шатаниями бабушки, с какой-то серьезностью понес руки к лицу.

«Круторогие» — так назвала бабушка оленей на ковре; их преследовал волк. Все олени в страхе, без оглядки, бежали прочь, кроме одного, исполинского оленя, замедлившего бег и оглядывающегося назад, словно он тревожился за судьбу остальных и особенно за отставшего от стада олененка. «Это их вожак!» — сказала в первый же день Бобуна.

Волчьи глаза, огромные и страшные, вселяли ужас, как очки того профессора, который гостил у деда Кучака и которого отец привел к нам осмотреть меня. Этот профессор не понравился мне. На глазах у всех он раздел меня, стал поворачивать с боку на бок, сгибать и разгибать мне руки и ноги и, как говорила бабушка, такое творил, что я готов был от стыда сквозь землю провалиться. Ладно бы он раздел меня догола только на глазах у бабушки, мамы и отца, но перед Бобуной...

Глядя тогда на ковер, я пожалел оленя-вожака, я пожалел отставшего олененка, так пожалел, что хотел тотчас же найти гвоздь и приколотить волка на месте, чтобы он не мог сдвинуться, чтобы прекрасные олени не попали к нему в когти.

Но бабушка не позволила. «Ты же видишь, что он не настиг их — да и не настигнет никогда!» Вижу, что не настиг. Да вдруг настигнет? Например, ночью, когда я их не вижу?

По ночам я ошупью находил голодного волка. Находил и крепко прижимал ладонью и лишь после этого спокойно, с легким сердцем засыпал. Вскоре бабушка провела о моей хитрости и очень рассердилась. И тотчас же велела отцу снять ковер и унести. После того случая бабушка стала зорко следить за мной. Никто не имел права без ее согласия что-либо принести или унести из моей комнаты. Интересно, где сейчас моя бабушка?

Я вновь тоскливо оглядываю улицу. И вижу человека с ружьем, который по тесным улочкам Нижнего Конца направляется в сторону гор. «Кого-то потянуло на охоту, — думаю я, — но почему так поздно?» «Сумасбродство!» — сказала бы бабушка. А еще на Нижнем Конце я вижу девочку с бантами в косичках, которая сама с собой играет в «классики». Ее белые в горошек ленты напоминают рыночную детскую игрушку-вертушку — палочку с насаженным на гвоздик бумажным цветком. Девочка прыгает, и каждый раз «игрушка-вертушка» взлетает над ее головой. Так взлетает, что кажется, будто сейчас же, оторвавшись от волос, она поднимется в воздух и полетит, полетит, полетит...

Как приятно, наверное, летать! Кроме звезд, я завидую еще и птицам, мама! Ибо их невозможно в холодной, словно зимние воды, постели утопить. Они не мастерят для себя гроба, мама!

В последние дни, разговаривая с самим собой, я почему-то обращаюсь к маме...

Почему никто не идет навестить меня? Почему в деревне никого, кроме той девочки на Нижнем Конце, не видать? Вдруг случилась какая беда! Вдруг чья-то бабушка совершенно здоровой умерла, как моя?

Приподнявшись в постели, я весь превращаюсь в слух. Я не слышу звуков причитаний и рыданий. Я вижу деревню спокойной и безмятежной, как всегда. Только то меня печалит, что Бобуна не идет, хотя мне стыдно признаться в этом даже самому себе. Хотя Бобуна на десять лет старше меня и в этом году, окончив школу, выйдет за... нет, лучше об этом не думать, иначе мне станет грустно и жалко себя и я могу заплакать. Во всяком случае, если бы сейчас пришла Бобуна, я рассказал бы ей о своем сне, о своем круторогом олене. Ибо ни с

кем, кроме Бобуны, я не умею разговаривать. Бобуна заглядывает в мои глаза. «Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик!» Бобуна следит за движением моих губ. «Говори, говори, мой мальчик!»

Я смотрю на склон Хорбуна. На склоне Хорбуна я вижу своего круторогого оленя. От восторга у меня колотится сердце. Так колотится, будто я увидел Бобуну. Круторогий олень смотрит на деревню, и меня охватывает радость. Эта радость, подобно волнам рассвета, стекает с вершин Шеданэо вниз, в деревню, и переполняет все окрест. Так переполняет, что дышать становится легче; и душа, и тело делаются воздушными, и хочется взлететь или, крикнув изо всех сил, уткнуться лицом в горы и долины. И в эту минуту я слышу пенье курапатов со склона Ялмо, в эту минуту я чувствую хмельной аромат цветов из Ущелья Цветов и пью целебную воду из Родника Желаний, в этот миг я несказанно счастлив. Я хочу увидеть кого-нибудь и рассказать о переменах в своей душе, о своем круторогом олене. Но я вижу, что деревня пуста, площадь Хампасти пуста... И я вспоминаю, что ни с кем, кроме Бобуны, я не умею разговаривать. Встревоженный и опечаленный, я снова оглядываюсь на пригорок Жаврак и от страха леденею, и от страха я немею, и от страха каменею.

Я вижу человека с ружьем с Нижнего Конца. Таясь за валунами и кустами, он крадется к моему оленю.

Не ведая о нем, круторогий олень смотрит на деревню. Да так смотрит, будто его детеныша, будто его несмышлениша в деревне поймали и связали. Я не знаю, что он потерял и что ищет он в этой деревне, я не знаю, чего он жаждет. Только мне кажется, что его появление на склоне Хорбуна связано с моим лежанием в этой холодной постели. Потому и не хочу я, чтобы так внезапно, так коварно уничтожили его на моих глазах. Я хочу, чтобы он, когда придет время, сам позвал ту «негодницу», которую ждала моя бабушка после того, как искрошились ее косточки, после того, как иссохло ее тело.

Человек все ближе подбирается к оленю, подобно вору, подобно разбойнику, подобно ночному грабителю; таясь за валунами и кустами, человек неприметно приближается к оленю. Вот он остановился на расстоянии выстрела, вот он установил ружье на ветке, вот он... «Не стреляйте! Не стреляйте!» — кричу я и не удивляюсь тому, что мой голос эхом разносится по холмам и взгорьям.

— Не стреляйте! Не стреляйте! — кричу я и не удивляюсь тому, что, вскочив с места, на собственных ногах поднимаюсь на склон.

Только тому я дивлюсь, что не слышу выстрела.

Только тому я дивлюсь, что круторогий олень спешит мне навстречу и, переменяв свой облик, оборачивается Бобуной. Бобуной, что бежит мне навстречу и кричит во весь голос:

— Умереть мне за твои ангельские очи, мой мальчик! Шагай, шагай, мой мальчик!

## КТО ПОНЕСЕТ МОЙ ГРОБ?

Ты вот говоришь, что все это вздор, а ты раскинь мозгами — кто понесет твой гроб?! Наша оплошность в том, что над этим вопросом мы задумываемся тогда, когда нужды в этом уже нет. Вот возьми того же покойного Дуста. Увидел Смерть на пороге собственного дома и перепугался, устроил угощение, чтобы просить у людей отпущения грехов. Да никто не пошел к нему. Тогда он сам пошел по домам, словно нищий, что просит кусок хлеба, и умолял простить его грехи. Люди не злопамятны, простили его. Ты скажешь, что умер он мирно, со спокойной душой? Боюсь, что это не так, что не умер он тихо и

спокойно. Ибо грехи и после смерти не дают нам покоя, даже в ту тесную келью являются, обернувшись червями. Чем больше грехов у человека, тем больше «гостей» заявляется к нему, мой друг. Помнишь гибель Дамдора? Морозным зимним днем сорвался он с обрыва и умер, со страху умер, приняв собственную собаку за егеря. По-твоему, это была собака? Ну конечно, нет. Это были грехи Дамдора, которые потянулись следом за ним. В такой морозный день потянулись, что, кроме грехов и их владельца, никто в горы не отважился бы пойти.

Наши грехи всегда тянутся за нами: то в обличье собаки, то в обличье дурной жены... Мы утешаем себя, что они — то есть грехи наши — куда-то запропастились и забылись, а они тем временем преследуют нас и однажды, схватив за край одежды, возопят: ты нас сотворил, так не забывай об этом!

Предположим, в один прекрасный день вот этот стоящий здесь твой покорный слуга с незавидным прозвищем Холдор-Сороколгун внезапно умрет, — сохрани Бог, скажешь ты, и я то же самое скажу, но привожу тебе как пример, чтобы вопрос был яснее для тебя, — кто, по-твоему, понесет мой гроб? Ты скажешь, что в крайнем случае придут, чтобы защитить свою честь, двое-трое родных и близких, да завернут в саван, да кое-как отпоют, да отнесут и засунут в могилу. Хорошо, а если, скажем, не найдется двух-трех благородных людей, которые понесут гроб, тогда наймут машину, как вошло в обычай в городах, и мой гроб на машину... Эх, да что это я говорю? Откуда в Сармаддехе машине взяться? Ладно, а чем же плоха арба? Эге-ге, если надумаешь писать историю арбы, получится пять-шесть книг. Да толстых-претолстых книг, таких толстых, что едва выдержит арба, запряженная крепким ослом. Стать мне камнем, коли вру, стать мне прахом... хм, хочешь верь, хочешь нет, но, проснувшись сегодня поутру, я поклялся самому себе, что никогда больше не произнесу этой клятвы и врать тоже не буду. Вообще-то врать я не люблю, хотя и прозвали меня Сороколгуном. Коль ты мне друг, признаюсь, люблю только немного преувеличить. Хотя, по-моему, правда без лжи... тьфу! без преувеличения все равно, что арба без осла. Хочешь верь, хочешь нет, но это так. Как невесту без нарядов не выдают замуж, так и правдой без преувеличения не удивишь собеседника. Например, если скажешь, что самолет, выпустив колеса, приблизился к месту посадки, эти твои слова войдут в одно ухо слушателя и, подобно самолету, вылетят в другое и сгинут — будто их не было. Если это же предложение скажешь по-другому: самолет, подобно аисту, свесив ноги, приблизился к своему гнезду — посадочной полосе, тогда твой собеседник разинет рот и навострит уши...

Коль ты мне друг, вернемся к нашей теме. Итак, я умер, — сохрани Бог, скажешь ты, и я то же самое скажу, — а двух-трех гробоносителей не нашлось, тогда какой-нибудь доброхот возьмется искать арбу и явится к тебе. В деревне ни у кого, кроме тебя, арбы нет. Ты целый год трудился, чтобы смастерить ее, поэтому бережешь и никому не даешь ее, ибо человек таков, что, если одному дашь, для другого это будет предлогом попрекнуть: почему, мол, такому-то дал, а мне не дашь. Помню, как-то раз взял ее у тебя взаймы Шери Хол и сломал колесо, так ты ему за это чуть голову не разбил. Правда, в виде исключения иногда арбу даешь мне, да и не дашь — не обижусь, но, поскольку доверяешь, уважая дружбу, я тебе признателен и дорожу твоим доверием. Потому-то, услышав, что твоей арбе выпало на долю везти гроб односельчанина, к тому же твоего приятеля, ты не откажешь и, может быть, во имя дружбы, засучив рукава, сам сядешь на арбу и возьмешься за поводья, ибо, как поет один певец, это событие когда-нибудь свалится на голову каждого из нас.

По моим наблюдениям, в день смерти своего знакомого, родственника или односельчанина люди собираются все как один, засучивают рукава и каждый старается услужить чем может. Чем добрее был покойный, тем больше народу приходит, и чем дурнее — тем меньше. Вообще-то у нас покойник не остается беспризорным, мой друг, ибо пока что мы не забыли о чести и достоинстве.

Однако история моей смерти — сохрани Бог, скажешь ты, и я тоже самое скажу — примет исключительный оборот. Так как все призывали к моим небылицам... хм, преувеличениям, то и весть о моей смерти люди примут за преувеличение и не поверят, что на сей раз жребий Судьбы выпал Холдору-Сороколгуну. И потому тот самый доброхот приведет арбу, на нее погрузят мой гроб и повезут через деревню. Сармаддехцы из-за оград и с крыш домов будут с изумлением глазеть на это необычайное шествие, ведь где это видано, чтобы в Сармаддехе гроб везли на арбе?! Хочешь верь, хочешь нет, но такой диковины история Сармаддеха не припомнит! Опять лгу? Нет, говорю голую, суровую правду. Люди порой такое сотворят, что никакой Сороколгун не сможет ни выдумать, ни сочинить, ни рассказать. Например, ты уверен, что невозможно пить нефть вместо воды и жечь воду вместо нефти. Но человек, мой друг, пьет нефть и жжет воду!

Иногда услышишь какую-нибудь историю и ни за что не поверишь, что это правда, даже если приведут тебе сто доказательств. Ибо ни одна ниточка твоего мозга — а твой мозг имеет столько нервных волокон, что если из них сплести нить, то ею можно опоясать всю Землю, — не соглашается с тем, что так бывает. Ты ведь слышал историю Мардона? В старину был такой человек среди богатеев Сармаддеха. У него было много отар овец, но в счете он был слабават. Знаешь, как Мардон подсчитывал своих овец? Камушками! Стать мне камнем, коли вру, стать мне прахом, коли вру!.. Хм, стало быть, сероватый камушек он считал за серую овцу, да красноватый камушек — за рыжую овцу, да темный камушек — за черную овцу... В нишах его дома вместо подушек и одеял были сложены мешки с этими самыми камнями, и он то и дело, вывалив, считал их и сбивался со счета, сбивался со счета и снова считал. Если помирала какая-нибудь овца, а пастух успевал зарезать ее и притащить в деревню, он трясущимися руками вытаскивал из мешка камушек того цвета, какой была овца, овцу бросал в котел, а камень — в реку, чтобы грядущая беда пала на этот камушек, и была унесена как можно дальше речной водою, и в той дали творила все, что ей под силу: пускай уничтожит целую отару или хоть сто отар!

Разве можно выдумать такое? Нам с тобою подобное и за сто лет в голову не придет. А самое удивительное — история его смерти. Рассказывают, что два-три шутника выкрали его мешки, а он, узнав об этом, завопил: «Убили! Разорили! Моих овец похитили!» И умер от потрясения. Теперь скажи, задумывался ли этот сармаддехский богач о смысле своей жизни и спрашивал ли себя: «Кто понесет мой гроб?» Да, недаром говорят, что ты носишь голову на плечах, думая, что это тыква! Я тоже полагаю, что, если бы он задумывался, не постиг бы его такой конец. Между прочим, покойный дед Бахром был копией Мардона: какую бы старую бросовую вещь он ни находил, все тащил к себе домой — в хозяйстве, мол, пригодится. Помнишь, с каким трудом выманили у него ребята старую соху для школьного музея? Не это удивительно, а удивительно то, что в день смерти в его доме нашли все, что угодно, но не нашли двух метров ткани на саван, чтобы вернуть его тело, прежде чем положить в гроб. В тот ящик, который подводит итог всей жизни и соединяет бытие с небытием. Древние рассказывают, что Александр Македонский, умирая, завещал, чтобы его руки выпростили из гроба, дабы все увидели: он ничего не уносит

с собой. Уловил суть? Значит, мир завоевал, но покидает его с пустыми руками...

Коль ты мне друг, вернемся к моему гробу, который погрузили на арбу и повезли через всю деревню. И моя старуха, главная повитуха Сармаддеха, благодаря которой у всех есть дети, но сама она осталась бездетной, усердно плача и причитая, пойдет за арбой. К слову должен тебе сказать, что эта женщина, как будто бы нет другого пастбища, выбрала то самое, что находится за кладбищем, и я, злосчастный, вынужден ее поклажу и узлы с соленым сыром и пресным айраном возить взад-вперед по этой извилистой изрытой дороге. С ослом было бы легче управиться, да нужно сделать десять ездов, а с арбой один раз съездишь — и с плеч долой. Может, ты скажешь, что она не будет плакать, да и обычай не велит женщине за гробом идти. Не страшно, если плакать не будет, и что за гробом не пойдет — тоже не беда. Но она будет плакать и за гробом пойдет, ибо для нее я был неплохим мужем. Сам ты, что носишь голову на плечах, полагая, что это тыква, сам ты подумай. Мог я развестись с ней и взять себе другую жену? Мог. Но я этого не сделал. В чем виновата бедняжка? Что ж, сказал я себе, не уберегла она здоровье смолodu. Разве мы сами его берегли? Разве тогда мы думали о том, кто понесет наш гроб? Нет, конечно! Ибо покуда не споткнешься, хорошенько под ноги и не посмотришь. И вопрос «Кто понесет мой гроб?» не встает так ясно и остро, как в день чьей-либо смерти. Люди рождаются одинаково, в одних и тех же муках, но каждый умирает по-своему и от собственного недуга. Один уходит, подобно деду Шодмону, потому что настает его последний срок, другой покидает свет совершенно здоровым, как дед Кучак и старуха Нохид, третий умирает от несчастного случая, сорвавшись, например, как Дамдор, в пропасть, четвертый... вот четвертый, мой друг, умирает, подобно утопающему в море надежд хватаясь и цепляясь за травинку на берегу жизни, ибо в свое время не подумал о последних мгновениях своего земного пути, не спросил себя: «Кто понесет мой гроб?»

Короче говоря, мой гроб повезут на арбе через всю деревню, и сармаддехцы будут взирать на это диковинное шествие — кто с удивлением, кто с любопытством, кто с сочувствием... Что ни говори, я был не таким уж плохим человеком, чтобы мой гроб оставили без присмотра, хотя и стяжал я дурную славу благодаря кличке Сороколгун. Увидев, что смерть Холдора — правда без какой-либо... хм, без преувеличения, сармаддехцы один за другим присоединятся к диковинной процессии.

«Караван» выйдет из деревни, и как только он выйдет из деревни, должен будет переправиться по шаткому мосту через Кафкруд и выйти на дорогу, что ведет к кладбищу. Мосточек не так уж плох, спокойно выдержит осла с арбой, и только один выпирающий из скалы выпуклый камень немного опасен. Разве мало навьюченных ослов, натолкнувшись на него, полетели в речную пасть? Потому-то всякий раз, как веду твою арбу этой дорогой, я бываю очень осмотнительным, ведь недаром говорят: имущество людей — кровь людей.

Но, оказывается, мой друг, пока осел не поступит по-ослиному, его ослиная натура не успокоится! В верности этого изречения я сегодня убедился еще раз. С того самого дня, как человек прикрепил седло на спину онагра и стал понукать его палкой, повторяя «Ты — осел! Ты — осел!», этот бедолага превратился в конце концов в осла. Если для пробы оседлать кого-нибудь из людей и, то и дело понукая, говорить ему «Ты — осел! Ты — осел! Ты — осел!», то и он, без всяких сомнений, начнет лягаться и реветь по-ослиному. Уловил суть? То есть это наша вина, что такой прекрасный, да пригожий, да свободный зверь, охоту на которого сам Бахрам Сасанид считал царской привилегией, пре-

вратился в такую неуклюжую да бестолковую и вислоухую скотину. Поэтому осла за ослиное упрямство мы не можем осудить и послать на виселицу. Короче, какая ослу разница, чей гроб он везет — Холдора-Сороколгуна или Александра Македонского? Все равно упрется он в тот самый скальный выступ, точь-в-точь так, как сегодня уперся. И тогда нужен другой осел, дабы он собственными глазами увидел это ослиное упрямство и усвоил мораль; ибо тот, упирившийся, осел ни в какой морали уже не нуждается. Так слушай, коль ты мне друг, — сначала мой гроб, а затем и арба с ослом полетят прямо в пучину... А что ты так поbledнел? Скажи правду, арбу с ослом тебе жалко или мой гроб, исчезнувший в реке?!

Знаю, знаю, ты человек великодушный и не станешь сокрушаться из-за пустячных материальных убытков. И потому — погляди на могущество Божье — мой гроб вместо того, чтобы угодить прямо в водоворот, шлепнется чуть поодаль, на прибрежный песок. Остолбеневшие люди и не знают, что предпринять. Наконец кто-нибудь опомнится и скажет: а в чем, мол, вина этого бедняги, что ему выпала такая странная доля? Да-да, скажет он, в чем же грешен этот бедняга, если не считать, что порой он говорил правду, приукрашивая ее выдумкой? Уловил суть?

Четверо, спустившись вниз, поднимут гроб наверх, четверо других поспешат заменить их: и, чередуясь таким образом, меня доставят в страну безмолвия, положат в келью вечного покоя и засыпят землей. Рядом с множеством других холмиков в том краю, откуда нет возврата, появится еще один. В эту минуту кое-кто, глядя на этот нонный холмик, испустит легкий вздох, как будто исполнив тягостный, но неизбежный долг, а кое-кто волей-неволей задумается над конечным вопросом собственного существования: «Кто понесет мой гроб?» Ибо человеку не хочется, попав в келью безмолвия, вот так, безымянно и бесследно, исчезнуть. В старости смерть пугает человека и кажется зловещей. Однако этот конечный пункт всего нашего земного пути неизбежен, как закон жизни и природы. Каждый, кто понял это, достойно встретит свою смерть. Одним словом, честь и хвала тому, кто отведенный ему жизненный срок тратит весело и разумно. Уловил суть?

Я всю жизнь был веселым человеком и своими небылицами призывал людей быть такими же. Сам я получал удовольствие от собственных выдумок, и жизнь казалась мне упительной и необыкновенной. Я очень хорошо усвоил одну вещь: человек, чью душу переполняет радость, сам того не замечая, приобщает к своей радости и других; и, возможно, смысл человеческой жизни как раз в том, чтобы, как говорит Бобуна — внучка старухи Нохид, «быть счастливым самому и делать счастливыми других». Уловил суть?

Коль ты мне друг, вернемся снова к истории моего гроба, который опустили в могилу, забросали землей, прочли заупокойную молитву и приготовились встать. Так вот, в это самое время, как велит обычай, пойка\* спросит у людей: каким, мол, человеком был покойный?

Но на этот вопрос ответить очень трудно, мой друг. Ведь мы, прожив сто лет рядом, в один прекрасный день обнаруживаем, что не знаем друг друга. Такой уж мы народ, что оцениваем человека по достоинству лишь после его смерти, то есть каждый из нас ничтожен при жизни и дорог после смерти, мой друг, «Как жаль! Не человек был — цветок!» — говорим мы об умершем, хотя сами при жизни прозвали его Верблюжьей Колючкой. Помнишь, как мы осуждали Бобокучака

\* *Пойкор* — человек в квартале или селении, обязанность которого — оповещать и приглашать людей на свадьбы, похороны и т. д.

за то, что он сует свой нос всюду: куда надо и не надо. После его смерти селевым потоком снесло мост, и починка затянулась на целый год. Разве Бобо, будь он жив, позволил бы нам слоняться, почесывая затылки? Или возьмем старуху Осуду. Она казалась обыкновенной старушкой, и нам было все равно, существует она или нет. И стоило ей умереть, как заболела внучка Шери Хола. Покуда мы спохватились, засутились, привезли доктора, бедняжка скончалась. Тогда-то мы поняли, что покойная старуха всеми ее допотопными снадобьями и незаметным трудом спасла жизнь не одному человеку...

Так вот, пойка спросит людей, дескать, что за человек был покойный Холдор, и все опешат и со стыдом признаются себе, что не знают, каким человеком был покойный, да никогда и не задумывались над этим. Но пойка ждет ответа и — хочешь не хочешь — нужно что-то сказать. И вот тут Шери Хол, этот шут и прилипала, который на плечах носит голову, полагая, что эта тыква, не выдержит. «Стать мне камнем, коли вру, стать мне прахом, коли вру! Хотите верьте, хотите нет, покойник был таким человеком, какого не припомнит история!» Люди на секунду растеряются, а затем придут в себя. Представят себе покойного Холдора и не смогут сдержать себя, как бы они ни старались... Уловил суть?

Я вижу, что от смеха у тебя слезы выступили на глазах, значит, уловил. Скажи мне теперь, как сообщить главной повитухе Сармаддеха, чтобы она не подняла на ноги всю деревню, — что ее поклажа и узлы вместе с твоей арбой и ослом оказались на дне реки?

## ЯЗДОН-МЕЧТАТЕЛЬ

Дурачок Шошо со всех ног кинулся в деревню. Первый, кого он встретил, был дед Мардон. Дед косил траву на своем лугу. Так старательно косил, так чисто и неспешно, что, покуда он добирался до края поля, трава за его спиной успевала вырасти до второго укуса.

Дед Мардон поднял голову и удивленно взглянул на испуганного Шошо.

— Померла, — выдохнул Шошо.

Дед Мардон отложил серп в сторону, сложил ладони для молитвы: «Да простятся ей грехи, да будет ей место в раю».

— Кто умер? — тихо спросил он.

— Корова Рыжего Яздона. Поганой издохла.

— Храни тебя Бог, дурачок, — пробормотал дед Мардон и снова взялся за серп.

Шошо побежал дальше. Рыжего Яздона он нашел на колхозной меже — тот растянулся на траве, натянув на голову ватный халат. Таков был его обычай: если жена поручала ему дело не по душе, или у него не ладилась торговля на базаре, или он продешевил товар, или, поссорившись с кем-нибудь, потом раскаивался... он забивался в укромное местечко и ложился, натянув на голову свой ватный халат. Вот и сегодня он сбежал сюда от ворчания жены — его жена не могла не брюзжа прожить и дня, — растянулся на траве и немного помечтал: дескать, хорошо бы, коль зазеленели бы эти пожухшие травы на межах, или полил бы весенний дождик и превратил весь мир в зеленые луга, или хотя бы сель смыл вот этот шаткий мостик и избавил меня от обязанности отводить корову в те дали.

Дело в том, что жена каждый день чуть свет будила его от сладкого сна, вручала ему коровью привязь и отправляла на другой берег реки, а спустя час, вспомнив о корове, заставляла Яздона вернуться туда и перевести ее на новое место.

И Яздон, выйдя из дому, сядил на этой вот меже. Сидел и мечтал...

Но пожухшие травы не зеленели, дождь не лил, сель не шел... Тогда-то Рыжий Яздон растягивался на меже, натянув на голову свой ватный халат.

В селении его прозвали Яздон-Мечтатель, ибо он только мечтал и ничего не делал, а жену его — Черная Ороста, ибо, начав браниться, она в мгновение ока, на одном дыхании, успевала очернить своего врага и весь его род до седьмого колена. Если она замечала, что кому-то весело, то искала повод разбередить у весельчака старые раны, донимала его беспочвенными попреками и не успокаивалась до тех пор, пока ей не удавалось подсыпать ему соли в рану. Будь в ее силах, она и солнце облила бы грязью... Иногда ей не удавалось отыскать повода для ссоры — тогда она неделями мучилась и наконец поднималась на крышу и там, не желая допустить, чтобы ее враги жили в свое удовольствие, простирала над деревней руки вроде острых клинков и единым духом выпаливала все грехи, совершенные ее врагами с пеленок и до сего дня, и только тогда спускалась вниз... Потому-то многие сомневались, в здравом ли она уме.

Шошо помедлил, прочистил горло. Яздон шевельнулся, приподнялся, наконец, сел и только потом воззрился на Шошо: поднял голову — может, он с неба свалился? — прощупал взглядом землю — может, вырос из-под земли?

— Ну-у? — выжидательно протянул он, только мог и не говорить, ибо Шошо уже набрал полную грудь воздуха, чтобы выпалить все единым духом, как Черная Ороста.

Однако Яздоново «Ну-у?» умерило его пыл.

— Ты хорошо привязал корову или нет?

— Ну?

— Переводил ее на новое место или нет?

— Ну?

От «нуканья» Яздона Шошо смешался и сказал:

— У Разрыв-Валуна твою корову задрали волки, вот тебе и ну!

— Ну? — повторил Яздон-Мечтатель и вдруг, ахнув, вскочил с места, разом побледнев, как полотно. — Поклянись!

— Ей-Богу!

У Яздона-Мечтателя подкосились ноги, и он бессильно опустился на землю, представив себе Черную Оросту, рвущую на себе волосы, с исцарапанным в кровь лицом.

Яздон-Мечтатель имел много больших и маленьких желаний, но была у него одна заветная мечта, о которой никто не догадывался. Он мечтал превратиться в воробья, мечтал летать, мечтал попасть в какой-нибудь теплый край; ему хотелось, чтобы в том краю всего было вдоволь, чтобы он мог там досыта наестся, а потом вздремнуть на мягком холмике под теплым солнышком и чтобы никто не нарушал его сон. Чтобы в том краю не было табачных полей, не было бригадиров, не было коров, не было Черной Оросты, чтобы он там был сам себе царь, сам себе указ...

Это была его детская мечта, только в детстве были другие «не»: чтобы не было учителей, не было уроков, не было ни домашних дел, ни полевых работ. Другие свои сердечные желания он каждый день, дополняя новыми подробностями, откровенно и без утайки рассказывал людям. И эти его байки давно опостытели всем. Но никто не догадывался о самой главной его мечте.

Сейчас, сидя без сил на колхозной меже, Яздон-Мечтатель позабыл обо всех своих желаниях, кроме главного. Да разве это жизнь, когда твою корову, купленную за тысячу рублей, скопленных за три

года, средь бела дня загрызает волк и, не сказав «спасибо», удирает, оставив тебя в когтях великой беды по имени Черная Ороста?

Вдруг Яздону почудилось, что с Верхнего Конца донесся вопль Оросты. Да что это за жизнь, если корову сожрал волк, а Ороста за это загрызет его самого да еще обвинит его в существовании такого едока, как волк? И что это за жизнь, когда в селении есть по меньшей мере сто коров, а волк будто нарочно искал, нашел и разорвал именно его корову?

Ороста приближалась, громко причитая и черня весь род своего обжоры до седьмого колена, кляня свою несчастную долю за то, что ей достался такой муж: да разве мужчины на свете перевелись, или звезда Яздона скатилась с небес, или мои глаза были слепы? Жаль, попусту прошла моя молодость — так и не увидела я светлого дня; жаль, понапрасну увяла моя красота — так и не изведала я ласки; жаль, по ветру развеялись мои мечты — так и не сбылись они...

Рыжий Яздон имел две руки и две ноги, но сейчас, казалось, разом лишился всех своих конечностей; он был высок, статен и привлекателен, но сейчас, казалось, весь истаял от унижения и бессилия и показался сам себе таким ничтожным, что вдруг превратился в воробья. Это превращение было столь внезапным и неожиданным, что он остолбенел и довольно долго оставался недвижим. Потом пришел в себя, расправил перышки, вспрыгнул, захлопал крылышками и... полетел. Сел на ближайший плетень и уже хотел было сказать Оросте, чтобы смутить ее, несколько крутых и едких слов — она как раз шла мимо, проклиная Яздона и весь его род до седьмого колена, — но ничего другого, кроме «чик-чирик», он не смог выжать из себя. Это расходилось с его душевным желанием, так сильно расходилось, что его воробьиное сердечко бешено заколотилось, ножки ослабли и он чуть было не свалился с плетня.

Ороста же, дойдя до облюбованной Яздоном межи и не обнаружив его на месте, но узнав сиротливо лежащую одежду, заголосила и запричитала, решив, что муж утопился в реке. Она простила волку его вину и даже готова была преподнести ему и телянка — с условием, что Яздон не утопился, а притаился где-то, — упоминала лучшие качества Яздона — услышав о себе такое, он пожалел, что превратился в воробья, — и звала его, умоляя не ребячиться.

Из ближайших домов стали выглядывать люди и заспешили к меже, спрашивая, что случилось. Фармон Мурод успокаивал Оросту: дескать, такой смельчак, как Яздон, не мог утопиться, он скорее всего притаился где-нибудь, намочив от страха штаны. Яздону нелегко было выслушать такое оскорбление в свой адрес, но сейчас у него не было иного выхода, как несколько раз возмущенно прочирывать от обиды.

Однако Ороста все причитала и причитала, прижимая к лицу одежду Яздона, и людям не удавалось успокоить ее. Потом встревожились и они, не зная, куда мог запропасться совершенно голый Яздон. Четыре человека пошли вниз по берегу реки, другие отправились прочесывать окрестности, но и следа пропавшего Яздона не нашли...

Ороста, сидя на террасе своего дома, положив перед собой одежду Яздона, голосила на всю деревню. Соседки, пришедшие утешить ее, видя, как она убивается, вспомнили собственные горести и беды и, обхватив плечи Оросты, громко голосили, облегчая себе душу.

Яздон наблюдал все это из-под стрехи террасы и нетерпеливо чирикал. Поднятая им суматоха принимала серьезный оборот. Что там ни говори, а он и думать не думал, что жена будет так убиваться по нему, и, видя сейчас, как она горюет, он бился клювом о столб террасы, раскаиваясь в своем поступке.

К полуночи соседки разошлись одна за другой, и Ороста осталась одна. Осталась одна и облегченно вздохнула, выбрала своего мужа-неудачника, потом поставила чай, принесла кайлу\*, которую даже Яздону не давала — берегла для гостей, и с аппетитом начала есть. С таким аппетитом ела, что Яздон вспомнил, что у него во рту давно не было и просяного зернышка.

Яздон опешил, словно его окатили холодной водой. Он был рад, что оборотился в воробья. Завтра на рассвете он улетит в какой-нибудь теплый край. Туда, где всего вдоволь. Где можно досыта поесть, а потом вздремнуть на мягком холмике под теплым солнышком, и никто не нарушит его сон. Сам себе царь, сам себе указ. Подальше от этих лживых людей!

Близко мяукнула кошка...

Беднягу Яздона бросило в дрожь: как мог он забыть о врагах воробья, теперь уж надо быть настороже. Покуда ты был Яздомом, ты мог пинком отбросить кошку, а теперь ты воробей и для нее лишь — лакомый кусочек. Яздон успокоился только тогда, когда убедился, что убежище надежно защищает его от когтей кошки.

Ороста проснулась с петухами и захлопотала о завтраке. «Знает, что весь день будет притворяться опечаленной и не возьмет в рот ни крошки», — с досадой подумал Яздон. Разумеется, хорошенько поев, Ороста убрала скатерть, вышла на террасу и начала голосить. Услышав ее причитания, одна за другой приходили заспанные соседки и присоединялись к ней, но, так как было еще темно и их слез никто не мог увидеть, они только причитали, слез же не проливали: слезы они берегли для дня.

Яздон видел все это из-под стрехи, и обида его росла, а в душе крепло желание побыстрее покинуть это селение и оказаться в каком-нибудь теплом краю. Подальше от лживых людей!

С первыми лучами солнца он уже летел над деревней, вдоль дороги, и чирикал.

Оставив деревню далеко позади, он опустил на валун, расправил свои перышки и хотел уже насладиться солнечным теплом, как вдруг его накрыла чья-то тень, его опажнуло резким ветром — и очнулся он уже в воздухе, в цепких когтях кречета. Кречет так крепко держал Яздона, что у того трещали косточки, дыхание сперло, и в эту минуту он тысячу раз пожалел, что превратился в воробья, попреки и грызня Оросты показались ему целебным бальзамом, а его, Яздоново\*\*, житье — райской жизнью...

Кречет сел на край пропасти и клюнул Яздона в голову. Да так клюнул, что Яздон с воплем из воробьиного перешел в свое естественное обличье и нашел себя сидящим на меже, а Шошо — удивленно взирающим на него.

Рыжий Яздон, по прозвищу Мечтатель, отчаянный храбрец, набрался смелости и спросил у Шошо, глядевшего на него во все глаза:

— Говоришь, корову волк разорвал?

— Да, у самого Разрыв-Валуна...

— Ну и черт с ней, не переживай!

Сказав это, Яздон снова растянулся на меже, натянув на голову свой ватный халат.

## ШОШО

На его плечах покоились две звезды. Порой одна из них, покинув свое пристанище, уходила немного вперед и, уподобившись живому глазу, мигала, будто манила за собой, дескать, иди-иди, и Шошо шел

\* *Кайла* — жаренное кусочками мясо, залитое жиром.

\*\* *Яздон* — Бог, Господь.

вперед. Шла вперед и звезда. Шошо останавливался, и звезда тоже останавливалась и снова мигала, иди, дескать, иди, и Шошо шел за ней...

Звезда обходила селение, Шошо тоже обходил селение; звезда подымалась вверх по склону, Шошо тоже подымался вверх по склону; звезда шла не разбирая дороги, Шошо тоже шел не разбирая дороги; звезда спускалась вниз, Шошо тоже спускался вниз; звезда кружила около дома деда Джовида или дома матери Шошо, Шошо тоже кружил возле этих домов...

В конце концов уставала звезда, но не Шошо. Звезда, как бы порывшись своему спутнику, возвращалась и располагалась на прежнем месте, и Шошо тоже немного успокаивался...

Вообще-то его настоящее имя было Шодмоншо, но в селении все называли его Шошо, и он не обижался, ибо считал жителей деревни тяжелобольными, а себя — лекарем.

Когда матери, пытаясь успокоить своих ревуших малышей, говорили им: «Замолчи, а не то придет Шошо», — он смотрел на них с глубоким сожалением.

Когда девушки пугали своих капризничающих братишек, приговаривая: «Ешь быстрее, а не то явится Шошо и все начисто съест», — он смотрел на них с глубоким сожалением.

Когда учителя отчитывали своих нерадивых учеников словами «У тебя ума меньше, чем даже у Шошо», — он смотрел на них с глубоким сожалением.

И все же он никогда не обижался на односельчан, подобно тому, как влюбленный не обижается на шалости возлюбленной, как врач не обижается на капризы больных, как пастух не сердится на бездумное блеянье овец.

«Лекарь» Шошо ходил по селению и испытующе вглядывался в жителей: не дай Бог кто-нибудь снова захворает!

В такие минуты к нему начинали цепляться мальчишки.

— Шошо, — говорил один из них, — у меня болит голова.

Шошо всерьез брался исцелить «заболевшего». Он сначала ощупывал «больную» голову, а потом начинал ласково-ласково массировать ее. Да так ласково растирал, что мальчишка не выдерживал и прыскал со смеху.

— Смех — признак здоровья, — радовался Шошо, — ты поправился. Но дети никак не унимались.

— Шошо, у меня в груди что-то шевелится, — жаловался еще кто-нибудь.

— Шошо, у меня в жилах что-то мечется, — притворно ужасался третий.

— Шошо, на моих плечах появилось по звезде, — наклонял плечо четвертый.

После этих слов Шошо огорчался, сильно огорчался. Мальчишки, вмиг почуввав это, с гиганьем рассыпались в разные стороны, ибо Шошо впадал в странное состояние. Лицо покрывала бледность, губы начинали дергаться, глаза расширялись, по телу пробегала дрожь, и он, уставившись глазами в какую-то точку над головой, пускался в путь.

Ребятишки бегом разносили по всему селению свежую новость:

— К Шошо вернулась болезнь!

— У Шошо опять приступ!

Откуда-то прибегала мать и с горьким плачем уводила Шошо домой.

После этого в течение нескольких дней никто в селении не видел Шошо.

— Шошо стал отшельником, — шутили взрослые.

— Сармадех остался без врача, — дурашливо охали мальчишки.

— Странно, Шошо опять пропал, — сокрушенно вздыхала Бобуна. Бобуна заметила, что всякий раз при встрече с ней Шошо довольно-таки странно ведет себя: теряется, краснеет и в конце концов в замешательстве убегает. Иногда Бобуна чувствовала, что он украдкой следит за ней — когда она ходит за водой к роднику, когда она вышивает, сидя на террасе или на кровле дома, когда она читает, растянувшись в тени под ивой. Это ей не нравилось, она даже побаивалась, но успокаивала себя тем, что безумие Шошо совершенно безобидно. Постепенно Бобуна привыкла к этой слезке, подобно тому, как привыкают к картине на стене спальни, как привыкают к любопытным взглядам старушек, восседающих на кровлях деревенских домов.

Но Шошо ей было искренне жаль.

Когда Бобуна видела, как стоит он, задумавшись, низко опустив голову, ей становилось жаль его.

Она спрашивала Шошо, о чем, дескать, ты задумался? Но ни слова не слышала в ответ.

Когда он, выйдя из дому около полуночи и уставившись в точку над головой, брел в сторону гор, а несчастная его мать, босая и простоволосая, бежала следом, умоляя его вернуться, Бобуне становилось жаль их обоих.

Она спрашивала Шошо, почему, дескать, ты не жалеешь мать — бедняжка идет за тобой, босая и простоволосая, и просит тебя вернуться, а ты не слушаешь ее, неужто ты такой бессердечный?

Когда Бобуна упрекала Шошо в бессердечии, по его телу пробегала дрожь, а глаза наполнялись слезами, но и тут он ничего не говорил.

Как-то, слушая наставления старухи Майсы, Шошо вдруг решил, что на его плечах с двух сторон приютились две звезды. Они, по его словам, указывают судьбу двух лучших людей Сармаддеха. «А я, — сказал он, — их хранитель. Иногда одна из них срывается с места и уходит далеко вперед, а я иду следом за ней, пока не верну ее на место. Если я не сделаю этого, судьба разгневется на того человека и его постигнет беда, страшная беда».

«Чью судьбу указывают твои звезды?» — спрашивал кто-нибудь, но Шошо не отвечал. Если же человек не отставал, Шошо просто уходил. Его поведение разжигало острое любопытство у иных жителей селения, они во что бы то ни стало хотели вырвать тайну у безобидного дурачка. Но все их усилия были напрасны.

Шошо тщательно оберегал свою тайну от всех, даже от матери. Впрочем, его бедная мать и не пыталась проникнуть в его тайну, она только проливали слезы о своем больном сыне — то украдкой проливали, то без утайки.

А Шошо обходил селение и вглядывался в людей: не дай Бог к кому-то вернется недуг!

Со временем в селении стали происходить такие удивительные события, что симпатия Бобуны к Шошо начала расти. Бобуна услышала, что будто бы Шошо, раздобыв где-то саженец арчи, посадил его на могиле деда Кучака, и деревце принялось. И еще она услышала, что будто бы Фармон Мурод, наломав веток на серебристом тополе и нарезав черенки, высадил их на делянке старухи Майсы, чтобы вырастить для собственных нужд. Застав чуть свет Фармона Мурода за этим занятием, Шошо будто бы спросил: а что ты, мол, делаешь? Фармон Мурод уклончиво ответил, что, дескать, от одной матери хочу получить сотню детей. После полудня Фармон Мурод увидел Шошо за таким делом: безумец выдерживал друг за другом черенки и отбрасывал их подальше от участка старухи Майсы. Вздвигнувшись, Фармон Мурод спросил: а что ты, мол, делаешь? Сотню детей превращаю в одну мать, будто бы уклончиво ответил Шошо.

Когда Навбахт рассказал все это Бобуне, она долго смеялась и, встретив назавтра Шошо на берегу реки, намекнула ему, что, мол, приходи, я подарю тебе часы, — их, видно, потерял какой-то приезжий в ущелье Сармаддара, а я нашла.

Но Шошо не пришел.

«Или боится, или стесняется», — подумала Бобуна.

И в тот самый день, когда Бобуна сказала: «Странно, Шошо опять пропал», — в деревне произошло всполошившее всех событие.

Ночью Шошо, снова уставившись в какую-то точку над головой, ушел в сторону гор. Мать его тяжело болела и не могла пойти за ним, но ее причитания услышала старуха Майса и послала на поиски Шошо добрых людей. Но сколько те ни кричали, сколько ни звали — ответа не дождалась; как ни искали — пропавшего не нашли. Нежданные вопли, долетевшие из селения, заставили их вернуться. Дома они узнали, что скончалась мать Шошо.

Сармаддех не помнил столь глубокой скорби по умершему. Впечатление было такое, будто всех жителей селения связывало кровное родство с одинокой матерью Шошо. Все молодые люди в знак траура препоясались и взяли в руки посох, все молодые женщины оделись в траур.

Шошо в день похорон матери не было видно. Несколько человек, отправившиеся чуть свет на его поиски, вернулись ни с чем. Старики посоветовали все же предать усопшую земле, после чего люди помоложе могут вновь идти в горы — искать Шошо.

Два долгих дня прочесывали посланные все склоны и холмы, все ущелья, овраги и пещеры, но Шошо нигде не было: он бесследно исчез.

На третий день после похорон он вдруг сам явился в деревню — в изорванной одежде, сгорбленный, осунувшийся и побледневший, будто проделал он большой, тяжкий путь. На расспросы людей, где он был и что делал, Шошо ни слова не отвечал, только то и дело судорожно тянулся к правому плечу и ощупывал его, словно что-то потерял. Его спрашивали, что ты, мол, ищешь, но он все так же молчал.

— Пропала звезда моей матери, — сказал он как-то присматривавшей за ним старухе Майсе, — поэтому и ее не видно... Хоть бы нашлась звезда, тогда и мама вернется...

— Дай Бог, чтобы нашлась, — молитвенно произнесла старуха Майса, вытирая свои потухшие, слезящиеся глаза.

— Шошо, где ты пропал? — кокетливо спросила его Бобуна при первой же встрече. Девушке показалось, что Шошо вздрогнул всем телом и покраснел. Она поняла неуместность своего тона и, как бы извиняясь, сказала:

— Больше, говорю, не приходишь к нашему дому.

— Приду, — пуще прежнего покраснев, вымолвил Шошо. — А ты хочешь, чтобы я приходил?

— Конечно, хочу.

— Тогда я приду.

Но Шошо не приходил. Бобуна больше его не видела, не чувствовала на себе его неотступного взгляда. В селении Шошо тоже редко попадался на глаза. Сведущие люди утверждали, что он собирается возделывать осиротевшие участки своей матери и старухи Майсы.

— С исцелением людей ничего не вышло, так он взялся за земледелие, — шутили жители деревни.

— Как ни старайся, не поймешь, какой прок в таком земледелии, — говорил Шери Хол, почесывая в затылке. — С рассвета до полудня Шошо собирает и выносит камни с поля, с полудня до вечера перетаскивает их обратно.

— Мне кажется, к нему вернулась болезнь, — сказал Навбахт Бобуне, — но в этот раз в иной форме.

— Бедняга, — сказала Бобуна, — ничего-то в жизни он не видит, а если и видит, то не понимает, что к чему.

— Отчего же? Понимает, но в пределах своего безумия.

— Хотелось бы мне побывать в тех пределах, чтобы знать, как потом с ним обращаться...

Через день жители деревни узнали, что Шошо решил, наконец, как быть с камнями, — он отнес и разбросал их на участке Фармона Мурода. Услышав об этом, Фармон Мурод налетел на Шошо с кулаками, хорошо, что люди подоспели на помощь и вырвали несчастного из рук разъяренного односельчанина.

Когда Бобуне рассказали про этот случай, ей стало жаль Шошо, и она пошла к старухе Майсе проведать его.

Шошо лежал в постели с обвязанной головой. Лишь только он увидел Бобуну, глаза его наполнились слезами, но, словно устыдившись своей слабости, он тотчас вытер глаза и виновато посмотрел на нее.

— Не горюй, Шошо, — попыталась утешить его Бобуна. — Он тебя бил за твою чистоту, а вовсе не потому, что ты разбросал камни на его жнивьё.

— Он болен, тяжело болен, но болезнь его неизлечима, потому что...

Шошо пожевал губами, но, заметив ободряющий взгляд Бобуны, добавил:

— Потому что у него нет своей звезды...

Бобуна, слышавшая о звездах на плечах Шошо, рассудила, что тут ей разумней промолчать.

Однако Шошо, видно, хотелось поговорить.

— У тебя, Бобуна, много звезд. У тебя столько звезд, что я всякий раз теряю им счет. Ни у кого в нашей деревне нет так много звезд. У меня было только две звезды, одна указывала судьбу моей матери, но она сорвалась и пропала... Теперь у меня одна-единственная звезда...

«Видно, эта звезда — знак судьбы старухи Майсы», — подумала Бобуна. Как бы подтверждая ее мысль, Шошо сказал:

— Да и та звезда едва держится...

Шошо умолк, и в комнате установилась неловкая тишина, но вскоре ее нарушил суховатый голос Шошо:

— Да и та звезда едва-едва держится... а потом...

Шошо снова замолчал, и Бобуна вместе со старухой Майсой в один голос спросили:

— Что же?! Что потом?!

— Потом я сам превращусь в звезду...

На его плече оставалась одна звезда. Порою и она покидала свое пристанище и уходила вперед. И, уподобившись живому глазу, мигала, будто манила за собой, дескать, иди-иди, и Шошо шел вперед, шла вперед и звезда. Шошо останавливался, и звезда тоже останавливалась, и, уподобившись живому глазу, снова мигала...

Звезда обходила селение, Шошо тоже обходил селение; звезда подымалась вверх по склону, Шошо тоже подымался вверх по склону; звезда шла не разбирая дороги, Шошо тоже шел не разбирая дороги; звезда спускалась вниз, Шошо тоже спускался вниз; звезда кружила около дома деда Джовида, Шошо тоже кружил около дома деда Джовида...

В конце концов уставала звезда, но не Шошо. Звезда, как бы покорившись своему спутнику, возвращалась и располагалась у него на плече, и Шошо тоже немного успокаивался...

Но однажды случилось так, что в дом деда Джовида пришли сваты, и он, сложив ладони для молитвы, дал свое благословение, и душевное равновесие Шошо снова было нарушено.

— Шошо, у меня болит голова.

— Шошо, у меня в груди что-то шевелится...

— Шошо, а у меня по жилам что-то струится...

Но Шошо никого не замечал. Уставившись в какую-то точку над головой, он пустился в путь.

— К Шошо вернулась болезнь, — снова разнесли весть по селению мальчишки.

Бобуна опечалилась, опечалились жители селения, опечалились горы и ущелья. Несколько человек отправились следом за Шошо и силой привели его назад.

Однако в ночь свадьбы Навбахта и Бобуны Шошо снова исчез.

Наутро кто-то вспомнил, что видел Шошо: тот подымался вверх по склону горы, уставившись в какую-то точку над головой. Еще кто-то вспомнил, что видел Шошо: тот сидел на краю крыши, не отрывая глаз от неба. Третий вспомнил, что видел Шошо: тот куда-то спешил, а старуха Майса, плача, шла за ним...

Люди отправились на поиски Шошо. Три дня обыскивали они горы и холмы, обыскивали пещеры и ущелья, но и следа его не обнаружили нигде. Кто-то предложил привести собаку-ищейку и по запаху отыскать Шошо — живого или мертвого.

Из города прибыл милиционер. Не один — с ищейкой. Собака обнюхала обувь Шошо и взяла след. За собакой по пятам шли стар и млад, старики и юноши, мужчины и женщины Сармаддеха, словно безумец Шошо был их друг, их брат, их сын, их кровный родственник.

Собака обошла деревню, люди тоже обошли деревню; собака поднялась вверх по склону, люди тоже поднялись вверх по склону; собака спустилась вниз, люди тоже спустились вниз; собака долго петляла вокруг дома деда Джовида, люди тоже долго петляли вокруг дома деда Джовида; затем собака направилась к дому Шошо, люди — следом за нею.

Собака поднялась на кровлю дома, собака остановилась на краю крыши, собака задрала морду вверх, собака уставилась в небо и... завывала.

Стар и млад, взрослые и дети, мужчины и женщины Сармаддеха подняли глаза к небу и... застонали.

Одной звездой на земле стало меньше, одной звездой на небосклоне стало больше...

## МОНОЛОГ СТАРУХИ ОСУДЫ

Вот и солнце взошло. Выйди я чуть раньше, оно бы не застигло меня в пути. Впрочем, для моих костей, высохших, как щепка для растопки, тепло только на пользу. Для костей старухи Майсы оно тоже полезно, да только она не пошла со мной. Бедняжка, она уже не в силах двигаться. Ну и время же нашла помирать эта старуха Жола, в самый разгар лета, да еще на летовке. Кого сейчас разыщешь: один на покосе, другой спустился в долину выращивать табак, третий ушел на заработки, четвертый повез картошку на рынок... Удивительное настало время: умрешь не вовремя — и бросят тебя на произвол судьбы. Хоть проси отсрочки у смерти: потерпи, мол, не спеши, приходи зимой, ибо сейчас племя человеческое разбрелось кто куда... Коль уж умирать, то умереть бы весной! Или с первым зимним снегом! Как умер мой старик. Ай, в такой день умер, что все завидовали. Снег ковром лег до самого кладбища. С утра снега не было, а после заупокойной молитвы как начал сыпать... И шел-то он только на пути от порога нашего дома до самого кладбища, выше кладбища снега тоже не было. Душа у старика был светлая, вот и покрыло белым черную дорогу. У деда Шодмона тоже вроде светлая была душа, но в день его смер-

ти грянул град, да какой — каждая градина с тыкву! Ай, лгать тоже надо в меру... Просто градины были крупнее обычного, вот и показалось нам, что они величиной с тыкву. Кстати, в прошлом году дед Яздон посадил тыкву, и так как он человек добросердечный, то тыквы уродилось видимо-невидимо, всюду была тыква. Если бы ту же тыкву посадил Фармон Мурод, семя бы не проросло, а если и проросло, то всходы побило бы червями. О Махмуде\*, приносившем несчастье, древние говорили: если даже к реке Махмуд придет, от воды тотчас дым пойдет. Говорят, средний сын деда Яздона тоже пишет стихи. Теперь люди стихи пишут, а поэты прошлого их творили. Строка вмещала тяжесть горы Шанобурз, поэт почитался пророком. Покойный старик говорил: стебель моего стана переломился! Так он, бедняга, отзывался о болях в пояснице. От таких жалоб у меня ныли все кости... Состарились мы с вами, косточки мои, а то бы вы не разнылись так, когда еще и половина пути наверх не пройдена. Теперь я вынуждена отдохнуть. Ай, что скажут люди, если увидят меня здесь! Мол, старуха Осуда застряла на полпути к вершине. Желая вам прожить столько, сколько прожила старуха Осуда, и не застрять в самом начале подъема. Люди в нынешнее время ну прямо скелеты, прости меня Господи! Прежде мужики были — каждый, как гора. Да взять хотя бы покойного Шапура — взвалил как-то на спину себе двухсоткилограммовую кадку с маслом и нес от магазина до самого Сари Хавза. А теперешние скелеты и вдесятером не поднимут ту кадку с маслом. Или тот же брат моего покойного мужа, Хол, какой был богатырь! Никогда не забуду, как он во время состязания борцов, когда в пятку ему вонзилась колючка, одной рукой поднял противника, а другой рукой вытащил колючку и потом продолжал бой как ни в чем не бывало. Нашла же время помирить эта старуха Жола! Она еще в середине зимы лишилась речи, и мы подумали: все, она готова отправиться в последний путь, между нами говоря, добрые люди даже могилу ей вырыли на всякий случай загодя, учитывая, что земля крепко-накрепко промерзла. А она оказалась живуча, снова заговорила. Да еще как заговорила! Раньше всех на летовку перекочевала! И вот, пожалуйста, надо же было в самый разгар лета помереть! Кого сейчас найдешь: один на покосе, другой спустился на равнину выращивать табак... Правду говоря, до чего же противное растение — этот самый табак! Я просто задыхаюсь, когда иду мимо поля. Дай Бог здоровья тем мужикам да бабам, что работают на полях. С того дня, как это растение появилось в нашей деревне, здесь больше не показывается ни один соловей. Да что говорить, прежде, бывало, по вечерам и рано поутру сидишь на кровле дома и слушаешь соловьиные трели — и на душе становится легко, так и кажется, что песня соловья жизнь тебе продлевает. Нынче же и ворон не пролетит над табачными полями. И откуда же взяться богатырям после этого? Когда, бывало, мой покойный муж — да будет его место в раю! — еще только приближался к деревне, звуки его шагов были слышны аж в самом доме. Хи-хи-хи... говорят, виноград, глядя на другой виноград, наливается, а сосед у соседа учится. Но чему, спрашивается, могла я научиться у моего соседа Холдора-Сороколгуна? Не хватало еще божиться, как он: стать мне камнем, коли вру, стать мне прахом, коли вру! Ха-ха-ха! Прости Господи, иду оплакать покойницу, а смеюсь, как девчонка. Что скажут люди, если заметят? Конечно, скажут, что у старухи Осуды мозги, мол, скисли. Вы как будто отдохнули, косточки мои? С вашего разрешения, можно встать? Ох! Стебель моего стана переломился! Пропавши пропадом этот радикулит, я старею, а он нет. Забавные же названия придумали люди для этих болезней: радикулит! грипп! менингит!.. ай,

\* Махмуд Газневи (970—1030) — правитель государства Газневидов с 998 года, сын раба Сабук-Тегина, захватившего трон Саманидов.

забыла, что там еще. В наше время и недугов было поменьше, и названий тоже. Ночами собирались мы на кровле дома и читали стихи да рассказывали истории и сказки. А жатва — чего стоила ночная жатва! Становились в ряд и косили под песни. Ай, дед Махробон так тянул, когда пел «В цветущем саду заиграл я на нае — разом цветы запылали вокруг...», что наши сердца полыхали в груди. Никогда не забуду я лиц жнецов в ту пору! Такие они были просветленные и добрые, что казалось: люди готовы броситься в объятия друг другу, пожертвовать собой ради других. Когда кто-то праздновал у нас свадьбу, веселилась вся деревня, когда к кому-то приходила беда, скорбела вся деревня. А теперешних людей не поймешь. Брат дуется на брата: зачем, мол, его корова объела траву на моем лугу; сын упрекает отца за то, что тот не купил ему желанную вещь, невестка учит свекровь, учитель просит прощения у ученика... Или же и прежде так было, да я не обращала внимания? Ну что, однако, поделаешь, старость ведь, иначе бы не была я так болтлива, а вы, мои косточки, не разнылись бы так. Потерпите еще немного, подъем скоро кончится, за ним на ровном месте — кладбище, заглянем туда ненадолго, проведем моего старика, а то он, бедняга, заскучал уж, наверное, в той тесной келье. Ну да ничего, сегодня старуха Жола переселится к нему. Правда, старуху эту он всегда недолюбливал. Ну да ладно, теперь — при общей-то судьбе — они помирятся, забудут прошлое. Старуху Жолу я и сама не жаловала: уж очень была ненасытна покойница, словно собиралась жить вечно! И что, спрашивается, потеряла ты на той летовке в твоём-то возрасте! Сидела бы смиренненько в деревне да благодарила Бога! Ай, да что же это со мной? — злословлю о покойнице. И это тоже, видно, примета старости, косточки мои. Или, может, еще чуть-чуть отдохнем, а? Не-ет, не выкайке к лени. Еще и четверть пути не пройдена. Вон старуха Майса избаловала свои кости — и у нее отнялись ноги, то же самое и с дедом Шером. Сейчас старуха Майса сидит на кровле своего дома и видит, небось, меня на этом подъеме, я ей кажусь маленькой черной точкой, видит — да радуется, что со мной не пришлось ей идти. Хотя нет, куда там ей видеть меня с ее подслеповатыми-то глазами! Вот нового председателя в колхоз опять прислали, одноглазого на этот раз. Не знаю уж, чего он ходит с повязанным глазом. У прежнего председателя были целы оба глаза — каждый с добрую пиалу! — и то не смог он поднять хозяйство. А что же собирается делать этот, с одним-то глазом? Сами они виноваты, что начинают за здравие, а кончают за упокой. Если уж посадили тебя на коня власти, так ты не пришпоривай, не мчись во весь опор, не то можешь свалиться в пропасть. Учиться нужно не у Яздона, что выращивает тыкву, а у Фармона, что имеет голову, подобную тыкве. Полюбуйтесь на этого пройдоху: почешет себе живот — живот наполнится, почешет спину — халат появится. Ай, я, кажется, перешла к нравоучениям. Это тоже примета старости, косточки мои. Поглядите вон на деда Шера — с утра до ночи читает мораль жене, когда она, бедняжка, могилой уже озабочена. Что ей за дело до его нравоучений? А старичок, видно, от нечего делать, все мелет и мелет языком. Мой старик вырезал ложки и миски из дерева и все подряд дарил жителям селения, всем дарил, кроме старухи Жолы. Та исходила злобой, сплетничала да оговаривала моего старика, что, дескать, он, будучи лесником, вытворял то-то и то-то. На самом же деле старушка цеплялась к моему сыну Навбахту, подозревала, будто бы он убил ее сына. Как только язык у нее повернулся такое сказать! Ее Дамдор отроду был бесчестен, непорядочность и убила его. Ладно, забудем прошлое, я не держу на нее зла, вот и на панихиду к ней иду, будь мой старик жив, он бы тоже пошел. И Навбахт услышит — придет... Уф, вот и добрались до кладбища, только вы, мои косточки, не в меру разнылись! Прямо как дед Шер. Не радуйтесь, сейчас передохнем около старика и

отправимся дальше. Где же его могила? На всем свете не сыщешь ничего более однообразного, чем наши могилы, — все одинаковые. Вот она, эта самая. Здравствуй, Муллагиё, лежишь себе, вытянувшись, и тебе уже дела нет до живых, больше уж не переломится стебель твоего стана, больше тебя не беспокоят — как это называлось... радикулит, да грипп, да менингит, больше уж никто не оговорит тебя да не посплетничает о тебе... Ай, знаешь ли ты, что Жола теперь тоже покойница? Через часок принесут ее к тебе. Таков, видно, мир: ни добрый не остается на земле, ни злой. Нет, ошибаюсь, тебя люди все время вспоминают, а Дамдора никто, кроме Жолы, не вспоминал, эх, что там ни говори, а мать... Да, между прочим, Навбахт наш женился, не нашла я времени, чтоб прийти к тебе сказать. Такую жену привел, что — тьфу-тьфу, не сглазить бы! — чистый ангел! Ты ее знаешь, это Бобуна, внучка старухи Нохид. Благослови ее Бог, мою невестушку, глину в руки возьмет — и та в золото превращается. Жаль, что ты их не увидишь! Эх, многого ты не видал... обо всем не скажешь! Будь побольше времени, я бы тебе порассказала. Лучше о себе скажу, по ночам не засыпаю, подремлю час-другой — и все. Может, это примета старости? Или... Ты, между прочим, любил поспать. Уф, не скучай, приду к тебе рано или поздно, да и куда я денусь, все здесь будем, сегодня вот Жола... Ай, буду болтать — когда попаду к ней на отпевание? Ладно уж, по возвращении побуду с тобой, сколько захочешь... Ой, в могилу этот радикулит, я старею, но не он. Теперь, Муллагиё, стебель моего стана тоже переломился. Ты не обижайся на меня, возьму-ка я этот посох с твоей могилы да отправлюсь потихоньку...

## ВДОВЕЦ

История эта давно позабылась. Помнил о ней лишь один старик — чернобородый мулла Бухарзад, да и он-то вспомнил случайно, ибо в ту пору, когда произошли изложенные здесь события, теперешний наш мулла был еще ребенком. В те далекие дни по всему свету гремела слава Бухарзада Первого, от чьих заклинаний оживали и вступали в схватку друг с другом половики из шкур животных. Все сармаддехские муллы с Каюмарсовых и Джамшидовых\* времен до самой эпохи Шерака Хола и Рыжего Яздона всегда упоминались в летописях под одним именем — Бухарзад, под этим именем они останутся и впредь, если, конечно, на их цветущее генеалогическое древо не найдет какую-нибудь напасть осень времен.

Поскольку нынешние поколения сармаддехцев помнят лишь двух последних Бухарзадов — старшего да младшего, то одного они называют Бухарзад Первый, а другого — Бухарзад Второй, хотя, как известно из истории, первые и вторые Бухарзады были зороастрийцами и огнепоклонниками и с трудом приобщились к истинной вере. Да-а, вздумай я написать историю этого рода, такая толстая книга выйдет, что... как говорит Холдор-Сороколгун, ее с трудом увезет арба, запряженная крепким ослом. Впрочем, двадцатый век ни мне не оставляет времени написать такую книгу, ни вам — прочитать ее. Так лучше выслушайте меня, я перескажу вам историю Вдовца, которую случайно вспомнил Бухарзад Второй и поведал сперва Рыжему Яздону, а потом и вашему покорному слуге.

Надо сказать, что мулла Бухарзад придирчиво читает все, что я пишу, и, случается, справедливо пеняет мне, что в своих сармаддехских историях о каждом жителе деревни я рассказал по несколько раз, а вот о такой уважаемой персоне, как он, даже не упомянул...

\* Каюмарс, Джамшид — легендарные цари Древнего Ирана.

Однажды Бухарзад Второй пригласил меня к себе, перебрал по кругу все девяносто девять бусин своих четок, а после начал рассказывать, что тогда, дескать, он был очень мал и воспринимал происшедшее глазами, а не разумом, да и время, богатое событиями, было щедрым на свет и мрак, и порой трудно было разобрать, где добро и где зло. Бывает, продолжал он, всемилостивый и всемогущий Аллах — умереть мне за его великодушие! — тихо и спокойно прогоняет через семь колен одного рода все атомы дурной крови, которые вы теперь называете генами, и приводит потом ее в волнение в жилах одного из представителей последующих поколений того же рода, чему я видел немало примеров.

У человека, о котором я расскажу, было какое-то другое имя, но, сколько помню, все звали его Вдовцом еще до того, как он впервые женился, чему я не перестаю удивляться и по сю пору, и это прозвище со временем заменило ему имя. Не знаю, кто были его деды и прадеды. Стоило ему появиться на улице, как мы, деревенские ребятишки, разлетались во все стороны с криками «Вдовец идет!» Взрослые тоже сторонились его; ни на свадьбы не звали, ни на поминки.

Вдовец был человек могучего сложения. Такую же стать я видел позже лишь у одного Хола-Силача. Должно быть, Творец создал Вдовца только для еды, работы и сна. Работал он как лошадь, ел как вол и спал как медведь — от самых ранних сумерек до третьих петухов.

Было ему лет сорок. Никто не знал, что у него на уме, но отыскался благодетель, который обвинил людей в черствости и равнодушии; дескать, эй, люди, неужто наступил конец света, исчезли любовь и милосердие, если на ваших глазах пропадает человек, одинокий и несчастный, и он, возможно, надеется на нашу с вами доброту и ласку, где же у нас совесть, за что мы лишили его определенной Богом доли? Неужто в селении не осталось доброго человека, желающего снискать благодарность одного из правоверных?

После этого случая собрались несколько доброхотов, приглядели старую деву в соседней деревне и послали к Вдовцу человека — разузнать его мнение на сей счет.

Вдовец же ну отнекиваться: дескать, сколько лет жил — не тужил, ни в ком не нуждался и нисколько не страдал от этого, не худо бы и оставшуюся жизнь прожить без лишних забот и хлопот. Однако посредник напомнил ему о старости с ее недугами и нуждой в посторонней помощи, упомянул об искушениях сатаны и великом грехе и склонил Вдовца к женитьбе. Однако, провожая посредника до ворот, тот неожиданно признался, краснея и бледнея, что не знает, что нужно делать с женщиной. Посланный с таким упоением и страстью стал рассказывать о том, как воркуют и целуются голуби, как переплетаются змеи, как ласково трутся шеями лошади, как выются друг над другом жуки, усиливая землетрясение первой ночи и карусель прочих ночей, что Вдовец стократ пожалел, что замешкался с исполнением столь благого дела.

Спустя неделю сыграли свадьбу, совершили брачный обряд и старую деву из соседней деревни вручили нашему Вдовцу. Первая брачная ночь прошла мирно, без происшествий, но вот вторая и прочие ночи...

Люди на Нижнем Конце деревни не могли заснуть, а люди на Верхнем Конце засыпали с трудом, наглухо затворив, несмотря на летнюю жару, окна и двери и заткнув уши ватой. Ибо с наступлением ночи сонную тишину разрывали громкие вопли старой девы, которым вторили дружным воем все деревенские собаки, но спустя некоторое время деревня, будто захлебнувшись криком, внезапно затихала, однако едва начинали задремывать, втянув головы в плечи, разбуженные

горы и холмы, как опять вздрагивали вместе с деревней от новых криков и воплей, и так продолжалось до самого рассвета.

Несчастливая новобрачная выдержала лишь три месяца и однажды, когда Вдовец отправился в горы нарубить дров, сбежала к родителям. Как ни уговаривали ее посланцы мужа, дескать, воротись, она не вернулась, лишь упрямо повторяла: «Глаза б мои не видели его», — да и только. Вдовец терпел день, терпел другой, а на третий сам отправился за женой и с трудом уговорил ее вернуться. Зато теперь, уходя из дому по делам, он стал запираить жену на замок. Отчего кричала бедняжка, никто не знал, разве что она сама да Бог, только в один из дней она покончила с собой, повесившись на собственном платке на потолочной балке дома.

Некоторое время после похорон жены Вдовец был спокоен, но потом словно взбесился. Едва справили сороковины, как он заговорил о новой женитьбе. И не давал проходу своим прежним благодетелям: мол, подыщите мне жену. Те же доброхоты, желая поскорее избавиться от него, засуетились, кинулись туда и сюда, однако теперь ни одна старая дева и даже не избалованные ничьим вниманием вдовы не желали связывать с ним свою судьбу. Слух о первой женитьбе Вдовца дошел, видно, и до окрестных селений, ибо желающих не отыскалось и там. В конце концов доброхоты отчаялись и умыли руки.

И для жителей селения наступили черные дни.

Теперь никто не отваживался отпустить куда-нибудь даже по делу жену или взрослую дочь, ибо Вдовец тут же пускался вслед за ней. Безобидным прикидывался, негодяй, но стоило ему оказаться в укромном месте наедине с девушкой или женщиной, как хватался за ее платье и шаровары.

Теперь ни одна женщина и ни одна девушка не ходили собирать хворост либо искать свою запоздавшую или пропавшую корову ли, козу ли, ибо Вдовец всегда был тут как тут. Между нами говоря, даже по нужде никто по ночам не решался выходить.

Дело дошло до того, что он не только на женщин и девушек, даже на самок животных стал поглядывать с вожделением. Теперь люди и скотину опасались оставить без присмотра...

Хотя, как говорится, у распутника одна пара глаз, а у страха — множество, Вдовцу все же удалось перехитрить деревню.

В Сармаддехе жила молодка, звали ее Михрбану, муж ее был честный и благородный малый. Жили они дружно, душа в душу, но природа, как любите выражаться вы, или Бог, как выразились бы мы, не дал им детей. Вот она-то, бедняжка Михрбану, и стала жертвой гнусного сладострастья Вдовца...

Несмотря на то что к исправно работающим органам Вдовца голова никак не относилась, он все же понял, что, покуда находится в деревне, люди не спустят с него глаз. Недоразвитым умишком своим он смекнул, что должен как-то усыпить их бдительность. И в один прекрасный день он исчез из деревни, очевидно, кого-то предупредив, иначе не прошел бы слух, что он, якобы, ушел на заработки. Поначалу люди отнеслись к этой вести с недоверием, но так как от Вдовца дней шесть не было ни слуху ни духу, они вздохнули с облегчением. Женщины и девушки снова стали без опаски заниматься своими повседневными делами, расхрабрившись, отправлялись даже на ближайшие холмы собирать хворост, деревенские улочки снова наполнились звонким щебетаньем и визгом ребятишек.

Кончилось это тем, что Михрбану попалась в лапы Вдовца на склоне Гураба.

Склон Гураба в те времена был одним из самых зеленых уголков Сармаддеха. Это сейчас ты видишь его таким голым и бесприютным, открытым всем ветрам. За последние пятьдесят лет люди уничтожили.

тут столько деревьев, сколько за пятьсот предыдущих лет, наверное, не срубили. В одной из пещер этого-то склона и затаился Вдовец, питаясь припасенной на месяц снедью, взятой из дому, и озирая ближайшие косогоры и тропы, дабы не пропустить ненароком, если кто-нибудь появится. Конечно, он сразу заметил Михрбану, пришедшую набрать дров, тихо подкрался и набросился на нее. А бедная женщина увидела Вдовца и от страха потеряла сознание...

Ушла Михрбану утром, а вернулась поздно вечером. Ушла за дровами, но и щепки не принесла.

После этого случая женщина стала замкнутой и молчаливой. Бывало, за целый день не произнесет ни слова. На расспросы она не отвечала. А по ночам ей, видно, снились кошмары, и она с криками и воплями просыпалась. И однажды муж нашел свою жену мертвой — она повесилась в хлеву. После ее похорон обмывальщицы покойников пустили слух, что Михрбану была беременна.

Муж Михрбану был честный и благородный человек. Справив на третьи сутки поминки по жене, на другой день он перекинул ружье через плечо и поднялся на вершину Гураба. Никто и понятия не имел, как он догадался о местонахождении Вдовца, как прознал, что его жена стала жертвой животной похоти этого дьявола.

Вскоре горы и холмы потряс душераздирающий вопль, и почти сразу же грохнул выстрел, а вслед за тем горы и селение сдавила в своих объятиях и тут же отпустила тягостная тишина...

Муж покойной Михрбану спустился с гор.

А несколько парней отправились в горы по той дороге, по которой он вернулся. Вскоре они притащили тело Вдовца, уложенное на волокушу из арчовых лап. Люди долго совещались, как быть с покойником, но так и не решились ничего. Тогда позвали старшего Бухарзада. Тот на миг задумался над останками убитого, затем сплюнул и, ни слова не говоря, ушел. Поведение уважаемого муллы люди истолковали по-своему.

Вдовца похоронили не на кладбище — еще вцепится в саван какой-нибудь усопшей! — а на одном из окрестных холмов. Прошло несколько лет, и его могильный холмик сровнялся с землей, и, как говорится, ни имени не осталось от него, ни следа; вернее, не оставалось до той самой поры, покуда на свет не явился человек по имени Рыжий Яздон, который вырос, возмужал и женился на девушке по имени Черная Ораста, а потом влюбился в соседку-вдову, а может быть, сперва развелся с женой, а потом влюбился в соседку-вдову, в связи с чем Бухарзад Второй и вспомнил Вдовца.

Но это уже другая история.

## ВДОВА

Никто не знал, сколько осокорей растет в Сармаддехе, да и не было охотников узнать. «Ай, разве других дел у нас нет, что станем подсчитывать, сколько осокорей растет вдоль дорог и на косогорах Сармаддеха?» «О-о, может, вы еще захотите, чтобы мы сосчитали, сколько у нас ив, да кленов, да прочей арчи-марчи?»

Да, дураков толочь воду в ступе не находилось.

Но, оказывается, если понадобится, пересчитаешь даже камни галечника Марзич.

И вот возникла надобность — и подсчитали, что вдоль дорог и на косогорах Сармаддеха растет без малого сто осокорей.

И кто же, спросите, сосчитал?

Скажу — не поверите, не скажу — не узнаете этой истории.

По правде говоря, я стал болтлив, ничего не могу утаить, да и врачи знакомые советуют: не держи, мол, все в себе — до чахотки себя доведешь.

Ну как, догадались, кто сосчитал?

В таком случае наострите уши, чтобы слова мои ветер не унес, да тубетейку руками придержите, чтобы от изумления она не покинула вашу голову.

Самый ленивый гражданин Сармаддеха, Рыжий Яздон — вот кто сосчитал!

Стать мне камнем, коли вру... э-э, привыкнешь к какому-нибудь выражению, так оно всегда готово с языка слететь.

Словом, однажды Яздон-Мечтатель туго подпоясался, взял взаймы у всего мира отвагу и мужество и дал трехкратный столь решительный развод своей жене Черной Оросте, что вернуть ее назад добром — захоти от того, конечно, — не представлялось уже возможным.

Рыжий Яздон дал жене развод, а проснувшись на другое утро, понял, что... ай, не могу найти подходящего слова... ну, скажем, понял, что безумно влюбился в соседку-вдову. Или, быть может, сперва безумно влюбился в соседку-вдову, а потом дал развод жене, или все же, как говорилось вначале, сперва развелся, а потом влюбился, Бог его знает — не мы.

Факт тот, что на другой же день после того, как Рыжий Яздон, приведя жену в дом тещи, оставил ее там и по деревне пошли шушуканья, напоминавшие мушиное жужжанье, — дескать, он нацелился на соседку-вдову, — Черная Ороста спешно вскарабкалась на трибуну... э-э, на крышу отцовского дома, левую руку изогнула наподобие лука, уперев в бок, а правую вытянула вперед наподобие меча: сперва — раз-два! — изрубилa вдову на куски и обстреляла ее, дескать, ай, не видать же тебе светлого дня, пусть каждый ломтик съедаемого хлеба застревает в твоей глотке, пусть люди поскорей угостятся горячими блинами на твоих поминках... за четыре года извела четырех мужей, теперь пялишь глаза на моего простака Яздо́на, им тоже попользуешься и спровадишь к тем четверым...

От души, как говорится, обглодав косточки вдовы, Ороста повернулась лицом в сторону дома бывшего мужа и стала, точно из водомета, изрыгать потоки брани в его адрес: мол, видать, у той вдовы медом намазано, коли прилип ты, как муха, ай, раз не умеешь отличить мышиную нору от щели... плевать я хотела, к Ягоне ты пойдешь или к телке-двухлетке, только эта вдова-убийца и с тобой расправится, в воде ли утонешь, в огне ли сгоришь, в пропасть ли сорвешься, не будь я Ороста, коли не спляшу на твоём саване...

Черная Ороста всласть излила душу и спустилась вниз. Спустилась, но, видно, еще о чем-то вспомнив, снова поднялась на крышу и, собрав всю накопившуюся во рту слюну, плюнула сперва в сторону Яздонова дома, потом в сторону дома Ягоны. Плюнула — и только на этом, как говорится, успокоилась ее душа.

Ороста не без оснований назвала Ягону вдовой-убийцей. Бедняжка четырежды выходила замуж, и все четыре ее мужа погибли от какой-либо напасти в самом расцвете лет. Первый муж через три дня после свадьбы спустился ночью к Кафкруду выкупаться, и то ли ему руки-ноги свело судорогой, то ли затянуло в водоворот, но на следующий день его тело обнаружили на отмели Мижгон. Второй муж отправился за дровами и на осыпи Фалахмон был убит наповал упавшим ему на голову камнем. Третий умер в страшных муках от непроходимости кишечника. А четвертый ушел на охоту и попал под обвал. И вот уже три года не находилось больше охотников на вдову, хотя была она женщина цветущая и симпатичная.

Однако Яздон-Мечтатель, объявив жене окончательный развод,

проснулся наутро с ясным сознанием, что без соседки-вдовы больше не сможет спокойно прожить ни одной минуты.

Уж и крепился, бедняга, уж и крепился в надежде, что какая-нибудь добрая душа заглянет к нему — «Как дела, Яздон?» — и он откроет свое сердце, но добряка, видать, не было, а если таковой и был, то не собирался снискать именно Яздонову благодарность. Наконец у Яздона-Мечтателя лопнуло терпение, и однажды вечером, когда опустели деревенские улицы, он отправился к мулле Бухарзаду.

А мулла Бухарзад в это время, натянув на себя вывернутые наизнанку шапку, рубаху, штаны и даже обув наоборот чоруки, что-то выводил на бумаге вверх ногами — ох, колдун! — но с появлением Рыжего Яздона поспешно скрылся во внутренних комнатах, надел одежду лицевой стороной, вернувшись, прошел в красный угол, сел, скрестив ноги, и стал перебирать четки да шепотом славить Аллаха; и лишь перебрав все девяносто девять бусин, вопросительно взглянул на Рыжего Яздона: «Ну?»

Рыжий Яздон, обливаясь потом, выложил свою сердечную печаль.

Слушая его с большим интересом, Бухарзад вновь занялся четками, перебрал девяносто девять бусин в честь девяноста девяти имен Бога, потом спросил:

— Не боишься?

— А чего мне бояться?

— Вспомни пословицу о том, какой урок извлекла лисица, увидя волка с разодранной пастью и гиену со сломанной шеей.

— Я и пришел к вам, чтобы найти выход из положения.

Бухарзад еще раз перебрал по кругу все бусины своих четок и задумчиво проговорил:

— Тут один выход: если женщина согласится, ее сперва следует обвенчать с осокорем.

У Рыжего Яздона перехватило дыхание, он уставил изумленный взгляд на Бухарзада, и мулла, сжалившись над ним, пояснил:

— Осокорь — благословенное дерево, он примет на себя беду, которая ожидает тебя в случае женитьбы, то есть засохнет. Ты сам wybierешь дерево и сядешь под ним во время брачного обряда.

— Вы смеетесь надо мной?

— Разве тебе приходилось слышать, чтобы Бухарзад, дожив до шестидесяти шести лет, над кем-нибудь насмехался? Я тебе говорю об испытанном средстве, а там — как знаешь.

Яздон-Мечтатель, хотя ему было от роду тридцать два года, а Бухарзаду — шестьдесят шесть, не мог припомнить случая, чтобы мулла подшучивал над кем бы то ни было, а потому помолчал, погружившись в раздумье, затем встал с места и промолвил:

— Будь по-вашему.

На другой день Яздон-Мечтатель послал человека в соседний дом, заручился согласием вдовы и занялся изучением осокорей, растущих в селении, и тут-то выяснилось, что таких деревьев в Сармаддехе девяносто девять. Это число обрадовало Рыжего Яздона, так как в благословенных четках Бухарзада тоже было ровно девяносто девять бусин. Более того, эти девяносто девять осокорей росли по краям дороги и на косогорах и, понятно, никому не принадлежали. Тринадцать из них были совсем молодые деревца, тонкие прутики; тридцать девять уже имели крепкие стволы; тридцать четыре других были тенистые деревья с густой кроной; еще десять уже достигли преклонного возраста, но осень времен пока щадила их; и только три оставшихся дерева были стары и дряхлы, и большинство их ветвей уже засохло. Яздон-Мечтатель выбрал одно из этих трех деревьев, на котором, по его расчетам,

до наступления лета не останется ни одного зеленого листочка, и оно, окончательно засохнув, погибнет.

Дерево росло на откосе холма рядом с домом старухи Майсы. К закату клонилась жизнь старухи Майсы, как и росшего на холме осокоря...

Вдову обвенчали с деревом по всем правилам и обычаям. Мулла Бухарзад прочел хутбу, женщина произнесла: «По собственному желанию признаю своим повелителем это дерево», — а Рыжий Яздон сказал из-за ствола от имени осокоря: «По собственному желанию принимаю ее в жены». Женщина отпила глоток из обрядовой чаши, и оставшуюся воду выплеснули под дерево. Яздон удалился, а женщина подошла к дереву и немного посидела под ним, прислонившись спиной к его могучему стволу.

После этого все разошлись.

Женщина отправилась домой, осокорь остался стоять на холме, а Яздон остановился на полпути.

Яздон остановился на полпути и почесал себе затылок. Почесал затылок, дескать, худо дело — всю обрядовую воду вылили под дерево, довольно было бы и брызнуть разок. А вдруг корни оживут и окрепнут, осокорь зазеленеет и зацветет — и тогда не два-три месяца, а два-три года ждать придется!

Радость Яздона мигом улетучилась, в мрачном настроении воротился он к дереву. Увидев же его, окончательно расстроился. Место, куда выплеснули воду, так просохло, словно его не поливали только что. «Изжаждалось, проклятое, всю всосало!» — воскликнул в сердцах Рыжий Яздон, в гневе пнул дерево ногой и пошел назад.

Прежде Яздон-Мечтатель не брался ни за какое дело, покуда не позавтракает, но тут, едва проснувшись на другое утро, наскоро умылся и поспешил к холму, чтобы посмотреть, засохло старое дерево или нет.

Но осокорь как был, так и стоял в своем прежнем виде. «Ничего страшного, — пренебрежительно махнул рукой Яздон, — хочешь ли, нет ли — засохнешь, никуда не денешься. Если даже тебя живой водой окатят, не зазеленеешь!»

Никто не ведал, как это вышло, сам Рыжий Яздон тоже не мог толком объяснить, когда его спрашивали, почему он был столь беспечен на протяжении целой недели, что ни разу за это время не проведал «молодожена».

К осокорю он пришел лишь спустя неделю, пришел — и из уст его — вместе с клубом дыма — вырвался вопль «О Боже!» Старый, дряхлый, полусохший осокорь воскрес, голые ветки сплошь покрылись мохнатыми почками.

Несчастный Яздон, словно статуя обиженного, в оцепенении застыл надолго перед деревом-обидчиком, потом пришел в себя, без сил опустился на землю и пожалел, что не захватил с собой ватного халата, иначе завернулся бы в него с головой и помечтал: ах, была бы сейчас ранняя весна, разбушевалась бы гроза, и молния разорвала бы небесную грудь, ударила в макушку этого проклятого дерева и спалила его дотла, или же произошло бы землетрясение, и этот холм с этим бесстыжим деревом провалился бы в землю на глубину сорока клинков... Тысяча сожалений, что при нем не было ватного халата, но он все же пытался успокоить себя такими несбыточными мечтами.

Потирая лоб, он думал о том, что спустя дня три, когда почки распустятся и ветки оденутся листвою, придется оставить надежду на дерево. И что же тогда делать? Возможно ли расторгнуть брак женщины с этим живучим деревом и обвенчать ее с другим?

Не в силах ответить на этот вопрос, Яздон отправился к мулле Бухарзаду.

В этот раз Бухарзад на крыше сеновала, развалившись на войлоке, перебирал четки. Увидев четки, Рыжий Яздон огорчился, ибо тотчас вспомнил свое предыдущее посещение Бухарзада и ответ муллы после того, как он перебрал девяносто девять бусин. Выхода, однако, не было, и Яздон подошел к мулле, пожал его благословенную руку и примостился на краешке кошмы.

Половина бусин была уже отсчитана, — Яздон возблагодарил Бога, что четки оказались перебранными наполовину, — мулла перебрал оставшуюся половину и вопросительно посмотрел на Яздона: «Ну?» Яздон коротко, но живо обрисовал состояние дерева и собственные сомнения.

Бухарзад задумался, заново перебрал девяносто девять бусин. Затем поднял голову и спросил:

— А вдруг и с другим деревом случится то же самое?

Яздон не подумал об этом. Мулла прав. Что если все повторится? Неужто его возлюбленная должна сочетаться браком с девяноста девятью сармаддехскими осокорями? Люди узнают — засмеют. А Черная Ороста узнает — ай и заработает ее мельница, перемалывая новость в потоки колкостей!

Вот почему Яздон промолчал, предоставив распутывание этого узла таланту Бухарзада. Но тот, прежде чем дать ответ, трижды перебрал четки.

— Давай еще немного подождем и посмотрим, что будет дальше.

Предложение понравилось Рыжему Яздону, и он воротился домой.

Теперь он ежедневно навещал «молодожена», но с каждым днем осокорь все больше хорошел, и досада Яздона все росла, осокорь казался ему самым зловещим творением Бога, какой не казалась даже Черная Ороста незадолго до развода.

Яздон занялся исследованием осокорей. Тщательно изучил каждое из оставшихся девяноста восьми деревьев. И где бы ни попался ему муравей или червячок, он приносил его в спичечном коробке к «молодожену» и оставлял сновать на стволе. Однако вернувшись на другой день и найдя всех тех насекомых издохшими под деревом, начинал дымиться от ярости.

Не слишком обремененная раздумьями голова Рыжего Яздона никогда так не работала, как в те дни и ночи. Каких только планов уничтожения «новобрачного» осокоря он ни вынашивал! Один другого заманчивей. Но все они имели общий недостаток, который невозможно было не заметить и с которым нельзя было не считаться: их осуществление предполагало раскрытие личности виновника и бросало тень на его предстоящую женитьбу. Значит, нужно найти более разумный выход.

Как-то, проходя мимо деревенского магазина, он обратил внимание на засохший чинар и тотчас сообразил, от чего тот высох, хотя и прежде не раз видывал этот чинар. Под деревом находилась цистерна с керосином, керосин проливался и погубил дерево!

Ночью Рыжий Яздон вооружился лопатой, захватил канистру с керосином, пришел к «новобрачному» осокорю, вырыл ямки у его корней, залил их керосином, засыпал землей, утоптал и, успокоенный, воротился домой.

Неделю он ждал, что осокорь засохнет, однако «молодожен» утопал в столь пышной листве, что, казалось, сейчас забьет листьями, как крыльями, и полетит...

Видно, Яздону-Мечтателю не оставалось ничего иного, как уповать на заклинания Бухарзада, ибо он опять явился к нему. Во всей деревне он не мог сейчас довериться кому-нибудь другому, кроме всеведущего муллы.

На этот раз Бухарзад трижды перебрал по кругу все девяносто девять бусин своих четок.

— Видать,— наконец поднял он голову,— твой осокорь растет рядом с могилой какого-то давно обратившегося в прах и позабытого мужчины, и теперь его душа начинает вторую жизнь в этом дереве. Ай! — вдруг ударил себя по лбу Бухарзад.— Ведь Вдовца-то именно под этим осокорем и похоронили!

— Какой еще Вдовец?!

И тут-то Бухарзад вкратце и рассказал Рыжему Яздону историю Вдовца.

— Раз уж однажды он помер, теперь его и черт не возьмет! — воскликнул побледневший Яздон, выслушав рассказ до конца.

— Завтра вечером я обвенчаю вдову с другим деревом,— успокоил его Бухарзад.— Поверь мне, на каком бы дереве ни остановил ты свой выбор, оно сразу же засохнет.

Однако до завтра дело не дошло.

В ту же ночь женские вопли подняли на ноги жителей деревни — и раньше всех Яздона-Мечтателя, так как крики доносились с соседнего двора.

Рыжий Яздон мигом вскочил с постели и бросился наружу, повернул к дому соседки и, похолодев от ужаса, замер на месте.

Посреди соседской усадьбы возвышался могучий осокорь с холма, опираясь на обнаженные корни,— неужто этими корнями-ножищами и пришагал он сюда? — а меж двух его ветвей висела вдова в ночной сорочке, с окровавленными руками и лицом, на котором застыла гримаса ужаса.

## ДЫМ СКОРБИ

### 1

*Одного за другим Смерть-волчица уносит  
из стада,  
Но ты погляди, как спокойно пасется то стадо!*

*Авхади*

Плотник Шохак Ранда — Шохак-Рубанок — вошел в деревню осанистой поступью, с загадкой во взоре, уверенный, что удивит и перепугает односельчан рассказом о том, что он увидел на кладбище собственными глазами. В эту минуту старуха Марьям выгоняла за ограду попасться на холме — из опаски, как бы травы, разросшись, не захватили весь мир, — своего прожорливого, некогда прославившегося на весь мир королевскими рогами, а теперь безрогого козла. Плотник покосился на старуху и ее козла, но не остановился, даже о здоровье не справился, лишь ускорил шаги, дабы поскорее найти достойного слушателя, а не растрачивать понапрасну свое вдохновение рассказчика на безрогого козла и его глуховатую хозяйку.

Шохак Ранда был искусный плотник, такой, про которого говорят «золотые руки». Он был изрядный выдумщик, так что всякий, кто рассматривал его резные орнаменты, неизменно восхищался причудливостью линий и узоров рисунка. Люди повторяли, что простой смертный не способен вырезать по дереву рисунки такой красоты и изящества, что ему в этом помогает сатана; дескать, где это видано, чтобы правоверный от сглаза вырезал на воротах изображение русалки? Ай, да еще с обнаженной грудью и рыбьим хвостом! Вот почему, когда пришло время украсить резьбой деревянную мечеть, люди отчаянно

заспорили: не грешно ли, мол, доверять столь благое и богоугодное дело такому нечестивцу? Впрочем, это уже другая история, вернемся-ка лучше к той минуте, когда плотник Шохак Ранда, взглянув на безрогого козла и его глуховатую хозяйку, ускорил шаги в надежде побыстрее найти хотя бы двух-трех собравшихся вместе людей, чтобы не умалить свой авторитет очевидца. Ему повезло: он набрел на пятерых односельчан, чинивших развалившийся дувал деда Яздона. «Пять — священное число», — решил Шохак Ранда и, промолвив «Бог в помощь», присел на кучу щебня, сваленного на обочине. Те из работников, чьи руки были выпачканы глиной, приветствуя его, ограничились кивком головы, остальные подошли к нему и пожали руку, оказав уважение. Не обнаружив среди них ни одного родича Парисо, плотник осмелел и произнес:

— Из могилы Парисо валит дым.

Если бы речь шла о ком-то другом, а не о Парисо, то, вероятнее всего, люди удивились бы и прошептали «Спаси Бог», но сейчас они не удивились, да и не удивились бы, если б даже ее могила загорелась; а посему работники понимающе переглянулись, с сожалением покачали головами и пробормотали что-то в том смысле, что, дескать, дай Бог благополучного исхода, и только.

Плотник Шохак Ранда не ожидал, что его новость будет воспринята столь равнодушно; между нами говоря, он успел уже почувствовать себя героем дня и даже заготовил на всякий случай несколько проникновенных слов, достойных столь необычного события. Но видя, что весть выслушана, против ожидания, без должного внимания, он разочарованно поднялся с места и, опечаленный (дескать, тяжелая физическая работа помутила у сельчан рассудок), направился к своему дому. На полпути ему встретился Шераки Хол, который тащился навстречу на своих двоих, длинных и худых, как костыли. Его трудно было принять за достойного слушателя, ибо в трусости он превзошел даже своего отца, Хола-Силача, — видно, назло мягкотелым и добросердечным мужам стяг легендарного Ковы\* подхватили безобразные и злонравные бабы. Но все же Шерак Хол — не старуха Марьям, мимо которой можно пройти молча, подобно тому, как тень пройдет по воде, не замочив ноги. Шохак Ранда прижал руки к груди, как повелевал обычай, и расспросил Шери Хола о здоровье, затем устремил глаза на снежные пики Шанобурза и изрек:

— Год от году становятся ниже.

Шери Хол козырьком приложил ладонь ко лбу, оценивающе оглядел макушки гор и согласно кивнул головой:

— Куда ни глянь, всюду видны приметы конца света.

Плотник похолодел: если уж Шери Хол из обычных явлений делает такие далеко идущие выводы, то что же должен думать о виденном он, Шохак Ранда?

— Значит, началось...

— Светопреставление?

— Да, Страшный Суд!

— Почему ты так решил?

— Потому что из могилы Парисо валит дым.

— Умереть мне за тебя, Господи, прости меня, если согрешил, но кто же без грехов в этом мире? А впрочем, тебе виднее... — забормотал Шери Хол и, опустившись на корточки у края дороги, горько заплакал, всхлипывая, как покинутый ребенок. Шохак Ранда опешил. Он не знал, как успокоить, чем утешить его. Заготовленные заранее слова, которыми он собирался потрясти обитателей Сармаддеха, не

\* Кузнец Кова — персонаж «Шах-наме» Фирдоуси, собравший под своим стягом — кожаным фартуком, народ для борьбы с завоевателем Заххоком.

годились для того, чтобы утешать ими расстроенного человека. Волей-неволей он присел рядом с Шери Холлом и принялся усердно тереть себе лоб, морщины которого напоминали письмена на глиняных ассирийских табличках. Вскоре Шери Холл успокоился и, повернув поникшую голову к плотнику, с надеждой в голосе спросил:

— Может, тебе померещилось?

— Если и ты мне пригрезился, тогда — возможно.

Шери Холл не проронил больше ни слова. Он поднялся с земли, стряхнул пыль с одежды, да так стряхнул, словно не пыль дорожную, а грехи свои, и зашагал по дороге так, как, по его представлениям, приличествовало ходить при конце света: едва волоча свои тощие костыли, опираясь согбенным станом, словно на посох, на свой взгляд, уставленный в землю, сетуя на собственную судьбу, жалуясь незримо Богу.

Шохаку Ранда стало жаль Шери Хола, на душе у него стало сумрачно, как над дымящейся могилой Парисо. Разом пропала охота удивить и напугать людей. Захотелось поскорей добраться до мастерской и укрыться в мире узоров и росписей. Он тоже поднялся и поспешил домой.

Но, видно, на «ассирийских табличках» его лба было предначертано, что именно сегодня он не сможет быстро добраться до своей мастерской. Не успел Шохаку Ранда пройти и половины пути, как навстречу ему попался Барзу Озарпур — муж покойной Парисо.

Не слыхавший еще новость Барзу приближался — с горящим взглядом, приводя в трепет землю, пугая букашек под ногами. Плотника изумил странный вид Барзу, и он отступил на обочину, не желая, будто живой шлагбаум, препятствовать торжественному шествию. Однако в нескольких шагах от Шохака Ранда Барзу Озарпур спустился с небес своих мечтаний на землю забот, отдал должное обычаям, заметил затаившуюся в глазах плотника тайну, призвал на помощь свое терпение и ожидающе взглянул на плотника: мол, говори побыстрее, если есть что сказать, а то мне некогда.

Плотник не выдержал его взгляда, отвел глаза и, устремив взор на снежные пики Шанобурза, изрек:

— Год от году становятся ниже.

Барзу Озарпур удивленно скосил глаза на вершины, потом скорбно посмотрел на Шохака:

— Это результат соляных бурь с Аральского моря.

Плотник Шохаку Ранда тотчас понял, что перед ним не какой-нибудь Шери Холл, а муж проникательный и умный.

— Я тоже так полагал, но Шери Холл узрел в этом примету конца света.

Барзу Озарпур усмехнулся и ничего не добавил. Шохаку Ранда принял усмешку на свой счет и не на шутку рассердился:

— Не знаю, какой буре ты припишешь дым из могилы.

Барзу Озарпур, широко раскрыв вместо глаз рот, пристально взглянул на Шохака Ранда. Плотнику поздно было отступать. Он недовольно спросил:

— Не думаешь ли ты жениться?

— Я помолвлен со старшей дочерью Данияра-мельника...

— Прежде чем решиться на женитьбу, следовало бы оросить могилу Парисо кувшином воды — угас бы жар ее души, и она перестала бы связывать с тобой свои надежды...

Барзу Озарпур больше не слушал плотника, он устремил взор на горбатые перевалы горы Танги, словно сквозь них пытался увидеть кладбище Отважных Мужей и могилу Парисо, из которой клубился дым.

Плотник Шохаку Ранда почувствовал себя лишним, словно простой

мул перед сытым гордым жеребцом, и, забыв попрощаться, поспешил в единственное место, где ощущал себя свободным и независимым,— в свою мастерскую.

## 2

*Коль неудачник пятничную выстроит мечеть,  
Либо стены покосятся, либо крыша станет течь.*

*Саади*

На другой день деревенские жители узнали, что Барзу, как челнок, носится между кладбищем и Кафкрудом. Зачерпнув воды в кувшин, спешит с ней на кладбище, выливает на могилу Парисо, но дым, словно он питается водой, клубится еще сильнее.

Люди не знали, как объяснить, почему дымится могила Парисо, ибо считали благими и речи, и помыслы, и намерения Барзу; но опять-таки — кто его знает: чужое сердце, подобно человеческим городам, имеет множество незнакомых улиц, переулков, перекрестков и тупичков!

Дед Сангин, доброречивый, немало повидавший на своем веку старик, гревший свои одряхлевшие кости на кровле дома, дабы зимой они не вздумали мучить его, задумчиво поглаживал бороду тонкими пальцами и наблюдал, как снует туда-сюда Барзу с кувшином. Заметив деда Яздона, который как раз проходил мимо и колебался — остаться побеседовать с дедом Сангином или идти по своим делам, — он спросил, кивнув в сторону Барзу:

— Что он там делает?

— Заливает сердечный жар покойной.

— Сердечный жар у женщин следует гасить при жизни.

— Да, крепко привязана была к нему, бедняжка!

— Ничего хорошего от ее любви я и не ждал.

— Ты думаешь, из-за нее она заболела?

— И умерла тоже от этого, — подтвердил дед Сангин.

— Ай, где это видано и слыхано, чтобы женщина, если муж задержался на охоте на пару дней, рыскала по горам и долам, решив, что ее благоверный попался в зубы волку или сорвался в пропасть! Не ведала, страдала, что сама в любую минуту могла стать добычей волка или сорваться с кручи...

— Я был потрясен, когда услышал, как Парисо ухаживала за больным Барзу, не сомкнув глаз даже на час в течение целого месяца.

— И не говори! А как она стала сердечницей от того, что Барзу пропал по ночам!

— В свои семьдесят лет я уйду из жизни без сожалений, ибо о беззаветной преданности женщины прочел не в книгах, узнал не из легенд, а видел собственными глазами.

— Но чем ты объяснишь дым из ее могилы?

Дед Сангин несколько мгновений не отрывал глаз от вершины Танги, словно рассчитывал что-то услышать и увидеть там, затем обернулся к деду Яздону и промолвил:

— Она дымится оттого, что ее любовь не была оценена по достоинству.

У деда Яздона язык чесался спросить еще о чем-то, но услышанное было столь непостижимо, что он пожевал губами, пожевал — да и махнул рукой на свой вопрос. И так случилось, что это махание, которое означало «дьявол с ним», дед Сангин принял за прощальный

жест, и деду Яздону поневоле пришлось отправляться дальше по своим делам.

В это же самое время на другом конце деревни происходило нечто совсем необычное. Как говорится, у няньки подол горит, у матери — сердце: дескать, что за черные дни обрушились ей на голову!

Мать Парисо, тетушка Чаманорб, — этим именем ее мало кто величал, все звали ее просто тетушка Чаман, — услышав безрадостную весть о действиях бывшего зятя, поспешила в путь, чтобы своими советами и увещеваниями усмирить дух покойной дочери. Старуха Марьям, прознавшая об этом намерении тетушки Чаман, поджидала ее на дороге — к кладбищу не было иной дороги, кроме той, что вела мимо дома старухи Марьям, — поджидала, дабы шепнуть парочку (по ее мнению — приличествующих случаю, по нашему — совершенно лишних) слов матери Парисо. «Ай, неужто Чаман не знает, что стоит матери ступить на кладбище, как ее дитя встанет на ноги! Барзу хорошо известно, отчего дымится могила Парисо, иначе не стал бы он таскать воду кувшинами с рассвета и до самых сумерек, понял, видно, свою вину, раз уж так надрывается...»

У старухи Марьям были добрые намерения, но какой неожиданный оборот принимают иной раз события!

— Чаман, милая, куда это, говорю, ты так торопишься? — начала старуха Марьям, едва завидев показавшуюся из-за поворота тетушку Чаманоро.

— Иду копать себе могилу, куда мне еще идти! — задиристо ответила тетушка Чаман.

— Ай, умереть мне за тебя! Может, посидишь со мной да выпьешь пиалу чая?

— Не получится, тетка. Тебе что — ни забот, ни хлопот. Прикидываешься, будто знать не знаешь, что могила моей дочери дымится!

— Как у тебя язык повернулся сказать мне такое! Сердце мое кровью обливается, но выхода я не вижу, да и тебе не советую ходить туда. Барзу лучше знает, что ему делать.

— Если бы Барзу лучше знал, не размечтался бы о жарких объятиях, не дожидаясь годовщины моей дочери! Имей он совесть, еще до помолвки оросил бы могилу сторевшей девочки горстью воды, я уверена, что она хотела ему счастья. Ай, пропади пропадом все племя мужское!

— Не кощунствуй, Чаман, покайся!

— Сама кайся! За сотую долю такой любви, какую моя дочь одалжила этого зазнайку, другой человек и мысли не допустил бы жениться во второй раз...

— Твоя дочь любила нечеловеческой любовью, люди говорили, что она одержима духами. Возьми себя в руки и подумай над этими словами...

— Э-э, набить бы тебе и людям рот г... прости, Господи! Вы и ведать-то не ведаете, какова она, человеческая любовь, и, единственный раз увидев ее собственными глазами, ищите всяких поводов, чтобы оправдать свои скотские желания!

— О-о, разве не эта самая «человеческая любовь» сгубила твою дочь в расцвете лет?!

— Смерть от Бога, дряхлая козлопоклонница!

Этот попрек больно задел старуху Марьям. Так сильно задел, что она готова была, засучив рукава, вцепиться в косы своей противницы и выдрать их все по волоску. Но Бог свидетель, что сделать этого она не могла: старуха имела от природы тихий нрав и доброе сердце и за всю жизнь не обидела даже мухи. Однако молча проглотить подобное оскорбление она тоже не могла и потому ответила на него, а если бы не ответила, сама бы сто раз благодарила за это Бога, больше того,

заколола бы для жертвований своего знаменитого и проклятого безрогого козла. Ай, что же это за слова были, что из-за них она потеряла сон и аппетит?

— Дай Бог, чтобы могила твоей дочери курилась до самого Страшного Суда!

## 3

*Ушел и мир он поручил другому,  
С собою лишь печаль унес, и ничего иного.*

*Фирдоуси*

Плотник Шохак Ранда, считавший себя отчасти виновником происходящей кутерьмы, стоял около обструганной наполовину потолочной балки с тесаком в руке и чувствовал, что не в силах работать. Однажды он уже испытал нечто подобное. Это случилось три года назад. Уложив на место последнюю резную рейку в узорчатом своде мечети, он спустился тогда вниз, поднял голову и невольно все его существо пронизал тяжелый вздох, вырвавшийся из самого сердца. Выведенные им узоры были так гармоничны, что казалось, каждая линия ведет свою мелодию, а все узоры вместе сливаются в прекрасную симфонию; и тут он отчетливо понял: такого совершенства он никогда больше не сумеет достичь, что бы впредь ни создал.

Вот и теперь он стоял с тесаком в руке в собственной мастерской около недоструганной потолочной балки и думал, что все его искусство даже медной пайсы\* не стоит, если всего в полуфарсахе\*\* отсюда дымится могила — дымится из-за человеческого бездушия и непостоянства в любви...

Плотник Шохак Ранда был предан своему ремеслу. На жизнь людей он взирал сквозь узоры своих орнаментов и полагал, что жизнь столь же прекрасна, сколь прекрасно искусство. Но сегодня он почувствовал, что у жизни тоже есть свои несовершенные линии и пустячные узоры. Ай, до чего ж мы дожили, если из-за нашей чахлой любви дымится могила!

Сейчас он представил себе девушку по имени Парисо, о которой вряд ли вспомнил бы, не задумавшись ее могила. Девушку, чья открытая и беззащитная любовь пугала людей, ибо сами они привыкли любить, скрываясь и таясь. Наверное, и Барзу пугался ее любви, ибо в последние месяцы ее жизни он возвращался домой за полночь, ссылаясь на загруженность в школе, частенько уходил на охоту или просто бродил где-то... И допек жену, в конце концов... Ай, какие дурные мысли лезут в голову, когда не работается!

Уже второй раз плотнику не работалось, и он знал, что, даже если в таком состоянии он простоит здесь хоть сто лет в надежде на перемену, в его душе так и не появится желание работать. Шохак бросил тесак на ворох стружек и вышел из мастерской. Заметив жену, возвращающуюся с реки с полным ведром на голове, он спросил:

— Все в порядке?

— Ай, всего-то час и пробыл в мастерской, а уж думаешь, что мир перевернулся?

— Ай, глупая, мир сейчас может перевернуться в один миг, а не то что час.

— На берегу я встретила младшую дочку Шери Хола, она говорит, что ее отец слег в постель в горячке.

\* *Пайса* — мелкая монета.

\*\* *Фарсах* — мера длины, равная примерно 7—8 километрам.

— Не удивлюсь, если сейчас в горячке свалится полдеревни, что же говорить о трусливом Шери Холе.

— Если ты имеешь в виду могилу Парисо, она не то что дымиться — гореть достойна. Ай, бедняжка! Сохла по Барзу и сгорела из-за одного Барзу. Думала, что и он будет страдать по ней. Как же, дож-дешься!

— Ну, положим, теперь-то она узнала, что он не страдает, чего же она дымит?

— Даже старуха, умирая, надеется, что ее старик станет горевать о ней, что же говорить о безумно влюбленной Парисо.

— Да, такие уж вы, бабы, ненасытные...

— Ай, что мы унесем от вас в могилу, кроме горя да страданий?!

— Можно подумать, мы унесем что-нибудь другое.

Оба рассмеялись от взаимной любезности. И жена Шохака скрылась в кухне, а плотник вышел на улицу.

Солнце клонилось к закату, когда дед Сангин, кое-как расправив свои кости, собрался сойти с крыши, чтобы пойти в мечеть. Дед Сангин зачастил в мечеть, не столько помня о своем близком конце, сколько, как он сам говорил, для того, чтобы облегчить душу от горестных мыслей. Старик давно почувствовал волшебную силу резных узоров плотника Шохака, которые по-разному воздействуют на человека в зависимости от времени дня: на рассвете вселяют в душу радость, в полдень зовут к кротости и смирению, вечером дарят утешение и очищают душу.

Старик, не знавший счастья, проживший тяжелую жизнь и получивший от судьбы лишь горькие уроки, благодарил Бога за то, что тот даровал ему возможность на пороге вечности причаститься к созерцанию такого чуда, как волшебные узоры плотника Шохака, выполненные без кисти и красок. Порою дед Сангин думал, что, не будь этих пленительных узоров мастера-кудесника, он, когда придет час, отдал бы Богу душу в невыносимых муках, раздавленный своими невеселыми воспоминаниями. Впрочем, прошлое деда Сангина — это другая история, вернемся-ка к нашему рассказу. Итак, дед Сангин спустился с крыши и с суровым достоинством мученика Иисуса зашагал по дороге, соединявшей его дом с мечетью.

И так уж совпало, что плотник Шохака, построивший храм и после того больше ни разу не переступавший его порога, и дед Сангин, почтавший мечеть как свой и Божий дом, столкнулись лицом к лицу.

— И днем, и ночью молюсь за тебя, усто\*, пусть твои руки не знают боли, а сердце — печали, какой подарок ты нам сделал! — произнес дед Сангин, завидев плотника.

— Выходит, жили мы не напрасно и не унесем с собой на тот свет сожалений?

— Ай, братец, кто же ушел из этого мира без сожалений? Блажен тот, кто жил не зря и ушел с достоинством, — это важно.

— А сами-то вы? Вы перенесли немало страданий...

— Мы из тех, кто страдал ради себя — не ради других, — перебил плотника дед Сангин, — потому-то нашу жизнь можно считать напрасной.

Плотник не мог согласиться со стариком, но счел время не подходящим для возражений, не стал затевать спора и помимо воли спросил:

— Не знаете ли, чем закончилось дело Барзу?

— Знаю только, что весь день бегаёт он от реки к кладбищу — таскает воду на могилу.

\* Усто — мастер.

— А не лучше ли ему оставить этот бессмысленный труд и жечься?

— А не лучше ли плотнику Шохаку бросить украшать храмы и заняться украшением сеновалов? — так вопросом на вопрос ответил дед Сангин Шохаку и, пригвоздив этим своим ответом плотника к месту, снова зашагал по направлению к мечети.

## 4

*Наша пашня мала, напоить ее может и капля,  
Отчего ж ты так медлишь, эй, многоводная туча?*

Сойб

Той же ночью старухе Марьям в ее лачуге приснился сон.

Ей снилось, будто задымились все могилы на деревенском кладбище.

Дым над могилами то вился ниточкой, то валил столбом, то клубился кольцами. У одного горела могила отца, у другого — могила матери, у третьей — могила мужа, у четвертого — могила жены, у пятого — могила сына или дочери...

Кладбище напоминало громадный город, где одновременно дымятся, выбрасывая в воздух густой ядовитый дым, трубы бесчисленных заводов.

Старуха ни разу в жизни не покидала деревни и никогда не бывала в городах. Изображение города с дымящимися трубами ей приходилось видеть лишь на снимке в том журнале, где был напечатан портрет ее знаменитого козла.

Каждая могила на кладбище (как и каждый завод в городе) извергала особый дым: красный, белый, черный, сиреневый... Словом, дым был всех цветов радуги.

Деревня в ужасе поднялась на ноги.

Сармаддехцы, наполнив водой всякую посудину, карабкались на склон Танги.

Сама старуха Марьям, прижав к груди бурдюк с водой, носилась по кладбищу и искала могилу мужа. Мужа, умершего десять лет назад и не оставившего по себе никакого следа.

Старуха хватала каждого встречного за одежду и со слезами умоляла: ради Господа, сжальтесь надо мной, несчастной, скажите, где последнее обиталище покойного?

Люди изумленно и растерянно смотрели на старуху, иные старались обойти ее, ибо и сами не знали, где могилы их собственных покойников.

Лишь несколько человек, узнавшие свежие могилы недавно похороненных родственников, выглядели счастливыми на фоне беспоконных, охваченных ужасом людей.

Шери Хол искал могилу своей первой жены.

Выглядел он странно. Несколько дней назад он начал носить чалму. Теперь чалма съехала ему на шею и свободным концом подметала землю.

Шери Хол так же, как и старуха Марьям, останавливал людей и спрашивал их, помнит ли хоть кто-нибудь, где могила его усопшей жены. Вдруг на глаза ему попался довольно высокий холмик, который он принял за место упокоения своего умершего отца Хола-Силача, и он рухнул на него, громко причитая: «О мой отец, о родная душа!»

Холдор-Сороколгун, будто вынырнув из этой самой могилы, с кри-

ками вцепился в чалму Шери Хола; дескать, эта могила — не твоего отца, а моей незабвенной матери...

Неподалеку от них плотник Шохак Ранда копал могилу для самого себя, приговаривая, что лучше уж умереть, чем видеть такое. Когда старуха Марьям, растерянная и озабоченная, проходила мимо него второй раз, плотник Шохак, успевший уже докопать могилу, вылил туда принесенную с собой воду и, растянувшись на дне ямы, просил людей засыпать его землей...

И тут появилась тетушка Чаманоро, которая тотчас вцепилась в седые волосы старухи Марьям и, приговаривая: «Все эти напасти из-за твоих проклятий, козлопоклонница», — с силою потащила ее к отверстой могиле плотника...

Большого кошмара старуха Марьям, должно быть, вообразить не могла и потому проснулась, трепеща от страха. Поняв, что находится не на кладбище, а в своем скорбном обиталище, она не знала, радоваться ей этому или печалиться. Подумав немного, она все же решила, что ее сырая, покосившаяся развалюха куда лучше усыпальницы самого эмира Алимхана.

Но что за сон ей приснился?

На этот вопрос старуха Марьям, как ни старалась, не могла найти удовлетворительного ответа. Наконец беспокойство погнало ее наружу.

Занимался рассвет. Пахло близким дождем.

В тусклых глазах старухи на миг блеснул свет надежды: может, даст Бог, пойдет дождь — хорошо бы ливень — и смоет мрак с души. Да и могила Парисо перестанет дымиться.

Но весь долгий день было сыро, а дождь так и не начался. Сдержанность небес старуха объяснила опять-таки своими проклятиями и приняла бесповоротное решение. Правда, сначала она долго колебалась. Колебалась в надежде, что ее проклятия не достигли «высших ушей». Однако, поразмыслив, поняла, что не только достигли, но и привели к некоторым ответным шагам там, наверху.

В тот же вечер старуха Марьям принесла в жертву свое единственное достояние — некогда знаменитого на весь мир козла.

Сармаддехцы не могли припомнить подобной щедрости за всю историю — со времен царя Ануширвана до сегодняшних дней.

## 5

*В моей печали черным мне кажется рассвет,  
Темна моя лачуга, так подари мне свет!*

Сайидо

На другой день пошел дождь.

Да какой дождь!

Он лил словно из мельничных желобов.

Старуха Марьям облегченно вздохнула, уверенная, что обитатели кладбища при таком-то потоке утолят свою жажду и не станут больше тревожить ее старческий сон.

Плотник Шохак Ранда был убежден, что столь обильный дождь способен погасить огнедышащую лаву кипящего вулкана, не то что сердечный жар неживой особы.

Проницательный дед Сангин, представив себе взъерошенного, обросшего, сильно осунувшегося и побледневшего за эти несколько дней

Барзу, с удовлетворением думал, что бедолага сегодня избавлен от необходимости таскать кувшинами воду на кладбище.

Только сердце тетушки Чаманоро разрывали на части шакал подозрений и волк сомнений: не приведи Бог, чтобы и после такого обильного дождя из могилы дочери по-прежнему валил дым; как тогда она, обреченная на позор, при ее-то сединах, покажется на глаза людям?! Ай, и чего же хочет ее дочь? Или... Прости, Господи, какие только мысли не появляются в человеческой голове!

Однако мысли, что родились в голове тетушки Чаманоро, были пострашнее снов старухи Марьям. Такие они были страшные, что бедная мать не могла больше играть в жмурки с дождем и отсиживаться за оконным стеклом. Так и разрывалось сердце матери, казалось, по ее жилам вместо крови потекло горе, и она больше не могла остаться дома ни на одно мгновение.

Тетушка Чаман набросила на голову дождевик мужа и пустилась в путь, терзая раскисшую от дождя тропинку позади дома зубцами своих каушей третьего размера, сопровождаемая шакалом подозрений и волком сомнений.

Мать приняла, по-видимому, бесповоротное решение, иначе ничто не заставило бы ее, как и любое другое живое существо, покинуть теплый дом в такой потоп ради того, чтобы карабкаться на мокрый, скользкий холм.

Однако, что ни говори, тетушка Чаман была женщина и не имела достаточно мужества, чтобы в одиночку отправиться на кладбище. Вот почему на полпути волк сомнений заступил ей дорогу, а шакал подозрений вцепился в подол: дескать, ай, в своем ли ты уме, что так дерзко и решительно идешь в тот край, откуда еще никто не возвращался, весточки не присылал и к себе не приглашал?!

Тетушка Чаманоро вдруг почувствовала себя страшно одинокой посреди отсыревшей деревни, к горлу подступил тяжелый ком, ее истерзанную душу пронзила новая, незнакомая боль, и иссякшие было от плача по Парисо родники ее глаз вновь до краев наполнились влагой.

Ближайший дом у дороги принадлежал ее старинной приятельнице и новоиспеченному врагу старухе Марьям. В этом доме из двух живых существ вчера осталось одно, другое — старухин козел — превратилось в жертвенное мясо. На усадьбе Марьям, обнявшись, роняли на землю обильные слезы две яблони: должно быть, они оплакивали знаменитого на весь мир козла, прозванного Королевским Козлом Сармадары, а потом, когда лишился своих редкостных рогов, получившего кличку Лысок, ставшего, в конце концов, жертвой кошмарных сновидений своей владелицы.

Поодаль сгорбился, жалуясь, как и хозяин, самому себе на одиночество и тоску, дом Шери Хола, который вручил своих дочерей их мужьям, первую жену — земле (вторая сбежала от него), а сам переселился к младшей дочери — снохе Яздона Шахрбона.

Справа от дороги, на холме, прочно и горделиво, будто посмеиваясь над окружающими его убогими лачугами, возвышался дом плотника Шохака Ранда. Русалка на воротах, словно бы обретя дар речи, манила к себе прохожих. Несмотря на то, что Шохак был в сговоре с самим дьяволом — в этом тетушка Чаман ни минуты не сомневалась, — она любила и уважала его. Поэтому-то с надеждой устремилась к этому дому, подобно тому, как устремляется к маяку потерявшее курс морское судно, и вместе с нею устремились туда же, повилявая хвостами, шакал подозрений и волк сомнений.

В это время плотник Шохак Ранда, который вот уже три дня как не мог работать, с обнаженной головой, с долотом в левой руке и молотком в правой — видно, его посетило вдохновение! — вырезал узоры

по дереву и так был погружен в работу, что не заметил, как в мастерскую вошла тетушка Чаман.

А тетушка Чаман, затаив свое горестное дыхание, несколько мгновений наблюдала за дьявольскими действиями плотника, и его удивительные узоры увели ее из мира горящих могил в мир горячих сердец. Так она стояла, пока рисунок не приобрел отчетливых очертаний, и тогда, словно прорвало плотину молчания, она в ужасе вскрикнула:

— Господи, Шохак, что ты вырезаешь?!

Плотник Шохак вздрогнул от неожиданности, поднял голову, увидел тетушку Чаман, но, не заметив шакала подозрений и волка сомнений, подумал, что женщина, должно быть, узнала о его замысле от сороки-сплетницы, если уж в такой ливень явилась к нему. Поэтому он чистосердечно признался:

— Изображаю дым скорби, Чаман.

— Хочешь осрамить меня в двух мирах, Шохак?!

— Упаси Бог! Почему ты так решила?

— Разве это не дым из могилы Парисо?

— Ошибаешься, это дым из сердца всех страдальцев, он рожден скоротечностью человеческой любви и верности.

Женщина снова взгляделась в удивительный узор, словно хотела испытать, правду говорит Шохак или шутит. На миг в ее душе вновь зашевелились шакал подозрений и волк сомнений.

— Шохак, волк и шакал рвут мое сердце на куски...

— О чем ты?

— Я хочу разрыть могилу Парисо и одним глазком взглянуть на нее.

— Ты в своем уме, Чаман?! Не тревожь покой ушедших суетой этого мира. Тайна того мира была и останется скрытой от нас.

— Волк и шакал не дают мне покоя. Другим не смогла довериться, к тебе пришла в надежде... Знаю, на грех иду и тебя на грех толкаю, но нет у меня ни выхода иного, ни покоя.

— Ты, видно, забыла, что стряслось с женою Шапура?

— Знаю, тронулась умом, когда вместе со старухой Зирой вскрыла могилу сына и увидела кишаших червей на родимом теле. Ты это имеешь в виду?

— Именно.

— Лучше лишиться ума, чем так жить!

Плотник Шохак в сердцах швырнул на доски долото и молоток и в гневе взглянул на тетушку Чаман. Его поразили устремленный на него умоляющий взгляд женщины, и он понял, что она не отстанет от него, пока не добьется своего. «Будь здесь дед Сангин, он нашел бы несколько убедительных слов и отговорил ее,— с сожалением подумал плотник,— я же легче нахожу общий язык с деревом, чем с людьми».

— Ладно, ничего, видно, не поделаешь,— помедлив, вымолвил он,— раз ты этого желаешь, будь по-твоему. Однако в такой ливень ничего не удастся сделать, подождем, пока кончится дождь, и пойдем.

Плотник сказал это, крепко надеясь, что, пока кончится дождь, женщина отступится от задуманного.

Тетушка Чаман, немного подумав, приняла предложение плотника и, тяжело поднявшись с места, оставила мастерскую с долотом и молотком Шохаку, сама же отправилась назад по раскисшей дороге, терзая ее своими каушами третьего размера и погоняя волка сомнений и шакала подозрений.

Шохак проводил взглядом женщину и снова взялся за долото и молоток, но, постояв минуту без движения, в ярости отбросил инструменты на ворох стружек. Плотник снова утратил вкус к работе.

*Я знаю, повести моей печальной близится конец,  
Кровавый стон и день, и ночь — удел израненных  
сердец.  
Хафиз*

Дождь лил три дня.

И три дня Барзу Озарпур молча выжидал, когда кончится дождь. Он заперся в своей спальне и не слушал советов и увещаний домашних. Две ночи кряду во сне ему являлась Парисо. Странно выглядела она в его снах: водопад волос запачкан глиной, засорен соломинками, большие лучистые глаза глубоко запали, обычно румяные щеки и алые губы смертельно бледны, вместо платья одета в саван.

Одеяние Парисо с одной стороны тлело изнутри и дымилось, и дым пропах ароматом ее тела, который Барзу так любил. Но теперь этот приятный запах душил его, омрачал в его глазах светлый мир. Барзу ходил за Парисо на четвереньках, целовал край савана и умолял, чтобы она простила его, не обрекала на жгучие муки.

Парисо не произносила ни слова, опускалась на колени перед Барзу, трепала пальцами его волосы, осыпала поцелуями руки, лицо, колени, как это делала при жизни. И эти ласки, которые прежде возносили Барзу от земли до небес, теперь низвергали его с небес в преисподнюю, ибо ее руки и губы были ледяные, и, когда они касались его, Барзу содрогался от ужаса, ему хотелось вернуться от ее ласк и бежать куда глаза глядят. Это веселило Парисо, она звонко смеялась, и при этом с ее губ срывались не свежие цветы — когда Парисо была жива и смеялась, Барзу казалось, что с ее губ сыплются цветы, — а песок и комки сухой глины...

Барзу просыпался весь в холодном поту и снова выносил из комнаты наружу все, что напоминало ему о Парисо. Но чтобы забыть ее, этот дом следовало бы разрушить до основания, ибо здесь не было ничего, что не напоминало бы о Парисо.

Барзу Озарпур, директор сармаддехской школы, защитивший дипломную работу по атеизму на тему «Призраки и духи в верованиях обитателей Сармаддары», опровергнувший существование всех действительных и мнимых духов и призраков земли, обросший и заметно поседевший за эти несколько дней, сколько ни размышлял о причинах происходящего в последнее время, не находил им объяснения и все больше утверждался в мысли, что страдает безвинно. Ну что тут такого, если он пожелал жениться, не справив года по Парисо? Ведь только пожелал — не женился! Имейте же совесть, разве я кому-нибудь поклялся оставаться бобылем всю жизнь!

Если бы весть о дымящейся могиле Парисо принес кто-нибудь другой, а не плотник Шохак Ранда, Барзу ни за что не поверил бы. Не только он — никто из обитателей Сармаддеха не сомневался в честности и благородстве Шохака Ранда. Потому-то Барзу, едва услышав, что из могилы Парисо валит дым, тотчас поверил, что это истинная правда... В тот же день он трижды тайком от людей сбегал на кладбище. Три раза облил водой могилу и ждал, что она перестанет дымиться, но дым, словно подпитываясь водой, клубился еще сильнее. И на следующее утро, когда Барзу носил воду уже не таясь, он все еще надеялся, хотя и видел безуспешность своих усилий, что дух Парисо теперь оставит его в покое.

Однако уже накануне дождливого дня Барзу носил воду только для того, чтобы люди не подумали, будто он спасовал от отчаяния и трусости...

И вот три дня, как небо наслало на землю этот Страшный Суд

в виде проливного дождя, и Барзу Озарпур со страхом, смешанным с надеждой, ждал, когда прекратится ливень.

Ранним утром, лишь только кончился дождь и из сырой мрачной берлоги выкатилось на небо лучезарное солнце, Барзу Озарпур был уже на полпути между деревней и кладбищем. Если бы в этот час его увидел прохожий, определенно принял бы его за встревоженного чем-то безумца, сбежавшего из лечебницы и спешащего в воображаемый мир.

В это же время тетушка Чаманоро и плотник Шохак Ранда тайком направлялись к кладбищу, но шли они не по дороге, а в обход, чтобы не попасться на глаза любопытным и не выдать ненароком своих намерений. Они вышли с петухами, надеясь, что деревня еще спит, а кладбище пустынно, но, неожиданно заметив шагающего к кладбищу Барзу Озарпура, притаились за большим валуном и стали ждать, когда он уйдет, чтобы потом заняться своим делом.

Между тем Барзу приближался к кладбищу, и чем ближе он подходил, тем сильнее волновался, наконец, ему стало казаться, что сердце гонит по сосудам не кровь, а жгучее пламя.

Как бы там ни было, он надеялся, что за три дождливых дня, которые он провел в немом ожидании, Парисо, видя его страдания и муки, простила ему прегрешения.

Но дойдя до кладбища и повернув к знакомой могиле, Барзу вскрикнул и сам задымился от увиденного.

Из могилы Парисо по-прежнему валили густые клубы дыма!

Барзу Озарпур приблизился к могиле. Он смотрел на нее тупо и безнадежно. Потом, внезапно переменившись в лице, словно его ужалил скорпион, с криком: «Оставишь меня в покое или нет!» — он бросился к могиле и в ярости стал топтать ее ногами. И столь же внезапно побежал прочь из страны, именуемой «краем безмолвия».

Плотник Шохак Ранда и старуха Чаманоро, наблюдавшие из своего укрытия его бешеный галоп, поспешили на кладбище, подошли к могиле Парисо и...

...и увидели, что могила больше не дымится.

7

*Пламень тоски обжигает мне сердце в груди, как кебаб,  
Дым скорбей бедняка сочится отсель, где бы он ни страдал.*

*Бедиль*

Ай да Парисо, Парисо!

*Перевод с фарси Хуршеды Даврондухт*

---

---

# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

---

---

К 90-летию со дня смерти А. П. Чехова

Н. М. ЕЖОВ

## ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

(Памяти Антона Павловича Чехова)

*Николай Михайлович Ежов (1862—1941) литературную деятельность начал в 1882 году. Сотрудничал в изданиях «Будильник», «Осколки», «Петербургская газета», «Северный вестник», «Сверчок», «Гусляр», «Север». С 1896 года — московский корреспондент «Нового времени». Ежов — автор нескольких сборников рассказов: «Енотовый мопс» (1889), «Облака» и другие рассказы» (1893), «Гирлянда» (1898), «Живые цветы» (1899), «Смешные сюжеты» (1901).*

*В 1887 году Ежов познакомился с Чеховым, с которым поддерживал добрые отношения до самой смерти писателя. В начале своей литературной деятельности испытал на себе влияние Чехова, пользовался его неизменной помощью и поддержкой. Чехов не только давал ценные советы молодому писателю, но и помогал устраивать в печати его произведения. «Добрые заботы Чехова обо мне, — вспоминал в 1904 году Ежов, — продолжались и после того, как я стал писать фельетоны из Москвы. Он присылал мне письма, указывал промахи, отмечал удачное, словом, остался добрым другом, память о котором всегда сохраняется в моем сердце»<sup>1</sup>.*

*Однако пять лет спустя в журнале «Исторический вестник» (1909, кн. 8) Ежов опубликовал статью «Антон Павлович Чехов», в которой оспаривал высокие достоинства Чехова, писателя и человека.*

*Шло время. Слава Чехова росла. Изменилось к нему отношение и Ежова, пересмотревшего свои прежние взгляды. На закате жизни, в 1940 году, Ежов написал воспоминания, озаглавив их «Последнее свидание (Памяти Антона Павловича Чехова)».*

*Текст воспоминаний Н. М. Ежова печатается впервые, по рукописи, хранящейся в Российском Государственном архиве литературы и искусства (ф. 189, оп. 1, ед. хр. 1).*

*Настали темные, тяжелые дни...*

*Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, — никнет и разрушается. Под гору пошла дорога! <...>*

*Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания, — и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны!*

*Тургенев. «Стихотворения в прозе»<sup>2</sup>*

## I

Дорогое, светлое прошлое? Оно действительно, как дыхание весны, может воскресить в душе былые дни юности и счастья, дни, в которых и заключена вся суть человеческой жизни.

Находясь теперь у дверей гроба, пережив родных, близких, друзей, утомленный трудом, испытавший коварство надежд, я не забываю свое прошедшее, в те годы столь близкое сердцу, но и теперь оставшееся дорогим и милым...

С каким-то особенным, горько-блаженным ощущением читаю я иногда пожелтевшие от времени старые письма, смотрю на выцветающие портреты, и как будто оживают их лица, и точно слышу я знакомые голоса, и от всего этого дрожит моя рука, держащая перо, а слезы просятся на уставшие глаза...

Давно, давно отстранился я от своей любимой и свободной деятельности. Я вынужден был взяться за работу тяжелую, мало мне свойственную. Правда, я не опустил рук и трудился упорно и добросовестно... и вот теперь мне приходится снова вспомнить былое. Оно зовет меня, улыбается мне солнцем, весенней зеленью и цветами юности...

Из этих воспоминаний я хочу собрать небольшой венок и положить его на могилу одного из выдающихся литературных деятелей, моего старшего товарища по профессии, с которым счастливая судьба позволила мне встретиться на жизненном пути и много лет пользоваться его добрым расположением.

\* \* \*

В последние годы прошлого столетия на русском литературном небосклоне, постепенно погружающемся в унылые сумерки посредственности и заурядности, вдруг заблестела яркая звездочка, привлекавшая к себе всеобщее внимание.

То был начинающий писатель *Антон Павлович Чехов*. Прежние светила слова давно угасли, а их потомки, носящие звание литераторов, не имели тех крыльев Икара, которые могли бы вознести их к небу, как Чехова.

Правда, в Ясной Поляне обитал могучий лев художественных созданий, которыми зачитывался весь образованный мир, но этот титан отошел в сторону от своего золотого творчества и занялся чем-то иным, что не добавило к его царственному венцу ни одного равноценного лавра.

Появление первого рассказа Чехова в большой прессе напоминало взлет красивой, разноцветной ракеты. Это было полной неожиданностью для публики. Все были восхищены.

Но знаете ли, кто первыми рукоплескал Чехову гораздо раньше, чем его узнали повсюду? Маленький кружок сотрудников юмористических журналов, где Чехов помещал под всевдонимом «А. Чехонте» свои очерки и мелкие вещицы. Мы, сотрудники этих журналов, начинающие юмористы, давно восторгались этими бриллиантами живого, оригинального юмора. Мы были убеждены, что в нашей среде расцветает первозрядный талант. Когда же в «Осколках», издаваемых в С. Петербурге Н. А. Лейкиным<sup>3</sup> (в компании с типографом Р. Р. Голике<sup>4</sup>), стали печататься рассказы А. Чехонте, мы сейчас же наименовали их шедеврами беллетристики, а широкая публика пока их совершенно не ведала.

В те годы юмористический журнал «Осколки» был самым лучшим, и не только потому, что его украшали рассказы Чехонте. Весь состав

редакции был замечателен, начиная с талантливого рассказчика Н. А. Лейкина, отлично редактировавшего «Осколки» и писавшего в них. Вот перечень главных сотрудников, которые также создавали успех журналу:

1) *Виктор Викторович Билибин*<sup>5</sup>, секретарь «Осколков», талантливый юморист, автор замечательных водевилей, образованный человек и незаменимый помощник Лейкину.

2) Поэт-лирик и поэт-сатирик *Лиодор Иванович Пальмин*<sup>6</sup>, сотрудник многих других журналов, обладавший звучным стихом и прекрасным юмором. Его хвалил А. А. Фет.

3) Поэт *Леонид Николаевич Трефолов*<sup>7</sup>, также очень талантливый и известный писатель.

4) *Александр Семенович Лазарев* (А. Грузинский)<sup>8</sup>, рассказы которого печатались в «Осколках», в «Петербургской газете» и в других изданиях. Талантливый и прекрасный работник.

5) *Александр Павлович Чехов*, старший брат А(нтон)а П(авло)ви(ч)а, писавший в «Осколках» под псевдонимом «Агафопод Единицын», человек талантливый (например, его рассказ в «Осколках» — «Тарасик» — можно поставить наряду с рассказами брата), но скоро забросивший беллетристику.

6) *Евгений Кони* (псевдоним «Юша») <sup>9</sup>, автор очень хороших рассказов и других заметок. Писал из Сибири.

К этим постоянным сотрудникам присоеди(ни)лся и я, самый младший и по возрасту, и по значению. В «Осколках» я писал мелочи, стихи и, наконец, рассказы (под псевдонимом «Д. К. Ламанчский»).

Но над всеми нами возвышался, конечно, А. Чехонте, рассказы которого впоследствии, при издании их в особых книгах поразили и восхитили всех читателей.

Насколько журнал «Осколки» имел успех, доказывает, что его не обходили даже старые писатели с большими, заслуженными именами. Так, Лейкину присылали свои статьи Н. С. Лесков<sup>10</sup>, Вас. И. Немирович-Данченко<sup>11</sup>, Баранцевич<sup>12</sup>, Альбов<sup>13</sup>, Мережковский<sup>14</sup> и многие другие.

Я позволил себе более подробно остановиться на «Осколках» исключительно потому, что это была первая колыбель, гнездо, где оперился «орленок» и вылетел оттуда юным и сильным «орлом». Да и Чехов всегда говорил о журнале Лейкина:

— Это была моя школа, в «Осколках» я впервые почувствовал себя писателем.

Чехов писал рассказы в «Осколках», в «Петербургской газете», издаваемой в Петербурге С. Н. Худековым<sup>15</sup>, и, наконец, дебютировал в «Новом времени»<sup>16</sup>. Интересно пояснить, каким путем начинающий беллетрист достиг литературных вершин, и кто ему, прямо или косвенно, явился помощником в этих достижениях. Это все совершалось на моих глазах, и я сообщаю читателю об этом следующее.

Первый, кто понял дарование А. Чехонте и обратил на него внимание Лейкина, был *Л. И. Пальмин*. Он прямо сказал, что это находка для всякого юмористического журнала, и тогда в «Осколках» появился А. Чехонте, где и расцвел его талант.

*Н. А. Лейкин* понял, что такое таится в А. Чехонте, и поспособствовал его сотрудничеству в «Петербургской газете», где тот же А. Чехонте восхищал всех такими же великолепными рассказами, какие он печатал в «Осколках».

Третьим лицом, понявшим Чехова, является талантливый критик «Нового времени» *Виктор Петрович Буренин*<sup>17</sup>. Однажды, придя в свою редакцию, он обратился к А. С. Суворину<sup>18</sup> и сказал:

— Вам не приходилось читать в газете Худекова небольшие рассказы некоего Чехонте? Натя, вот я нарочно захватил с собой его

рассказ «Егерь»<sup>19</sup>, прочтите. Этот очерк навеян рассказом Тургенева «Свидание», но у автора есть и свое, этот Чехонте обладает отличным слогом, умом, талантом; его описания верны, художественны и своеобразны.

— Нет,— отвечал Суворин,— я не знаком с этим... как вы его называли?

— Чехонте... Я уж его два раза читал. Помню, в его очерке «Скорая помощь» преуморительно описано, как невежественная толпа, спасши утопленника, потом закачала его насмерть. Нет, я прямо говорю: Чехонте — талант, и, право, не худо бы его залучить к нам, в «Новое время». У нас есть отдел «Субботники», там иногда помещались беллетристические рассказы, но все плохонькие...

При этом разговоре случайно присутствовал престарелый и ничего более не писавший Д. В. Григорович<sup>20</sup>. Рассказ Чехова «Егерь» тут же был прочтен и всем чрезвычайно понравился. Результатом этого явилось приглашение Чехова сотрудничать в «Новом времени».

Насколько Суворину, литератору чуткому, пришлось по душе Чехов, доказывает следующий эпизод. Когда Чехов прислал («му» свое первое произведение — «Панихиду», подписав его прежним псевдонимом «А. Чехонте», Суворин, прочтя рассказ и найдя его прекрасным, телеграммой запросил автора, согласен ли он дать под этот рассказ свою настоящую фамилию. Чехов, конечно, согласился.

Второй случай. Когда в редакции «Нового времени» был получен рассказ Чехова «Ведьма»<sup>21</sup>, то там нашлась такая сцена: дьячок, упрекавший жену за измены, взял подол своей рубашки, чтобы обтереть себе лицо, но этим обнажил себе живот, на котором был «пупок, большой и серый, как бублик». Некоторые сотрудники нашли, что это чересчур реально, и советовали вычеркнуть<sup>22</sup>.

— Нет, ни за что! — возразил Суворин.— Вычеркивать из таких рассказов нельзя ни строки, это бы значило их портить. Кроме того, я нахожу сравнение Чехова бесподобным... оно верно и оригинально!

Когда Суворин издал первую книжку Чехова «В сумерках», газетная и журнальная критика встретила ее сдержанно. Особенно дали сухой и краткий отчет маститые профессора, издатели «Русских ведомостей». Это понятно. Как им было хвалить Чехова, когда он сотрудничал во враждебном для них «Новом времени»; другое дело, если бы он печатал свои рассказы у них, в одревенелой газете, весьма бесталанной и в той же мере скучной.

Один Буренин отдал Чехову должное и выразил мнение, что автор книги «В сумерках» талантливее всех его сверстников, занимающихся беллетристикой<sup>23</sup>.

Но публика встретила эту книгу с восторгом и раскупила ее первое издание в поразительно короткий срок. Да что публика! — сам великий старец Лев Николаевич Толстой, говоря о Чехове, сказал, что он не мог без хохота читать рассказ «Драма»<sup>24</sup>, и называл его превосходным.

Однако ж другие тогдашние критики все-таки держались особого взгляда и рядом с Чеховым ставили многих беллетристов, а первое место отдавали В. Г. Короленко. Я считаю это очень грубой ошибкой, и восхваления Короленко совершенно мне непонятны. Вернее всех определил Буренин, что Чехов выше целой головой остальных писателей, а также и Короленко.

Приведу еще курьезный образчик полного отсутствия критической проницательности. Сотрудник «Русских ведомостей» И. Ф. Василевский (Буква)<sup>25</sup> издавал в Петербурге юмористический журнал «Стрекоза», довольно пошловатый. А Чехонте послал Василевскому свои статьи, а Василевский в «Почтовом ящике» своего журнала развязно ответил: «Нет, Чехонте, из вас никогда не выйдет писателя. Бросьте!»<sup>26</sup>

Чехонте послушался и бросил... «Стрекозу» и адресовался в «Осколки», где и появились такие его рассказы, до которых всем сотрудникам «Стрекозы» с Василевским во главе — как до звезды небесной далеко...

Еще одно. В Москве издавался толстый журнал «Ветряная мельница» (как называли у нас «Русскую мысль» мукомола В. М. Лаврова)<sup>27</sup>.

В этом журнале главный его сотрудник Виктор Гольцев<sup>28</sup> выразился, что «рассказы Чехова ничего особенного не представляют»<sup>29</sup>. Это рассердило Ан(тона) П(авлови)ча. Но чего же было ждать от полубразованного издателя и бесцветного сотрудника «Русской мысли», если они ухитрились «забраковать» рассказ Н. С. Лескова «Полуношники», где изумительно был изображен «пророк», священник Иоанн Кронштадтский!<sup>30</sup>

Удивленный и оскорбившийся Лесков сейчас же отправил «Полуношников» М. М. Стасюлевичу<sup>31</sup>, редактору-издателю лучшего тогда журнала «Вестник Европы», и Стасюлевич немедленно напечатал у себя этот превосходный во всех отношениях рассказ<sup>32</sup>.

Таким образом, для Лаврова и Гольцева не годились ни Лесков, ни Чехов. Им казался гораздо интереснее... Григорий Мачтет!<sup>33</sup> *Suum cuique!*<sup>34</sup>

## II

Однажды приятель мой А. С. Лазарев зашел ко мне и сообщил, что Чехов желал бы познакомиться с «Д. К. Ламанчским» и просит к нему как-нибудь заглянуть. Я этому приглашению, конечно, обрадовался, и мы пошли к Ан(тону) П(авлови)чу вместе.

Чехов тогда жил на Кудринской-Садовой, в доме Корнеева, и занимал верх и низ во флигеле. С ним жила его семья: отец, мать, сестра и братья Иван и Михаил. Старшие братья Александр и Николай жили отдельно, первый в Петербурге, второй в Москве.

Когда я в первый раз увидел Чехова, ему было не более 27 лет. Он представлял собой жизнерадостного молодого человека, роста выше среднего, стройного, с волнистыми темно-русыми волосами, с глазами коричневого цвета, «как копейки» (выражение самого Чехова, охарактеризовавшего так оригинально глаза девочки в рассказе «Детвора»), с небольшими усами и бородкой. Его интересное лицо отчасти походило на лицо Антона Рубинштейна<sup>35</sup>.

Чехов принял нас просто, по-товарищески, без тени важности, присущей некоторым знаменитостям, как настоящим, так, особенно, поддельным. Впоследствии Чехов подарил мне экземпляр первого издания «книги» рассказов «В сумерках» и сделал на нем такую надпись:

«Николаю Михайловичу Ежову, компатриоту по осколочной части».

С этого дня я стал часто приходить к Ан(тону) П(авлови)чу, изредка бывал и он у меня. Я обожал Чехова и как писателя, и как человека.

Тут приходится сказать, что я и Лазарев сотрудничали, кроме «Осколков», и в других юмористических журналах — в «Будильнике» и в «Развлечении». Первый влачил жалкое существование, потому что у его издательницы Уткиной<sup>36</sup> не было денег, а у ее редакторов (Н. П. Кичеева<sup>37</sup> и А. Д. Курепина<sup>38</sup>) — таланта.

«Будильник» спасся тем, что его купил «за 22 копейки» (острота А. П. Чехова) чиновник Политехнического музея и «крестник» московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова<sup>39</sup> — Владимир Дмитриевич Левинский<sup>40</sup>, человек, никакого отношения к литературе не имеющий. Но у княжеского «крестника» были деньги, знакомства и коммерческая сметка. Журнал у него редактировали сначала

А. Д. Курепин, потом А. С. Лазарев (А. Грузинский), сам же хозяин изволил «взять на себя» критику всех московских театров и свои очень плохие и беззубые заметки подписывал аристократическим псевдонимом «Маркиз Вольдемар де Эль».

Насколько мы, компатриоты Чехова по осколочной части, являлись партизанами Ан(тона) П(авлови)ча и сражались за него и словом, и пером, настолько же «будильниковцы» относились к нему если не совсем отрицательно, то с оговорками, диктуемыми и завистью, и непониманием.

К сожалению, даже А. В. Амфитеатров<sup>44</sup> и В. М. Дорошевич<sup>42</sup>, литераторы настоящие и талантливые, оказались в числе тайных и шипящих недоброжелателей Чехова. Впрочем, оба они во все дни своего бытия не гонялись за справедливостью, поведения были, как выражаются в Москве, самого «забубенного», и владела ими одна страсть — *auri sacra famés*<sup>43</sup>.

Так, Дорошевич продавался по очереди то «Московскому листку» Н. И. Пастухова<sup>44</sup>, то «Новостям дня» А. Я. Липскерова<sup>45</sup>. Находясь под смоковницей «Миколая Ваныча», он в его «Листке» страшно поносил «Газету Иудину» (как он именовал «Новости дня»), а потом, эмигрировав сам в «Газету Иудину», сочинял о Пастухове, что будто бы тот, в древности, «пропившись дотла», представлял в балаганах «дикого человека из породы людоедов» и даже «ел живых голубей» (!).

Амфитеатров, сын московского священника и проповедника о(тца) Валентина, был в той же степени беспринципен, как и Дорошевич, и в политическом отношении обладал свойствами хамелеона. Так, в «Новом времени» он рекомендовался и патриотом, и юдофобом, и сторонником православия, бранил не только Нотовича<sup>46</sup>, но и самого Генриха Гейне за их национальность. Однако принужденный — *volens-nolens*<sup>47</sup> — уйти из «Нового времени», он, купно с Дорошевичем, основался в газете «Россия», где оба эти друга все и вся ругали направо, причем «православный патриот и юдофоб» Амфитеатров переметнулся в космополита, в атеиста; он — монархист-патриот — вдруг потребовал введения у нас буржуазной республики!

А когда русская жизнь приняла новые формы, Амфитеатров, как некрасовский заяц, посмотрел, послушал и «вон побежал»<sup>48</sup>... Да, именно так: слыша всеобщий призыв к труду, наш литературный заяц немедленно бежал за границу, очевидно, руководясь гейневскими «героями наших дней», Крапулинским и Вашляпским, которые решили, что



За отчизну пасть приятно,  
Но еще приятней жить!<sup>49</sup>

Так вот, эти два русских бесцеремонных литератора, Дорошевич и Амфитеатров, как только скончался А. П. Чехов, кстати сказать, отзывавшийся о них весьма непохвально и их чуждавшийся, — вдруг оказались не только горячими поклонниками усопшего писателя, но и «близкими приятелями» его. Дорошевич писал об этом в «Русском слове»<sup>50</sup>, а Амфитеатров посвятил Чехову фарисейские стихи, где объявил, что он «сам не знал, как любил Чехова», и даже назвал его своим «другом» (!) и «братом» (!?)<sup>51</sup>.

Вообще надо сказать, что после смерти А. П. Чехова народилась целая армия «близких друзей» его, и они печатали о нем весьма сумбурные и явно выдуманные воспоминания.

### III

Один поклонник таланта Чехова, некто Н. А. Стрижевский<sup>52</sup>, говорил следующее:

— Если бы Ан(тон) П(авлови)ч взялся написать о русском быте

что-нибудь вроде «Записок Пиквикского клуба», я убежден, что он выполнил бы эту задачу нисколько не хуже Диккенса, а может быть, и лучше его!

Но Чехов скоро избрал для себя иную цель: он решил писать... для театра. Однажды он пригласил меня к себе и сказал:

— Грузинский говорил, что вы очень хорошо читаете и даже с успехом играли в любительских спектаклях. Вот что: не прочтете ли мне одну комедию... а я посижу и послушаю.

— Чья же это комедия? — спросил я.

— Моя! — с улыбкой отвечал Ан<тон> П<авлови>ч.

То была драма «Иванов», игранная в Москве, в театре Корша, потом в Петербурге, в «Александринке».

Прочтя вслух эту пьесу, я поразился ее мрачностью.

У Корша «Иванова» исполнили посредственно. Актеры не поняли пьесы. Даже прекрасный артист И. П. Киселевский<sup>53</sup>, играя роль графа Шабельского, совершенно по-водевильному сказал фразу: «Я не могу допустить мысли, чтобы живой человек вдруг, ни с того ни с сего, умер!» Фразу эту следовало произнести тонко, с разумением ее трагической сути, но исполнитель сказал ее так, что публика... весело рассмеялась (!).

В Петербурге играли «Иванова» несравненно лучше, пьеса имела успех, а Суворин написал о ней восторженный отзыв.\*

«Иванов» решил судьбу Чехова. Он стал драматургом и на этом поприще также получил лавры, вполне им заслуженные.

В публике и в прессе, однако, возбуждался вопрос: правильно ли поступил Чехов, меняя беллетристику на драматическую литературу. Трудно сказать, написал бы Чехов, оставаясь беллетристом, что-нибудь вроде «Записок Пиквикского клуба» Диккенса или «Мертвых душ» Гоголя, но, во всяком случае, он как драматург создал оригинальные произведения, своеобразные и создавшие многих подражателей.

Чехов, впрочем, не оставил и беллетристику. Его захватил к себе все тот же В. М. Лавров, который раньше не признавал Чехова, а теперь добился того, что Ан<тон> П<авлови>ч стал печатать в «Русской мысли» свои повести и рассказы, и после этого хвалил его.

Таким-то образом и с Лавровым приключилась своего рода «метаморфоза»: сначала он с Гольцевым отрицали Чехова, потом поклонились ему «в ножки».

Так иногда судьба-злодейка шутит с иными литераторами, превращая их из антагонистов в апологеты.



## IV

Время шло, изменились условия русской жизни, изменялись мы сами. Я уже был московским сотрудником «Нового времени» и по субботам писал в этой газете свои фельетоны за подписью «Не фельетонист». Это был своего рода «военный пост». Приходилось часто сражаться, потому что нередко затронутые общественные учреждения принимались возражать, вызывая полемику и даже подавая жалобы на меня прокурору и т. п. Меня пробовали и подкупить, и грозил вызовом на дуэль, и писали доносы А. С. Суворину. Так однажды московский городской голова князь В. М. Голицын<sup>54</sup> в ответ на мой фельетон о безобразиях в московских больницах прислал в «Новое время» опровержение, но при этом прислал о следующем: «В фельетоне вашего сотрудника о городских больницах в Москве написано много неверного, прошу редакцию от себя опровергнуть неточности г. Не фельетониста, но не упоминать, что лично от меня вы получили эту просьбу. Вам достаточно, что опровергаю статью я сам».

А. С. Суворин был одним из выдающихся редакторов и по таланту, и по уму. Приблизительно он написал мне так: посылаю вам донос на вас московского городского головы, если действительно вы получили неверные сведения и поэтому допустили ошибку, исправьте это в следующем фельетоне; если же в вашей статье все правда — бейте князя Голицына по тому же больному месту, потому что в его просьбе скрыть, что от его лица идет опровержение, я чувствую какую-то передержку».

Проверив еще раз те факты, которые в моем фельетоне задела Голицына, я написал вторую статью о наших больницах и еще крепче приударил по больничным минусам.

Чехов читал эту статью и при встрече сказал мне:

— Вы еще мало написали, гораздо мягче, чем следовало. Что говорить о городских больницах, когда меня самого в московских клиниках у Остроумова<sup>55</sup> так скверно кормили, что ужас! Вы подумайте, это было со мной, писателем и врачом, как же они питают обыкновенных смертных?

Когда Ан(тон) П(авлович) находился в клинике, где его скверно кормили, посетил его Л. Н. Толстой<sup>56</sup>. То-то был там переполох!

Мы теперь встречались с Чеховым гораздо реже. Он часто уезжал за границу, я был занят фельетонами, собирал материалы по Москве, а также ездил в различные командировки; редакция посылала меня на большие процессы (например, в Полтаву, на громко(е) дело бр(атьев) Скитских<sup>57</sup>), на ртутные заводы Ауэрбаха в Екатеринославской губернии; наконец, я был направлен в Астапово, где скончался Л. Н. Толстой: там я пробыл 11 суток, причем не спал все ночи, все время посылая срочные телеграммы о ходе болезни великого больного. Кроме того, Суворин однажды предложил мне, как знающему хорошо городское хозяйство Москвы, съездить в Берлин, сравнить московское хозяйство с берлинским и непременно дать об этом статью.

— А из Берлина, — сказал он, — вы уже для собственного удовольствия съездите в Париж, посмотрите там всемирную выставку (1900 г(ода)).

Вот как относился Суворин к своим сотрудникам, в добросовестность и умение которых верил!

## V

Таким образом шли, бежали и летели быстротечные годы...

Антон Павлович Чехов весь отдался драматическому искусству и написал ряд пьес. Его драма «Чайка», не имевшая удачи в Александринском театре, наоборот, в Московском Художественном прошла с колоссальным успехом. И надо отдать справедливость Станиславскому и Вл. Немировичу-Данченко: они приложили все усилия, чтобы украсить «Чайку» всем тем, чем всегда отличался этот театр, именно — тщательной срепетовкой, умелым распределением ролей, прекрасным ансамблем и т. д.

Чехов, окрыленный этим блестящим результатом представления его любимого произведения, принялся за другие пьесы: «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» были им написаны очень быстро, и опять успех был головокружительный...

К сожалению, здоровье Ан(тона) П(авлови)ча все более и более расстраивалось. Ему пришлось часто уезжать в Крым, на свою дачу в Ялте, а когда он возвращался в Москву, мало кого принимал.

Я в то время подолгу не видался с Чеховым. Занятия мои отнимали у меня почти все время; приходилось бывать в разных заседаниях, в городской думе, в земстве, посещать премьеры московских театров и т. п. Иногда весь день проходил в деловых разъездах, а ночь — в писа-

нии корреспонденций. Вот причина, почему я редко навещал Ан(тона) П(авлови)ча.

Между тем слухи об усилении его болезни распространились и в Петербурге, и Суворин просил меня навестить Чехова и написать ему о том, насколько справедливы дошедшие до него печальные новости.

Я отправился на Спиридоновку, в д(ом) Бойцова, где тогда жил Чехов. Перед этим я слышал, что болезнь его весьма серьезна, и к нему даже не всех допускают, потому что частые визиты очень утомляли Ан(тона) П(авлови)ча.

Прислуга отперла мне дверь и сказала, чтобы я предварительно посидел в зале и обогрелся, а уж потом мог пройти в кабинет к хозяину.

Через несколько минут я постучался слегка в дверь чеховского кабинета. Никто не отвечал. Я тогда потихоньку прошел в комнату... и, никого не увидя, остановился и <стал> озира(ть)ся.

— А, это вы, Н(иколай) М(ихайлович)? — услышался слабый, но знакомый мне голос. — Что это вы пропали?

Только тут я заметил Ан(тона) П(авлови)ча, сидящего на кожаном кресле, стоявшем возле письменного стола... Но, Боже мой! — это была тень прежнего Чехова... Как он исхудал, умалился, как изменился! Побледнело, обострилось это симпатичное лицо, высохло это когда-то нормальное, здоровое чело! Куда девались волны густых волос, блеск глаз, оживленность их выражения?!

Что-то бессильное, глубоко скорбное ощущалось во всем Чехове. Такой ужасной перемены я совершенно не ожидал. Я был ошеломлен, растерялся. Все дела и поручения были мною тут же позабыты... можно ли, не преступно ли утруждать какими-то скучными делами эту тихо угасающую жизнь? О, как пробудилась во мне старая, горячая любовь к этому благородному и доброму товарищу! Но эта любовь теперь была полна муки глубокого сожаления...

— Ну, как поживаете, Н(иколай) М(ихайлович)? — спросил Чехов.

Я хотел ответить — и не мог: мои губы, против воли, задрожали, и я молчал. С чем сравнить мое тогдашнее состояние духа? — когда-то в юности случайно услышал я игру на скрипке талантливого музыканта: грустная мелодия, дивно исполненная, поработила меня, ее звуки становились все нежнее, тоньше, они неслись как бы вверх... и с ними вместе поднимались мне к горлу и жгли ресницы глаз обильные слезы... Вот точно такое же ощущение испытал я при виде почти умирающего Чехова... Ведь это разрушалось высокоценное художественное здание!

Мне хотелось зарыдать, я понимал, что все мы скоро утратим Чехова, утратим навсегда!

Справившись кое-как со своим волнением, я осведомился, не мешаю ли я Ан(тону) П(авлови)чу, так как он, может быть, занят...

— Вот именно, я сейчас ничем не занят и сижу один, — сказал он. — Дома никого нет... Сижу и думаю: не поехать ли в Петровский парк немного погулять... Что, холодно на дворе?

— Нет, погода хорошая, солнце!

— Гм! Сейчас, пожалуй, поздно... Знаете, что? Приходите в парк завтра, часам к двенадцати, я тоже там буду в это время. Посидим на лавочке, потолкуем... Видите, П(иколай) М(ихайлович), я вам, как женщине, rendez-vous<sup>58</sup> назначаю!

Чехов улыбнулся бледной улыбкой, и все его лицо изрезалось мелкими морщинками.

Я поспешил сказать, что буду ждать его, и хотел откланяться.

— Погодите, — остановил меня Ан(тон) П(авлови)ч. — Скажите мне... верите вы в будущую жизнь?

Я был испуган таким вопросом и не знал, что сказать в ответ.

А Чехов, мечтательно и медленно, как бы думая вслух, промолвил:

— Гамлет сказал, что есть многое на свете, что <и> не снилось

мудрецам... Я не раз думал: что это — невежество Шекспира, написавшего такую фразу более 300 лет тому назад, или раздумье философа, задающего вопрос небесам? Вот Лев Толстой все отвергает, а сам пишет, что смерть — воскресенье! Даже такой гигант сомневается... Н-да, вот тут и изворачивайся на обе стороны.

С содроганием я слушал Чехова. Слова его звенели предсмертными стонами организма, разрушаемого беспощадной болезнью. Я ощущал страшную тоску, сердце мое судорожно билось.

А Чехов продолжал:

— Ум человеческий трезв, пока здорово и цело все естество. А если сердце изжито и пусто, ему ничто не поможет: ни религия, ни медицина... Я всегда был реалистом, но...

Он опустил голову на грудь.

Как грустна, как трогательна была его поза! До сих пор она остается в моей памяти, и теперь я, старик, полуизжитым и пустеющим сердцем точно вижу перед собою комнату Чехова, кресло, а на нем — пониженного, исхудалого, умирающего дорогого писателя...

Так, не поднимая головы, он все сидел, и мне казалось, что это маленький ребенок, беспомощный, одинокий, и во всем мире не отыщется для него любящей матери, которая могла бы прижать его к своей груди и силою любви избавить от злого недуга...

Пора было мне уходить. Я встал.

Чехов уловил мое движение.

— Вы что, Н(иколай) М(ихайлович)?

— Мне надо ехать по делу... Значит, завтра мы увидимся в Петровском парке?

— В парке? А, да! Разумеется... Постойте, я хочу сказать вам смешную штуку... Знаете вы репортера Кегульского?

— Знаю, — сказал я.

— Вообразите, его настоящая фамилия — Кугулихес!<sup>59</sup>

И на страдальческом лице Чехова на миг блеснуло былое выражение веселого А. Чехонте, блеснуло — и погасло, как свеча, задутая ветром.

Я стал прощаться. Чехов протянул мне руку, — она была холодна, как гипсовая...

Таково было мое последнее свидание с Антоном Павловичем!

В 1904 году его, тяжело больного, увезли в Германию, к тамошним эскулапам, и там, вдали от родины, преждевременно угас этот прекрасный светоч нашей литературы, столь ценный и современниками, и позднейшим поколением.

Хоронили А. П. Чехова в Москве, торжественно и многолюдно. По поручению А. С. Суворина я возложил на гроб Чехова серебряный венок и, стоя на краю засыпаемой могилы, шептал:

— Прощай, прощай, прощай!

14. X. 1940, Москва

## Примечания

<sup>1</sup> Ежов Н. Антон Чехов: (Мое с ним знакомство, встречи, воспоминания) // Новое время. 1904. № 10185. 10 июля.

<sup>2</sup> Цитата из стихотворения «Старик» (июль 1878).

<sup>3</sup> Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — писатель-юморист, в 1882—1905 гг. — издатель-редактор журнала «Осколки». В его дневнике содержатся интересные сведения об А. П. Чехове. См.: Из дневника Н. А. Лейкина / Публ. Н. И. Гитович // ЛН. Т. 68. М., 1960. С. 499—510.

<sup>4</sup> Голике Роман Романович (Роберт Робертович, 1849 — ?) — владелец типографии, в которой печатались «Осколки», и соиздатель этого журнала.

- <sup>5</sup> Билибин Виктор Викторович (1859—1908) — писатель и драматург. С 1883 г. — сотрудник журнала «Осколки», с 1906 г. — его редактор.
- <sup>6</sup> Пальмин Леонид (Илиодор) Иванович (1841—1891) — поэт и переводчик.
- <sup>7</sup> Трефов Леонид Николаевич (1839—1905) — поэт и переводчик.
- <sup>8</sup> Лазарев Александр Семенович (1861—1927) — прозаик, поэт и журналист. Выступал в печати под псевдонимом А. Грузинский. Автор воспоминаний об А. П. Чехове.
- <sup>9</sup> Кони Евгений Федорович (1843—1892) — писатель-юморист, сотрудничал в изданиях «Будильник», «Осколки», «Новое время». Брат известного юриста и общественного деятеля Анатолия Федоровича Кони (1844—1927).
- <sup>10</sup> Н. С. Лесков познакомился с Чеховым в 1883 г.
- <sup>11</sup> Немирович-Данченко Василий Иванович (1845—1936) — писатель, журналист и поэт. Брат Вл. И. Немировича-Данченко. Автор воспоминаний об А. П. Чехове.
- <sup>12</sup> Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — писатель. Автор воспоминаний об А. П. Чехове.
- <sup>13</sup> Альбов Михаил Нилович (1851—1911) — писатель, редактор журнала «Северный вестник».
- <sup>14</sup> Д. С. Мережковский написал о Чехове воспоминания «Брат человеческий» (см.: Чеховский юбилейный сборник. М., 1910. С. 202—209).
- <sup>15</sup> Худеков Сергей Николаевич (1837—1928) — с 1871 г. — издатель-редактор «Петербургской газеты».
- <sup>16</sup> Рассказом «Панихида» (Новое время. 1886. № 3581. 15 февр.).
- <sup>17</sup> Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — публицист, беллетрист и драматург.
- <sup>18</sup> Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — публицист, беллетрист и драматург. В 1876—1899 гг. — издатель газеты «Новое время». В «Дневнике» А. С. Суворина (М.; Пг., 1923) содержатся интересные воспоминания о Чехове.
- <sup>19</sup> Рассказ Чехова «Егеря» был впервые опубликован в «Петербургской газете» (1885. № 194. 18 июля).
- <sup>20</sup> Чехов познакомился с Д. В. Григоровичем в 1885 г.
- <sup>21</sup> Рассказ Чехова «Ведьма» был впервые опубликован в газете «Новое время» в 1886 г. (№ 3600. 8 марта).
- <sup>22</sup> Совет вычеркнуть натуралистические подробности в рассказе «Ведьма» содержится и в письме Д. В. Григоровича Чехову от 25 марта 1886 г. Чехов послушался и, включая рассказ в сборник «В сумерках» (1887), опустил их.
- <sup>23</sup> Статья В. Буренина «Рассказы г. Чехова» появилась в газете «Новое время» 25 сентября 1887 г. (№ 4157). В ней он писал об исключительности таланта начинающего автора: «Из молодых беллетристов положительно никто не умеет рисовать так ярко и так тонко, так поэтически и вместе с тем такими немногими штрихами и картины природы, и самые разнообразные типы».
- <sup>24</sup> Рассказ Чехова «Драма» впервые был опубликован в журнале «Осколки» (1887. № 24. 13 июня).
- <sup>25</sup> Василевский Ипполит Федорович (1850—1920) — литератор, в 1879—1908 гг. — редактор журнала «Стрекоза».
- <sup>26</sup> Здесь, вероятно, Ежов передал общий смысл ответов Василевского Чехову, опубликованных в «Почтовом ящике» «Стрекозы».
- <sup>27</sup> Лавров Вукол Михайлович (1852—1912) — переводчик, издатель, в 1880—1904 и в 1906 гг. — издатель-редактор журнала «Русская мысль». Автор воспоминаний о Чехове «У безвременной могилы» (Русские ведомости. 1904. № 202. 22 июля).
- <sup>28</sup> Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — литературный критик, с 1885 г. — сотрудник журнала «Русская мысль», в 1905 г. — издатель-редактор этого журнала.
- <sup>29</sup> В статьях Гольцева таких слов нет. Возможно, речь идет о критической заметке Е. С. Щепотьевой, опубликованной анонимно в «Библиографическом отделе» мартовской книжки «Русской мысли» за 1890 г. Эта заметка действительно обидела Чехова. См. его письмо к В. М. Лаврову от 10 апреля 1890 г. (Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 4. М., 1976. С. 54—57).
- <sup>30</sup> Кронштадтский Иоанн (Иван Ильич Сергиев, 1829—1908) — протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, пользовался популярностью как проповедник и чудотворец.
- <sup>31</sup> Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, журналист, публицист. В 1866—1909 гг. — издатель-редактор журнала «Вестник Европы».
- <sup>32</sup> Повесть Лескова «Полунощники» была опубликована в журнале «Вестник Европы» (1891. Кн. 11, 12).
- <sup>33</sup> Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — писатель.
- <sup>34</sup> Каждому свое (лат.).
- <sup>35</sup> Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер и педагог.
- <sup>36</sup> Уткина Лидия Николаевна — в 1876—1883 гг. — издательница журнала «Будильник».
- <sup>37</sup> Кичеев Николай Петрович (1848—1890) — журналист, в 1877—1881 гг. — редактор журнала «Будильник».
- <sup>38</sup> Курепин Александр Дмитриевич (1847—1891) — журналист и драматург, в 1882—1883 гг. — редактор журнала «Будильник».

- <sup>39</sup> Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891) — с 1865 г. — московский генерал-губернатор.
- <sup>40</sup> Левинский Владимир Дмитриевич (1849—1917) — журналист; с 1883 г. фактический, а с 1893 г. официальный издатель-редактор журнала «Будильник».
- <sup>41</sup> Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938) — писатель и журналист. Автор воспоминаний об А. П. Чехове.
- <sup>42</sup> Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — журналист и фельетонист. Автор воспоминаний об А. П. Чехове.
- <sup>43</sup> Гнусная жажда золота (*лат.*; перевод Н. М. Ежова).
- <sup>44</sup> Пастухов Николай Иванович (1822—1911) — беллетрист, с 1881 г. — издатель-редактор газеты «Московский листок».
- <sup>45</sup> Липскеров Абрам Яковлевич (1856—1910) — издатель-редактор газеты «Новости дня» в 1883—1906 гг.
- <sup>46</sup> Нотович Осип (Иосиф) Константинович (1849—1914) — журналист, с 1871 г. — издатель-редактор газеты «Новости».
- <sup>47</sup> Волей-неволей (*лат.*).
- <sup>48</sup> Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1856).
- <sup>49</sup> Цитируется стихотворение Г. Гейне «Два рыцаря» (сб. «Романсеро», 1851) в переводе В. Д. Костомарова.
- <sup>50</sup> Смерти писателя В. Дорошевич посвятил несколько статей в газете «Русское слово» от 1904 г.: «А. П. Чехов» — 3 июля (№ 183); «Новое время» и «Чехов» — 8 июля (№ 188); «Памяти Антоши Чехонте и Антона Чехова» — 11 июля (№ 191), — в которых выражал сожаление, что при жизни писателя его талант не был оценен должным образом.
- <sup>51</sup> Амфитеатров А. Памяти А. П. Чехова // Сб.: На памятник А. П. Чехову. СПб., 1906. С. 46.
- <sup>52</sup> Стрижевский Н. А. — сотрудник ярославской газеты «Северный край».
- <sup>53</sup> Киселевский Иван Платонович (1839—1898) — артист театра А. Ф. Корша, потом театра М. М. Абрамовой (Москва) и Александринского (Петербург).
- <sup>54</sup> Голицын Владимир Михайлович (1849—1932) — московский городской голова в 1897—1905 гг.
- <sup>55</sup> Остроумов Алексей Александрович (1845—1908) — ученый, терапевт-клиницист, в 1879—1901 гг. — профессор Госпитальной клиники и кафедры.
- <sup>56</sup> Толстой навещал Чехова в клинике Остроумова 28 марта 1897 г.
- <sup>57</sup> Дело об убийстве секретаря полтавской духовной консистории А. Я. Комарова. Подозреваемые в убийстве Петр и Степан Скитские в мае 1900 г. были оправданы.
- <sup>58</sup> Свидание (*фр.*).
- <sup>59</sup> Кугульский Семен Лазаревич (наст. фамилия — Кугулихес; 1862 — ?) — журналист.

Публикация, подготовка текста, вступление и примечания В. Александрова

---

Илья Фаликов

### ШУМ ВНУТРЕННЕЙ ТРЕВОГИ

*Заметки о «Медном всаднике» А. С. Пушкина  
и не только о нем*

Он оглушен  
Был шумом внутренней тревоги.

Эти слова Пушкиным варьировались, пока он не услышал шум внутренней тревоги — как стих, а не только как внутреннее событие. В «Медном всаднике», казалось бы, много внешних явлений — не до частного человека. А ведь это поэма — о человеке.

У стиха «Насмешка неба над землей» есть автоцензурный вариант, где вместо «неба» — «Рока». Античный рок не вписывался в мировоззренческую систему этой поэмы. Но в принципе речь о нем — о роке. Здесь рассматривается не просто судьба человека — *человек и судьба*.

В этом смысле и сам Петр — не памятник — человек, победивший судьбу. Мощный ее властелин.

Человека побеждает «побежденная стихия», побежденная — Петром. Петр — сверхпобедитель. Это прекрасно понял Николай I, который формально НЕ запретил публикацию: он спустил рукопись вниз, по инстанциям. Пушкин отложил поэму, ясно зная, что публикация состоится — со временем. Иначе он не стал бы править так называемую Писарскую копию. Пушкин умел ждать.

Пушкин умел ждать? Он видел реалии. Использование в поэме болгаринского очерка о наводнении — верх игры поэта с антипоэтом. На фоне взаимных (с Булгариным) обвинений в плагиате этот ход Пушкина изумляет. От Булгарина до Мицкевича — амплитуда без границ. Поэт якобы берет в соавторы Булгарина, но внутренний оппонент поэта — поэт, то есть Мицкевич.

Самого себя Пушкин вводит в текст с 43-го стиха: «Люблю тебя, Петра творенье...» Причем — интимно, мгновенно открывая себя — у себя дома: «Когда я в комнате своей...»

В «Медном всаднике» очень много личного, житейски-авторского. У строчек

Что мог бы Бог ему прибавить  
Ума и денег...

был вариант:

Что мог бы царь ему прибавить...

Пушкину хорошо писалось в 1833 году там, в Болдине. А он рвался домой. В «Медном всаднике» «ветхий домик» обретает статус мета-

форы: Евгений и погиб у его порога. Стихия носила «домишко ветхий», сорвав со своего места, пока не зашвырнула его на «малый остров».

Евгений мечтает о том, что

Он кое-как себе устроит  
Приют смиренный и простой  
И в нем Парашу успокоит.

И в этой мечте, и в сорванном с места доме — много личного. «Где же дом?» — как сказано в поэме.

Пушкину была дана довольно длительная командировка (на нашем языке) в Оренбург и далее, он он свернул ее, вернулся в Петербург значительно раньше, — тосковал по дому.

Онегин достаточно отодвинут от автора, это очевидно другая натура, «добрый мой приятель», даже рожденный на «берегах Невы», а не в Москве, читающий мораль уездной барышне... Сам факт убийства им на дуэли *поэта* — ров между персонажем романа и поэтом-автором.

Евгений «Медного всадника» в черновиках был наметан характеристически, но потом появились иные задачи. Он даже был поначалу «поэтом»... Однако, несмотря на конкретность социальных характеристик, Евгений — обозначение, знак человека, знак зыбкости в гигантской игре стихий, в потоке истории, равном великим думам и роковой воле Петра.

Может быть, точнее будет сказать, что Евгений поначалу задуман, начат как живой, частный образ, то есть характер, но оказался постепенно растворенным в схватке великих, не довлеющих ему сил.

Нечто подобное случилось и с Петром! Пушкин берется писать конкретно-историческое лицо на фоне его конкретного деяния в условиях определенной географии, климата и т. д. Гимн творенью Петра — личное признание в любви, не поклоненье, а внутренняя благодарность. Но вот — наводнение. Небо насмехается над землей. И — в отличие от Евгения — Петр возвышается до символа, над самой бездной, перерастая сам себя, может быть. Более того. В какой-то мере именно он — как воплощение земной власти — *багрянницей прикрывает зло*.

Пушкин ставит человека наедине со своими возможностями в окружении грозных и неведомых сил. О том ли речь, что проигрывает слабый? Вряд ли. Дело даже не в том, кто прав. Правы оба — и Петр, и Евгений. Мера правоты — в этом суть.

Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!

Евгений мечтал о своем. О приюте, о Параше, о том, что «внуки их похоронят». Вовсе не убогая мечта. Но это и не великая дума.

Гимн Петру во Вступлении и побег от Кумира — две высоты, две особые волны всей поэмы. При этом кошмару преследования-побега предшествует самый патетический взлет Пушкина: «Ужасен он в окрестной мгле!» Подлинное упоение. Чем? Возможностью гибели героя, который через мгновение шепнет «Ужо тебе!» и может оказаться тем, на кого опустит копыта гордый конь?

Где жалость к бедному Евгению? Ответ предполагается: в шкуре Евгения сам поэт, а себя ему не жаль.

Постепенно Евгений «Медного всадника» обретал черты Езерского, то есть приближался к Пушкину. Пушкин отодвигался — его персонаж

...не тужит  
Ни о почющей родне,  
Ни о забытой старине.

Сам поэт тужит о том и другом. Казалось бы, положен водораздел. Тем более, что самого себя поэт уже изобразил «в комнате своей».

Но для Пушкина, истинного артиста, писать человека означает вживаться в него. Тяга к персонажу усиливается самой темой Петра, с которой все начато, — *личной* темой Пушкина. Дистанцию между собой и героем автор, несомненно, соблюдает — хотя бы потому, что жалует бедняка. Но это не дистанция благовоспитанного советского человека. И не желание отстраниться. Он страшится — и больше всего «не за себя» — своего человеческого невеселия, которое отдает Евгению в качестве откровенной слабости. Признание художника.

Евгений спасся на «звере мраморном верхом». В одном из вариантов стих «А в сем коне какой огонь!» содержал первоначально слово «зверь»: «А в звере сем какой огонь!» Соседство этих — двух — зверей в тексте поэмы вряд ли случайно. Тем более, что предельно экономный Пушкин почти дословно повторил стихи о двух львах сторожевых. Рисуя несчастного, который, *по-наполеоновски* «руки сжав крестом», переживает безумие стихии, в страхе «не за себя», — Пушкин дает карикатуру, жалкую не менее, чем жутковатую, еще одного *всадника*, отнюдь не медного. Медный — тот «обращен к нему спиной».

Конь и лев тут невольно антагонизируют — в зависимости от своих седоков и, соответственно, ролей. Конь несет сильного — лев спасет слабого. Было бы плоско усматривать в этом, допустим, ностальгию Пушкина по Африке, некий намек на «мою Африку» в противовес безжалостному Северу. Не след и воображать Наполеона в Египте.

Всадников было два!

Конь — как сила и красота — всегда увлекал Пушкина.

Гроза беспечных казаков,  
Его богатство — конь ретивый,  
Питомец горских табунов,  
Товарищ верный, терпеливый.

...Стремится конь во весь опор,  
Исполнен огненной отваги...

Но мощный конь его стрелой  
На берег пенистый выносит.

(«Кавказский пленник», 1821)

А это — уже тот самый конь:

Идет. Ему коня подводят.  
Ретив и смирен верный конь.  
Почуя роковой огонь,  
Дрожит. Глазами косо водит  
И мчится в прахе боевом,  
Гордясь могучим седоком.

(«Полтава», 1828)

Конь — если не знак, то признак рока. Сильному сопутствует конь. Не в коне ли таится погибель Петра? Пушкин не ставит такого вопроса. Но, может быть, такой вопрос есть?

Ужасен он в окрестной мгле!  
 Какая дума на челе!  
 Какая сила в нем сокрыта!  
 А в сем коне какой огонь!  
 Куда ты скачешь, горный конь,  
 И где опустишь ты копыта?  
 О мощный властелин судьбы!  
 Не так ли ты над самой бездной,  
 На высоте, уздой железной  
 Россию поднял на дыбы?

Конь — прямая метафора России. Далеко ли отсюда до гоголевской птицы-тройки? Не подсказана ли тут и щедринская Коняга? Повторим:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
 И где опустишь ты копыта?

Стихия воды внушала Пушкину восторг и — страх. «Свободная стихия!» — воскликнул он. У него же есть свидетельства страха перед водой как перед абсолютной свободой. Судите сами. Черкешенка «Кавказского пленника» утопилась в реке. Зарему «Бахчисарайского фонтана» утопили. Преследователи братьев-разбойников тонут.

«Русалка», «Утопленник», «Дорожные жалобы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» Смерть и вода — рядом.

Все это и вылилось в наводнение «Медного всадника». У Невы в «Медном всаднике» масса метафор. И не меньше смыслов. Автор не сводит эти метафоры к какому-то единому знаменателю. В этом нет нужды, да и невозможно. Но, безусловно, Нева — символ свободы и силы вещей.

Петр бросает вызов силе вещей. Во имя силы вещей Он победил природу, поставив свой город вопреки ей. Природный поэт, сын гармонии, Пушкин потрясен успехом соперника, если гений гению соперник... Пушкин лишен зависти. Он знает свой путь. Это путь природы, не вопреки ей.

Бежит он, дикий и суровый,  
 И звуков и смятенья полн,  
 На берега пустынных волн,  
 В широкошумные дубровы.  
 («Поэт», 1827)

Те же *пустынные берега*, да не те же: не болота, а широкошумные дубровы.

«Медный всадник» вырос на всей почве Пушкина. Поэма отсылает нас по всем направлениям его творчества. Она как бы не вмещается сама в себя. Будучи вершиной, она ставит вопросы там, где когда-то были ответы, — Пушкин был моложе. В 1824 году, узнав — в Михайловском — о наводнении, он отреагировал вольной шуткой. Правда, чуть позже, получив сведения о серьезности бедствия, он уже поручает брату внести лепту в помощь пострадавшим из гонорара за «Евгения Онегина», причем без афиширования жеста. От благородного жеста до Петербургской повести — почти десять лет. Их надо было прожить. Заодно надо было прожить — как минимум — времена Смуты и войну Пугачева.

Есть в народе слух ужасный:  
 Говорят, что каждый год  
 С той поры мужик несчастный  
 В день урочный гостя ждет...

(«Утопленник», 1828)

В болдинскую осень тридцатого года Пушкин пишет «В начале жизни школу помню я...», где сказано о *кумирах* сада:

Все наводило сладкий некий страх  
 Мне на сердце; и слезы вдохновенья,  
 При виде их, рождались на глазах.

Пушкин жил в живом, одушевленном окружении зданий и скульптур — в Петербурге и его пригородах. Дух города, выросшего по воле Петра, веял в художественном сознании эпохи. В «Северных цветах на 1832 год» (памяти Дельвига) помещен прозаический отрывок В. Одоевского, персонаж которого — человек, именующий себя архитектором Пиранези, — признается в следующем: «... духи, мною порожденные, преследуют меня: там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь пиластры гонятся за мною, шагая верстами...»

В «Каменном госте» — тоже движущаяся статуя. Подобных движений в поэзии Пушкина немало. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» написано 21 августа 1836 года на Каменном острове — там, кстати, где жил Александр I в 1812 году, когда думал об эвакуации Петербурга и увозе статуи Петра.

Убежав из столицы, чтоб не присутствовать на открытии Александрийского столпа (1834), Пушкин совершенно точно испытывал «Ужот тебе!» в адрес данного императора и монумента в его честь. Памятник себе он именует *нерукотворным* — это выше меди и мрамора.

Полная строчка из оды Горация: «*Exegi monumentum aere perennius*» — «Я воздвиг памятник покрепче меди».

Пушкин опускает два последних слова в эпитафии — он побеждает Александра, а не Петра.

Вслед за «Медным всадником» Пушкин написал несколько вещей, так или иначе связанных с ваянием, — «Я памятник себе...», «Художнику», «На статую играющего в свайку», «На статую играющего в бабки». Все это имело отношение к думе о возможности бессмертия.

Погибла ли Параша?

Пушкин писал Вяземскому: «... не надобно все высказывать — это есть тайна занимательности», — установка, сформулированная за десять лет до написания «Медного всадника».

Евгений помешался — *захохотал* — почти сразу же, не найдя дома, обитательницы коего, в сущности, могли уцелеть. Пушкин целиком сосредоточен на Евгении. Невеста безумца как-то исчезла из поля авторского зрения. О ее дальнейшей судьбе — и вообще о ее судьбе — точный Пушкин не сказал ни слова. Создатель Татьяны словно забыл о другом юном женском существе.

Но это не совсем так. Собственно говоря, Параша совершенно конкретно и подробно охарактеризована и в «Графе Нулине», и в «Домике в Коломне».

Наталья Павловна раздета;  
 Стоит Параша перед ней.  
 Друзья мои! Параша эта  
 Наперсница ее затей;  
 Шьет, моет, вести переносит,  
 Изношенных капотов просит,

Порою с барином шалит,  
Порой на барина кричит  
И лжет пред барыней отважно.

(«Граф Нулин», 1825)

Вот Параша в другом ракурсе:

IX

Усядья, муза: ручки в рукава,  
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!  
Теперь начнем. — Жила-была вдова,  
Тому лет восемь, бедная старушка,  
С одною дочерью. У Покрова  
Стояла их смиренная лачужка  
За самой будкой. Вижу как теперь  
Светелку в три окна, крыльцо и дверь.

X

Дни три тому туда ходил я вместе  
С одним знакомым перед вечерком.  
Лачужки этой нет уж там. На месте  
Ее построен трехэтажный дом.  
Я вспомнил о старушке, о невесте,  
Бывало, тут сидевших за окном,  
О той поре, когда я был моложе,  
Я думал: живы ли они? — И что же?

(«Домик в Коломне», 1830)

Парашу как свою героиню Пушкин совершенно прожил и пережил, то есть знал ее и написал. Что же произошло в «Медном всаднике»? Повести-рассказа не вышло, поскольку в действие вошли категории высшего порядка. О том, что и как случилось с Парашей в Петербургской повести, рассказал бы автор обычной повести. Конечно, Пушкин мог бы это сделать в двух словах, в одном стихе. Не сделал. Разрушение ветхого домика (сравним с «лачужкой этой») предполагает и гибель существ, его населяющих. Предполагает, но — не окончательно.

(Попутно: убила ли Зарема Марию? И что произошло с Доной Анной?..)

Есть неокончателность и в самом сумасшествии. Бедняга тронулся, в уме своем решив бесповоротно: ЕЕ больше нет. Потому-то он и не ищет ее. Но он *ожил* и мысли его *прояснились*, когда он попал на ту площадь, к тем львам, к тому Кумиру. И смущался всякий раз, идя той площадью. И помер у того порога. Будучи «ни то ни се», он видел ТО. Реальный мир существовал для него таким образом. Но это был мир боли. Возможно, сумасшествие стало в какой-то мере формой ухода от реальности, почти сознательной, продолжением побега.

Пушкин немало пишет о безумии. О «безумных летах» он говорит в «Элегии». Стихи свои, не таясь, начинает свержискренно: «Не дай мне Бог сойти с ума...» Монолог Дон Гуана выстроен на мучительном рефрене: «Когда б я был безумен...» Концовка второй песни «Полтавы» может быть отнесена к «Медному всаднику»:

И след ее существования  
 Пропал как будто звук пустой.  
 И мать одна во мрак изгнанья  
 Умчала горе с нищетой.

Но ведь можно предположить и судьбу Параши после наводнения! Ну хотя бы:

Пред ним с развитыми власами,  
 Сверкая впалыми глазами,  
 Вся в рубище, худа, бледна,  
 Стоит, луной освещена...

(«Полтава»)

Пушкин с первого же знакомства не сомневался в подлинности «Песни о полку Игореве», — так он называл «Слово», тем самым твердо определяя жанр: «Песнь...» — «памятник нашей поэзии». Две эти поэмы — «Песнь» и «Медный всадник» — отмечены родством и сходством. Что ценил Пушкин в «Песни»? Вот он цитирует: «Комони ржуть за Сулою; звенит слава въ Киевѣ; трубы трубят въ Новѣградѣ; стоять стязи въ Путивлѣ; Игорь ждет мила брата Всеволода». Комментарий Пушкина таков: «Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени».

Так Пушкин сам указывает на первую черту упомянутого сходства. Живое и быстрое описание в «Слове» поразительно напоминает лаконизм «Медного всадника». Патриотизм обоих поэм открыто публицистичен. Эмоциональный диапазон просторен до безбрежности — патетика соседствует с сарказмом. Любопытно замечание Пушкина относительно одного из выражений древнего автора: «Если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную похвалу». В поэмах действуют стихии. Рекам «Слова» соответствует Нева «Медного всадника». Принципиально разные герои — князь Игорь и чиновник Евгений — схожи одним — весьма существенным — собственным поражением. Там и там наличествуют побег и погоня. В поэмах, обильных символикой, почти нет символики христианской, — по своей воле предпринимается поход Игоря, строительство города, но человека предупреждает (затмение солнца) или карает (наводнение) сама природа во всем ее космическом объеме.

Пушкин не считал, что «Песнь» начинается с вопроса. «Не льполи» он переводил «неприлично». Он слышал Автора как сурового повествователя, сразу приступающего к делу, без риторических фигур. Сейчас речь не о филологической правоте (или неправоте) Пушкина-поэта. Он услышал в «Слове» то, что вложил в «Медного всадника». Заметки о «Песни» написаны в 1836 году, — в свое суждение о работе древнего собрата он привносил опыт «Медного всадника»! Не исключено, что само появление этих заметок — осознаваемый Пушкиным факт сходства и родства.

Существенно и то, что мысли о «Песни» Пушкин завершает именно такой полемикой: «...г. Вельтман пишет: «Кмет значит частный начальник, староста». Кметь значит вообще крестьянин, мужик...» На взгляд Пушкина, Буй-тур Всеволод возносит хвалу мужику.

«Песнь», возможно, для ее автора была тем же сгустком предшествующих поисков в слове, что и «Медный всадник» для его творца. Не в этом ли ключ к их краткости?

Пушкин долго искал зачин поэмы. Казалось бы, нельзя сказать более веско:

На берегах Варяжских волн  
Стоял глубокой думы полн  
Великий Петр.

Совершенно полнозвучны и «глубокой думы», и «Великий Петр». Полнозвучны и полносмысленны. Однако автор выбирает вариант, в котором отклонены и «Великий муж», и «Великий царь». Выбирается самоцитата:

На берегу пустынных волн,

тем самым как бы внутренне облегчается и сам стих, и своя задача, чтобы перераспределить акценты:

Стоял он, дум великих полн.

Местоимение звучит ослабленно, на первый план выходит «дум великих полн». Далее во Вступлении: «И думал он», — выделенный пушкинской «ступенькой» полустушия, из первой половины чернового стиха перенесенный во вторую.

Что же «наш герой»?

Евгений тут вздохнул сердечно  
И размечтался как поэт...  
...Так он мечтал.

В страшный миг с Евгением происходит следующее:

И вдруг, УДАРЯ В ЛОБ РУКОЮ,  
Захохотал.

Мечтатель наказывает себя этим ударом в лоб. Это убийство мечты.

Пушкин последователен, ДУМА принадлежит не только лично Петру, но и другому — здесь, в поэме — носителю думы, идеи государства (Александр I):

Он сел  
И в ДУМЕ скорбными очами  
На злое бедствие глядел.

О Евгении сказано с жалостью:

Увы! его смятенный ум...

Но присмотримся:

Но бедный, бедный мой Евгений...  
Увы! его смятенный ум  
Против ужасных потрясений  
Не устоял. Мятежный шум  
Невы и ветров раздавался  
В его ушах. Ужасных ДУМ  
Безмолвно полон, он скитался.

ДУМЫ посетили бедного Евгения тогда, когда он сошел с ума.

Евгений вздрогнул. Прояснились  
В нем страшно МЫСЛИ.

И тут сливаются слова, герои, их роли:

Какая дума на ЧЕЛЕ!

Чуть ниже — о Евгении:

ЧЕЛО

К решетке холодной прилегло...

Образуется зазор между поведением безумца и его лексической характеристикой. Есть причина, повторяю, усомниться в безумии безумца.

В окончательном варианте, как известно, существуют три незарифмованных стиха: 183, 331, 364.

Это вызывает недоумение, но может быть и незамеченным. Не заметил автор. При столь пристальном самопрочтении?

Есть, наверно, более общий вопрос: пушкинская скоропись.

Необходимость и неизбежность скорой работы. Скачущая кардиограмма перенапряженного вдохновенья. Горы черновиков, их белые вершины, лишенные вечного покоя. Автоцензура. В 1836 году, при перечитывании, «Медный всадник» требует поэта к новой отделке, строже, чем требования царя-цензора. Обостряется собственный взгляд.

И тем не менее остаются три как бы незамеченных стиха.

Вслушаемся в стихи 1829 года:

Зорю бьют... из рук моих  
 Ветхий Данте выпадает,  
 На устах начатый стих  
 Недочитанный затих —  
 Дух далече улетает.  
 Звук привычный, звук живой,  
 Сколь ты часто раздавался  
 Там, где тихо развивался  
 Я давнишнею порой.

В этих насквозь прорифмованных стихах вырастает такой смысловый ряд: СТИХ—ДУХ—ЗВУК. Эти смыслы слиты, это одно и то же. «Медный всадник» — может быть, самая звуковая поэма Пушкина, где стих — суть, и дух, и звук. И сочиняя, и перечитывая свою вещь, автор был оглушен шумом...

Пушкин, по-видимому, действительно не заметил те три стиха. Оттого, что он больше слушал, чем видел? Но прислушаемся и мы. Вся поэма состоит из звуковых волн, четко отделенных автором.

И во всех трех случаях совершенно отчетливо работает иной звук, общий, и здесь, в частности, выраженный так:

Погода пуще свирепела,  
 Нева вздувалась и ревела,  
 Котлом клокоча и клубясь,  
 И ВДРУГ, как зверь остервенясь,  
 На город кинулась. Пред нею  
 Все побежало, все ВОКРУГ  
 ВДРУГ опустело — воды ВДРУГ  
 Втекли в подземные подвалы...

Незарифмованного «Пред нею» не слышно. Это 183 стих. Вот что происходит с 331 стихом:

Утра луч  
Из-за усталых, бледных туч  
Блеснул над тихой столицей  
И не нашел уже СЛЕДОВ  
Беды вчерашней...

Через одиннадцать строк возникает замечательный во всех смыслах пассаж:

С ДВОРОВ

Свозили лодки.  
ГРАФ ХВОСТОВ,  
Поэт, любимый небесами,  
Уж пел бессмертными стихами  
Несчастье невских БЕРЕГОВ.

Не в этом ли звуковом соотношении и заключается загадка (или разгадка) странных строк о графе Хвостове? Казалось бы, лишних... Но сарказм Пушкина уже язвит абсурдную по внешней информации — незарифмованную! — строку: на следующее утро следов беды вчерашней было трагически немало. Как раз сарказм целиком зарифмован. Графа Хвостова оставил в поэме звук.

Теперь послушаем вот эти стихи:

Ужасных дум  
Безмолвно полон, он СКИТАЛСЯ.  
Его терзал какой-то сон.  
Прошла неделя, месяц — он  
к себе домой не ВОЗВРАЩАЛСЯ.  
Его пустынный уголок  
Отдал внаймы, как вышел срок,  
Хозяин бедному поэту.  
Евгений за своим добром  
Не приходил. Он скоро свету  
Стал чужд. Весь день бродил пешком.  
А спал на пристани; ПИТАЛСЯ  
В окошко поданным куском.

«Питался» считается незарифмованным словом. Разве?..

Дальнее слышание сквозного звука, свобода рифмы, выбирающей себе место по своему усмотрению, фактическая обеспеченность стиха круговой порукой близких и дальних стихов-соседей — вот что, в сущности, означает якобы-недосмотр Пушкина.

В русском фольклоре река означает Судьбу. Русская девушка, бегущая из татарского плена, бросается в реку, как в Судьбу, — выхода нет.

К слову сказать, наводнение 1824 года случилось 7 ноября по ст. ст., — по народному календарю, месяцеслову, эта дата отмечалась как свержение татарского ига. Боюсь натяжек. Но в сознание Пушкина могло быть заложено и это событие, где опять-таки присутствует река — Угра. Так это или не так, но числа совпадают, а совпадения для Пушкина значили многое.

Между тем Пушкину глубоко претили мистический захлеб, чары загробья. Еще лицеистом — по-видимому из преодоления Жуковского с его очарованностью неземным — Пушкин звонко заявлял:

Я петь пустого не умею  
Высоко, тонко и хитро

И в лиру превращать не смею  
Мое — гусиное перо!

(«Князю А. М. Горчакову», 1814)

Гусиное перо. Не орлиное, допустим. И *пустого* он не пел.

Ирреальный мир у Пушкина более чем материализован: материал мастера тут — металл или камень. Движущиеся статуи — Медный Всадник, Каменный Гость — олицетворяют (помимо прочего) судьбу. Пушкин мыслит конкретно. Его символика наглядна.

Заглянем еще раз в «Северные цветы на 1832 год». Пушкин поместил в альманахе достаточно жестокие вещи: «Моцарт и Сальери», «Анчар», «Делибаш», невеселые «Дорожные жалобы», «Бесы».

В «Дорожных жалобах» был такой черновой вариант, не без мрачноватой веселости:

Иль как Анреп в вешней луже  
Захлебнулся я в грязи.

Р. Р. Анреп — офицер, в припадке безумья утонувший в болоте.

У «Бесов» был черновой заголовок (или подзаголовок) — «Шалость».

Альманах этот был грустный, поминальный. Тень Дельвига определила если не тему, так тональность публикаций. Хотя и не во всем.

Д. Струйский писал так:

Раздался плеск и хохот ада!  
Князь тьмы в волнах огня предстал  
И, торжествуя, озирал,  
Как вихрем двигалась громада...

(«Тьма»)

В. Тепляков обретался среди таких образов:

Воскресшим сердцем пламенея,  
Летел я ангела обнять;  
Но на челе его, чернея,  
Как меж тюльпанов жало змея,  
Измены вспыхнула печать.

(«Жестокий призрак»)

Н. Прокопович не отставал от них:

И толпою привиденья  
Что-то в уши шепчут мне...

(«Полночь»)

Можно было бы и еще цитировать романтических современников Пушкина, но ограничусь теперь красноречивыми стихами А. Комарова:

С Ванюшей вечер веселее  
Девцам красным коротать:  
Он, в темный вечер, всех страшнее  
Умеет сказку рассказать.

(«Маша»)

И вот на этом беспросветном фоне звучат слова Моцарта:

*Я весел... Вдруг: виденье гробовое,  
Незапный мрак иль что-нибудь такое...*

Сокрушительные стихи! Ими Пушкин в мгновенье ока сокрушает эстетику «жестоких призраков». Все его утрюмое соседство по альманаху и есть это самое «иль что-нибудь такое». И это *единственная рифма* во всем «Моцарте и Сальери», введенная в текст сознательно в отличие от случайно зарифмовавшихся «я» и «меня» в другом месте пьесы.

Моцарту, пишущему «Реквием», органически чуждо упоение замогильными безднами. Это — сам Пушкин.

Зову тебя не для того,  
Чтоб укорять людей, чья злоба  
Убила друга моего,  
*Иль чтоб изведать тайны гроба...*

(«Заклинание», 1830)

Сверхъестественное у Пушкина происходит в условиях неоспоримой предметности. На потрясенной *мостовой*. Возникает вопрос: погоня монумента за человеком — галлюцинация больного или художественно-объективная (в пределах небывалога) действительность? Пушкин не наделяет картину ассиметрией расстроенного сознания. Евгений убеждает именно от Петра-памятника, а не сам от себя, то есть не просто так, вдруг, опроретью несется по Петербургу. За ним действительно и безусловно скачет Медный Всадник.

Правда, у этой погони нет финала. Чем кончилось дело? Преследователь явно не имел целью настичь жертву. Ему это ничего не стоило. А кошмар длился, как сказано, «во всю ночь». Не из благодарности ли за пощаду Евгений «с той поры» — «картуз изношенный сымал», «когда случилось идти той площадью ему»? Или от раскаяния в собственной дерзости? Из чувства вины? Так или иначе, на сумасшедшего это очень похоже.

Тут Пушкин предположителен: «Как бы его (сердца.— И. Ф.) смиряя муку». Предположительность есть и в сцене отчаяния бедного Евгения: «как обуянный силой черной». Сравним, например, с этими стихами:

...пустились генералы  
Спасать и страхом *обуялый*  
И дома тонущий народ.

Замечу к слову. Вообще в «Медном всаднике» много сравнений через *как*. Самое неотразимое — это:

...ждет его  
Судьба с неведомым известьем,  
Как с запечатанным письмом.

Мои наблюдения — отнюдь не концепция, тем более новая. По-моему, любая концепция «Медного всадника» подобна той сомнительной дамбе, за счет которой тчатся защитить город на Неве от наводнений в ущерб и вопреки природе. «Медный всадник» прорвет любые сооружения, отметет любые проекты. Нам остается читать и думать.

## ПОСТСКРИПТУМ-94

Чуть-чуть покаюсь. (Ах, опять это «чуть-чуть»...) Когда писал эти заметки, я недоговорил то, что было и есть самоочевидно: Петербургская повесть — это ответ Пушкина декабристам, его непрерывный спор с ними. Вот кусок, опущенный мной при перепечатке рукописи набело: «В те дни, когда создавалась поэма, Пушкина больше всего тревожили три имени, три жгучих луча: Петр — Пугачев — Мицкевич. Эпитет стиха «Невы *державное* течение» закономерен — Пушкин думал о течении государственного бытия. У Невы в повести множество эпитетов и характеристик. Так, *злодей*, применительно к Неве, перешел в поэму прямоком из «Истории Пугачева», в плане русского бунта. Польские события 1830—1831 годов обозначены эпитетом «финские»:

Вражду и плен старинный свой  
Пусть волны финские забудут  
И тщетной злобою не будут  
Тревожить вечный сон Петра!

Здесь больше, чем Польша или Финляндия, — здесь Европа как революция. Мицкевич как ее голос. Разрушение российской государственности, идеи империи — Пугачев и Мицкевич — воспринимались Пушкиным как враждебная стихия, жертвой которой стал человек — Евгений».

Злободневно? Не знаю. Мои мотивы другие: вернется ли благодать обыкновенного — не политико-наркотического — чтения? Тоскуется по стихам. Просто по стихам.



---

---

## ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

---

---

Н. А. Тэффи

САУЛ

*В дореволюционной России имя Тэффи (Надежды Александровны Лсхеицкой, 1872—1952) пользовалось такой популярностью, что ее без преувеличения можно назвать славой. Газеты и журналы, в которых она сотрудничала, были заведомо «обречены на успех». Выпускались даже духи и конфеты, так и называвшиеся — «Тэффи». Среди поклонников ее таланта были люди всех возрастов и сословий. Не случайно, когда готовился юбилейный сборник, посвященный 300-летию царствования дома Романовых и царя спросили, кого из современных литераторов он желал бы в нем видеть, Николай II решительно ответил: «Тэффи! Только ее. Никого, кроме нее, не надо. Одну Тэффи!»*

*Да, Тэффи знала и любила вся читающая Россия. Ее остроты, курьезные фразы и словечки ее персонажей подхватывались и разносились по шестой части суши, становясь крылатыми, с быстротой молнии. Хотя Тэффи писала в основном юмористические рассказы и фельетоны, т. е. прозу так называемого «легкого жанра», ее творчество высоко ценили такие «серьезные» писатели, как И. А. Бунин, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, Ф. Ф. Сологуб, Б. К. Зайцев.*

*После октябрьской революции 1917 года Тэффи навсегда оставила Россию (свой путь в эмиграцию она со свойственным ей юмором и горькой самоиронией описала в блестящих «Воспоминаниях») и всю вторую половину жизни прожила во Франции, оставаясь одним из любимейших писателей русского Парижа. Незадолго до смерти она с горечью писала: «Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда их переживают, это трагедия. И моя жизнь — это сплошной анекдот, т. е. трагедия». Умерла Тэффи в бедности, измученная болезнями. И похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.*

*Спустя многие годы книги Тэффи стали возвращаться на Родину. В 1991 году в Москве были изданы ее сочинения в двух томах. Но многое еще осталось неопубликованным.*

*Повесть «Саул» не похожа на все, что мы до сих пор у Тэффи читали. Это другая Тэффи. Тэффи «серьезная», пытающаяся осмыслить и интерпретировать один из библейских сюжетов. И хотя произведение это обращено сегодня прежде всего к детям, думается, что и взрослые, читая его, получают истинное наслаждение.*

*Рукопись «Саула» хранится в Бахметевском архиве при Колумбийском университете (США).*

Трагический образ этого царя привлекал многих писателей и поэтов. Саул, его душа и его жизнь всегда интересовали меня. И вот, развернув Библию, я стала читать посвященные ему главы в Первой Книге Царств. Читала внимательно, пристально вглядываясь, стараясь представить себе, пережить слова библейского повествования, не фантазируя, ничего не переделывая, а только глубоко вдумываясь — в меру своих душевных сил.

Как это было?

Что рассказывают легенды и писания?

Невелика была эта страна, но вся насыщена жизнью и кипела, как переполненная чаша, переливавшая вино через край. Пленительная природа, и нежная, и грозная, вдохновляла мудрецов и поэтов вдохновением, бессмертным в веках.

И ходили по этой земле суровые пророки, призывали к благочестию, предрекали кару и гибель и правили народом именем Бога единого. А народ был беспокойный, мятущийся. И трудно было жить ему мирно. Набегали из соседних краев кочевники, грабили поля, угоняли скот. Сильные цари посылали войска разорять беззащитные города, уводили юношей в рабство и девушек в гаремы. Тяжело было обороняться, потому что народ был еще прост и не умел не только ковать мечи или копья, но даже сошники, топоры и заступы ходили оттачивать к вечным врагам своим — филистимлянам.

И еще труднее было этому народу ограждать себя духовно, беречь свою веру, потому что окружен он был языческими племенами, смешивался с ними, поддавался соблазнам, отпадал от Бога единого, и снова возвращался, и снова падал.

Соблазняли соседние племена своим языческим разнообразием — все пламенные и фанатичные, пестрые и яркие.

На рассвете рано выходили на высокие горы химиары-солнцепоклонники, кричали, плясали, бесновались, кололи себя острыми копьями, вызывали своего бога, а в полдень приковывали к столбу живую жертву — девушку своего племени, сами отходили, и ждали, и следили, как гудят и кружат над жертвой золотые мухи, и когда опускался рой на недвижимое тело, выбегали химиары и плясали в радости, что жертва их принята. И было нечто прьяное и пьяное, как хмель, в их беснованиях, и тянуло к себе, и соблазняло.

Было еще племя и еще религия — ксиллы, заклинатели змей. Это были волшебники, темные и жестокие. Они кочевали у самой пустыни, и когда уходили на другое место, долго шуршал за ними песок — это заклятые змеи ползли следом.

Были еще племена, поклонявшиеся луне и всем силам звездным. Выходили ночью с медным кувшином, плескали воду, поили звезды, и звезды открывали им судьбу.

И было племя, поклонявшееся священной пальме Аль-Уцце. Одевали пальму в пестрые ткани, убирали драгоценными цепями, кольцами и запястьями и в торжественных празднествах приносили ей человеческие жертвы.

И были еще халдеи, узнававшие будущее через терафимов. Отрубали голову рабу, клали ей под язык золотой заговоренный листок, и терафим, мертвая голова, отвечал.

И все эти тайны влекли к себе, пугали и притягивали. И каждое племя хранило свою веру, и не было людей, к вере равнодушных. Вся земля дышала легендами и сказаниями.

Вот был царь Ла-Э-Ли. Ассаргадон покорил его племя, посадил править им женщину своего гарема Табую, а Ла-Э-Ли свергнул. И взял Ассаргадон святыню племени — изображения на медных досках — и увез их с собою. И вот Ла-Э-Ли, потерявший все и со всем примирившийся, одного не мог перенести. Вот этих медных досок, своей святыни, не мог отдать. Он пошел к Ассаргадону один через всю пустыню, с непокрытой головой, говорит легенда, и скалы расступались перед ним, и львы пустыни не трогали его, но отходили и кланялись. Так отмечает легенда преклонение перед силою веры.

Царь Ассаргадон отдал Ла-Э-Ли его священные доски, но так как был душою грубее льва пустыни, то приказал на каждой доске начертать свое имя.

Суровые пророки изгоняли ворожей и идолопоклонников, берегли свой народ в его единобожии. Но самый сильный соблазн, с которым боролись они неустанно, был соблазн могущественного и пышного Вавилонна с его роскошными храмами богу Ваалу и богине Иштар. Развратный, чудесный Вавилон. О красоте и богатстве храмов его рассказывались чудеса, влекшие воображение и разжигавшие желания в сердцах. Рассказывали о том, как бредут по пустыне череды верблюдов, груженных драгоценным грузом — все во славу Вавилонна. Везут кипарисы и кедры из Ливана и красное дерево из земли Сабата, везут серебро, и медь, и золото из Офира, и еще золото из Парваима, и слоновую кость, и малийский ладан, и прочие ароматы для курильниц во славу бога Ваала-Этона властвующего, и Ваала-Зебуба — мухогопителя, царя звенящих пчел, и Ваала-Самина — бога знойных ароматов, и Ваала-Пегара — бога сладострастия, — Ваала во всех ликах его. И рассказывали о храмах Иштар, отделанных драгоценными камнями и резными из слоновой кости колоннами, между которыми гуляют пышные павлины, как самоцветные живые камни. А нежные девушки, жрицы богини, сидят в заточении при храме и ткут покрывала из виссона и багряницы пурпурного и яхонтового цвета. И нет ничего на свете величественнее и роскошнее празднеств в честь бога Ваала и богини Иштар.

Вот с этим соблазном было труднее всего бороться суровым пророкам.

В то время, о котором идет речь, народом израильским правили судьи. Правил Самуил, судья и прозорливец. Был он человек праведный, и через него сам Господь управлял своим народом. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Но сыновья его не ходили путями отца своего. Они были корыстны, брали подарки и судили нечестно.

И вот пришли старейшины и выборные из народа и стали просить Самуила, чтобы поставил им царя. Просьба эта смутила Самуила, но голос Божий сказал ему, чтобы он послушался и уступил народу.

— Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который Я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили другим богам, так поступают они и с тобою.

И велел Господь объявить народу права царя.

— Вот какие будут права царя. Сыновей ваших он возьмет и поставит их к колесницам своим, и будут они бегать перед колесницами его. И будут возделывать поля его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они пекли хлеба. И поля ваши, и виноградники, и масличные сады ваши лучшие возьмет. И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших возьмет, и восстаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда.

Не согласился народ послушаться голоса Самуила. Не страх перед властью царя испытали они, слушая прозорливца, а соблазн пышной новой жизни. Колесницы, виссон и пурпур — радость для глаз.

— Хотим царя!

И девушки поднимали руки и представляли себе, как зазвенят на них запястья и кольца, и каждая думала, что может быть женою царя или любимой рабыней его и одеваться будет в одежды, тканые золотом, и тело умащать ароматами.

— Хотим царя!

— Пусть будет царь над нами, и мы будем как прочие народы.

И сказал Господь Самуилу:

— Поставь им царя.

Был муж из колена Веняминова, имя ему Кис. У него был сын по имени Саул, молодой и красивый. «И не было из сынов Израилевых

лучше его», — говорит Писание. Ростом своим от плеч до верха был он выше всего народа.

Был Кис, вероятно, достатка среднего, потому что имел слуг и хозяйство. И вот потерялись у него ослицы, не вернулись домой. Сказал тогда Кис сыну своему Саулу: «Возьми с собою одного из слуг и пойдешь поищи ослиц». Взял Саул слугу и долго бродили они и не могли отыскать ослиц. Был уже вечер, когда решил Саул вернуться домой, думая, что отец его беспокоится о долгом его отсутствии. Но слуга сказал ему:

— Есть в этом городе человек Божий. Все, что он говорит, непременно сбывается. Пойдем к нему. Может быть, он укажет нам дорогу, куда нам идти.

И сказал Саулу слуга, что есть у него серебряная монета, чтобы заплатить прозорливцу.

И Саул согласился.

— Хорошо слово твое, — сказал он слуге.

Так пошли они в город, где был человек Божий.

Саул сказал: «Хорошо слово твое». Если бы мог он предвидеть судьбу, не сказал бы он: «Хорошо слово твое», потому что именно это слово слуги определило страшный Саулов путь. Но он сказал и пошел.

Так пришли они в город, где пребывал Божий человек. «Поднялись в город», — говорит Писание. Значит, город был на горе, и был вечер, и вышел навстречу им человек Божий, пророк Самуил.

Как это было? Как увидел его Самуил? Увидел он его на горе, в пурпурных лучах заходящего солнца, могучим и рослым, с широкими плечами, огромным, красивым и грозным в свете закатном. И Самуил узнал его.

— Вот царь Израилев.

Узнал его, потому что за день до прихода Саула дал Господь пророку своему откровение:

— Завтра в это время я пришлю к тебе человека из области Веньяминовой, и ты помажешь его в цари Израилевы.

И увидев Саула, такого великолепного и могуче-прекрасного в пурпуре заходящего солнца, узнал пророк избранника Божия. И когда подошел к нему Саул со своей простой житейской заботой, пророк сказал ему:

— Ослицы найдены. Да и не тебе ли будет все лучшее во Израиле?

Этим открыл он Саулу, что ждет его царство. Царю отдается все лучшее. Его, из колена Веньяминова, младшего колена Израильского, не родовитого и ничем не отличавшегося, ждет царство.

И повел его пророк в горницу, где были созваны почетные гости, и посадил на главное место, и велел подать ему лучшее, отборное кушанье. А к ночи увел его к себе, и долго сидели они вдвоем на кровле дома и беседовали.

Утром рано, до рассвета, вывел его пророк за город, и, отослав слугу, вынул сосуд с елеем, и излил елей на голову Саула. Он отослав слугу, желая, чтобы свершаемое им таинство было тайной.

Тишина, безлюдье, тихий, еще спящий город, восходящее солнце, восходящая слава. Тайна.

— Вот этим помазал тебя Господь на царство.

Что ответил Саул? Как принял возложенное на него? Неизвестно. Радовался ли он? Или только покорился? Могла ли не смутить его душу такая неожиданная и страшная тайна — венчание на царство? Вероятно, был ошеломлен и смущен и как бы не верил случившемуся, потому что пророк для подтверждения истины помазания открыл ему знаки исполнения. Знаки и убедят Саула в том, что по истине помазал

его пророк на царство. Предрек ему Самуил встречи и главную из них — встречу с пророками.

— И осенит тебя Дух Господень,— сказал Самуил,— и ты будешь пророчествовать с ними и станешь другим человеком. Когда же исполнятся над тобою все эти предзнаменования, то делай, что представится тебе, ибо с тобою Бог.

В тишине рассветной слушал Саул эти слова, которые не мог не вспомнить потом в горькие часы жизни: «Делай, что представится тебе, ибо с тобою Бог».

Может быть, уже зашелестел в листьях легкий утренний ветерок, и зазвенел в воздухе проснувшийся жаворонок, и далеко в поле запела, созывая стада, нежная свирель юного пастуха, отрока Давида, на котором Бог еще не остановил взора своего... Очнулся Саул, и оборотился, чтобы идти от Самуила, и почувствовал, что дал ему Бог другое сердце. В тот же день сбылось все, предсказанное Самуилом.

Так встретил он сонм пророков. Шли они в своих белых льняных одеждах, спускались с горы, а перед ними шли отроки, и били в тимпаны, и звенели кимвалами и гусями, и под звуки эти, исполненные Духа Божия, изрекали пророки. Изрекая, грозили бедами, призывали к покаянию и иступленно восторженными словами славили великое и страшное имя Божие.

Не таких ли пророков были псалмы: «Восклицай Господу вся земля, пойте, восклицайте и бряцайте... На трубах и при звуке рога торжествуйте пред царем Господом. Да плещет море и что наполняет его, вселенная и живущие на ней. Реки да рукоплещут; горы вместе да ликуют».

В неистовом восторге вопили пророки, и потрясали руками, и падали на землю, «падали на лицо свое». И, глядя на них, почувствовал Саул, что осенил его Дух Божий, и присоединился он к пророкам, и стал пророчествовать.

Когда же вернулся домой, ничего не рассказал домашним.

Рассказал только, как Самуил открыл ему, что ослицы найдены, но о помазании и откровении умолчал. Потому ли умолчал, что слишком было это величественно и страшно, чувствовалась некая тайна, о которой просто и спокойно рассказывать, хотя никто не запрещал, было жутко? Никому не сказал Саул ни слова и, храня тайну, он, помазанный царем над всем народом своим, ходил за стадом и водил волов на работу в поле. Кто мог бы так молчать и так хранить такую великую, необычайную тайну, чтобы ни отцу, ни жене, ни близким не открыть и смиренно работать? Глубокая и сильная была душа у Саула. Он смог умолчать.

Между тем Самуил зовал народ именем Божиим и сказал обличающее слово. Сказал, что вывел Господь народ свой из Египта и избавлял от многих врагов, угнетавших его, а теперь отверг Израиль Бога своего, который спасал от всех скорбей и бедствий, и потребовал царя, чтобы не Бог, а царь управлял народом.

И велел Самуил бросить жребий. Жребий пал на Саула, сына Кисова. Стали искать Саула в толпе и не сразу нашли, потому что он скрывался в обозе. Была в нем благородная гордость. Он не выдвигался сам, не заявлял о себе. Он как бы отходил от славы, но слава сама искала его. Сам Господь указал, где искать его.

И когда вывел Самуил пред народом Саула, могучего, ростом выше всех и обликом всех красивей, заволновался народ.

— Видите, кого избрал Господь? — воскликнул пророк. — Нет подобного ему во всем народе.

И закричал весь народ, как один человек:

— Да живет царь!

И объявил Самуил права царя, те самые права, которыми хотел Господь смутить безрассудных израильтян и заставить их одуматься, потому что права царя были жестоки и ложились на подданных тяжелым бременем. Но и теперь народ не одумался и ответил восторгом, приветствуя великолепного избранника своего.

— Да живет царь!

И Самуил записал в книгу права царя и положил пред Господом. Затем отпустил народ, и Саул пошел в дом свой и с ним «люди доблестные, коих сердец коснулся Бог»,— свидетельствует Писание. А люди негодные отнеслись к Саулу с презрением и не принесли ему даров. «Но он,— говорит Писание,— как бы не заметил этого». Он был уже царственно высок и высоко нес венец помазания. Мелкой человеческой зависти и недоверия он уже видеть не хотел.

Истинно, был он — царь.

Между тем вечные войны и распри с соседями продолжались, как прежде. Мир позорный предложили аммонитяне — «выколоть у каждого правый глаз и тем положить бесславие на весь Израиль».

И весь народ завопил и заплакал.

Шел Саул с поля, гнал свое стадо и услышал плач. И сошел Дух Божий на царя-пахаря, и в гневном порыве разрубил он пару волос своих на куски и разослал эти куски по всем пределам царства своего, говоря: «Так поступят с волами того, кто не пойдет за Саулом и Самуилом».

И вышли все, как один человек. И на другой же день одолели врага. В радостном подъеме кричали они пророку Самуилу:

— Где те люди, которые не хотели видеть над собою Саула царя? Выдайте этих людей, и мы убьем их.

Но Саул сказал: «Никого нельзя убивать в этот день, ибо совершил Господь спасение во Израиле».

И радовался народ, видя своего царя не только могущественным и грозным, но также и милостивым. Заклали мирные жертвы и веселились.

Так началось царствование Саула.

Радовался народ и гордился царем своим. Но пророк Самуил обратился к народу с суровым поучением. Напомнил о своих заслугах и о том, как управлял ими и спасал их сам Господь, но они против воли Божией захотели себе царя. Если будут они и царь их беспрекословно слушаться голоса Божия, то будут под защитой Бога, если же ослушаются, то они и царь их погибнут.

Подкрепив грозное слово громом и молнией, оставил Самуил народ в страхе и смущении.

Была у Саула жена, были сыновья и две дочери.

Сын Саула, Ионафан звали его, кроткий отрок, был отважен в боях и верен в дружбе. Весь овеванный ясной нежностью, всеми был любим и во всех вызывал тихую любовную к себе ласковость. Слуги, следуя за ним в опасный бой, говорили:

— Ступай вперед. Вот мы с тобою, как сердце твое.

Самые преданные и храбрые воины следуют покорно за своим начальником, но идти, «как сердце твое», могут только нежно любившие.

Таков был Ионафан.

Дочери же Саула, Мерова и Мелхола, были гордые и властные.

Два года царствовал Саул над Израилем, когда одолел сын его Ионафан начальника филистимского, и снова закипела вражда между израильтянами и филистимлянами. Двинули филистимляне большое

войско. Саулу же велено было пророком Самуилом не начинать сражения, пока он, Самуил, не придет для жертвоприношения. Время шло, народ волновался, собранные Саулом войска стали разбегаться. Отчего же не идет Самуил? Назначенный им срок прошел. Забыл пророк обещание свое? Или заболел? Или раздумал? Неизвестно. А войска разбегаются, и враг начинает наступать. Что делать? Не царь ли он? Не лежит ли на нем ответственность за вверенный ему народ? Может ли он, сознавая опасность промедления, оставаться в бездействии? Ждать больше невозможно. Саул принимает решение. Он — царь, он должен решать. Не сказал ли пророк, помазуя его на царство: «Делай, что представится тебе, ибо с тобой Бог»?

И вот он созывает народ и приступает к торжественному жертвоприношению, знаменующему начало военных действий. И только что закончил он обряд, как явился Самуил и с укором сказал ему:

— Что ты сделал?

Саул отвечал:

— Ты не пришел к назначенному сроку, войска стали разбегаться, а враг наступать.

Он понимал, что он — царь, выбранный Богом и выбранный народом для защиты, и думал, что это был именно тот случай, когда он должен принять решение. Не знал он, что должен был только слушаться пророка.

— Неразумно поступил ты, — сказал ему Самуил. — Не исполнил ты заповеди Бога, и царствование твое не продолжится. Повелит Господь другому быть царем над народом своим.

Страшные слова сказал Самуил. Так ли велико было преступление Саула? Не обстоятельства ли заставили его действовать самостоятельно? Почему же так разгневался пророк Божий? Не потому ли, что, по слову Божию, царь израильский должен был прежде всего быть послушным? И почувствовал пророк в Сауле свободный разум и волю, Богу неугодную. Он еще не отнял окончательно власть от Саула, но, как пророк и провидец, открыл ему судьбу:

— Царствование твое не продолжится.

Саул был Богу негоден.

Ушел Самуил. А война продолжалась, и сын Саулов Ионафан обратил в бегство большой отряд противника. Но враг наступал снова, и связал Саул народ свой клятвой не вкушать пищи до вечера. Но Ионафан не знал о заклятии и, увидя в лесу на поляне дикий мед, обмакнул в него трость и отдал этого меду. Он был страшно изнурен и в глазах у него темнело от усталости и голода, но когда отведал меду, сразу пришел в себя.

И снова одержал народ победу над филистимлянами, а вечером устроил Саул благодарственный жертвенник и спросил Господа:

— Идти ли мне за филистимлянами? Предаешь ли их в руки израильтян?

Но Господь ему не ответил.

Тогда понял Саул, что кто-то преступил клятву, наложенную им на народ.

— Если вина на Ионафане, сыне моем, — воскликнул он, — то он смертью умрет.

И бросили жребий. И пал жребий на Ионафана.

— Объяви, что ты сделал, — сказал ему Саул.

— Вкушая, вкусих мало меду, — ответил Ионафан. — И вот я умираю.

И горькие слова эти как бы предначертали всю его недолгую жизнь. Поистине, мало меду вкусил он. И горек был мед прекрасной жертвенной любви его, за которую он страдал и умер.

И столько печального очарования было в этих словах его, что не

умерли они с ним, но целые тысячелетия спустя повторили их поэты далекой, тогда еще не существовавшей страны: «Вкушая, вкусих мало меду».

Услышав это, воскликнул Саул:

— Пусть Бог меня накажет, если ты, Ионафан, не умрешь.

Но народ не допустил смерти Ионафана. Ионафан, только что свершивший геройский подвиг и одолевший врага, погибнуть не может. Сам Господь помогал ему. Не могло быть это без Божьей помощи.

Так освободил народ Ионафана. А Саул продолжал воевать и одерживал победы.

И вот сказал Самуил Саулу:

— Так говорит Господь Саваоф: «Ступай и порази амаликитян за то, что те препятствовали Израилю на пути бегства из Египта. Порази их и истреби все, что у них есть; не пощади и предай смерти мужей и жен, отроков и грудных детей, волов и ослов, овец и верблюдов».

Так передал Самуил Саулу волю Божию, как царю и повелителю. Значит, еще не свергнут был он, и, может быть, давалось ему новое трудное испытание.

Послушался Саул и истребил весь народ мечом, взял живым только царя их Агага.

Страшная бойня, кровавое море, вопли и стоны, звериный визг, хрип предсмертный и проклятия. Кровь человеческая и кровь животных сливаются в один поток, смывающий давнюю обиду. Библейская месть потомству за вражду предков.

Но пощадил Саул Агага, и пощадил народ лучшие отборные стада, предназначая их в жертву Богу.

А когда вернулся Саул домой, пришел к нему Самуил.

— Благословен ты от Господа, — приветствовал его Саул. — Я исполнил слово Господне.

Но Самуил обличил его:

— Что же значит блеяние овец и мычание волов, которые я слышу?

— Народ пощадил их, чтобы принести в жертву Богу.

И на это ответил ему Самуил:

— Неужели столько же угодны Господу жертвы, как послушание гласу его? Покорность лучше жертвы, и послушание лучше откормленного барана. Ибо упорство подобно греху волхвования, и ослушание равно идеолопоклонству. А так как ты пренебрег словом Господним, то и он более не устояивает тебя быть царем.

И снова повторил Самуил страшную весть, на этот раз уже окончательную:

— Ныне отторгает от тебя Господь царство и дает его ближнему твоему, лучшему тебя.

И повернулся Самуил, чтобы уйти, но Саул в отчаянии ухватил его за край епанчи и просил не унижить его перед народом и пойти вместе поклониться Богу.

Пророк послушался мольбы его и помолился с ним, а потом велел привести пленного Агага. И взял меч.

Поднял глаза Агаг и увидел пламенеющего яростью старца в льняной одежде, служителя Божия, убежденного благословенными сединами, увидел пророка — прямого исполнителя воли Божией, посланца Божьего гнева, и в последнем ужасе души своей воскликнул:

— Поистине страшен властитель смерти!

А Самуил поднял меч и рассек Агага. Рассек и ушел от Саула навсегда, до самой смерти своей. Но, покинув Саула, Самуил оплакивал его. Горько ему было, что не пожалел Господь первого помазанника своего. Велик был грех Саулов перед Господом. Пожалел Саул Агага человеческой жалостью, пожалел того, которого Бог не пожалел.

Пошел против воли Божией своим человеческим предельным разумом и вот погиб. Но печаль о Сауле сразила душу Самуила.

Что было с Саулом? Каким оставил его Самуил?

Понял Саул, что такое царь и каковы права его. Права его были записаны в книгу пророком и положены перед Господом. Права его были на труд подданных, на овец и волов, на девушек, готовящих благовония и составляющих масти, и права на оливковые деревья и виноградники. Но прав на свою свободу, на действия от своего разума, от своего сердца и своей воли царю Господом дано не было. Царь не мог ни в чем выходить из воли Божией и, даже если приказанное ему через пророка казалось чрезмерно жестоким или житейски неразумным и невыгодным, он не смел поступать иначе, как по слову пророка. Царь был только орудием в руках Господних и должен был понимать только одно: пути Божии неисповедимы и не ему исправлять их.

Так все, что он считал лучшим из поступков своих, обращалось против него, как грех, равный волхвованию и идолопоклонству — величайших грех против заповеди Моисеевой.

И почувствовал Саул, что он как бы стерт с лица земли, унижен в достоинстве своем. Очень горько и больно было ему это унижение, о чем свидетельствует просьба его, чтобы Самуил не оставил его в глазах народа, а последний раз помолился бы с ним вместе пред всеми, чтобы не знал никто, что он уже отвергнут Богом и царство его передается другому.

Но никому не открыл он о том, что низложен, как прежде молчал о том, что помазан на царство. Он был горд и замкнут в себе.

Долго и тяжело тосковал Самуил о Сауле, и сказал ему Господь:

— Доколе будешь ты печалиться о Сауле, когда я призвал его недостойным царствовать над Израилем? Наполни рог твой елеем и иди к Иессею в Вифлеем, ибо я усмотрел себе царя между сынами его.

Но Самуил боялся, как бы не услышал об этом Саул.

— Услышит и убьет меня.

И научил его Господь:

— Возьми с собою теленка и скажи, что пришел принести жертву Господу, и пригласи к жертве Иессея и сыновей его, а я укажу тебе, кого должен ты помазать на царство.

Самуил послушался и пошел в Вифлеем. Там старейшины города встретили его с благоговением и приготовили жертвоприношение. Позвал Самуил и Иессея с сыновьями. Сыновья его были красивы и высоки ростом, и о каждом из них думал Самуил: «Не этот ли избранник Божий?»

Но Господь сказал ему:

— Не смотри на наружность. Не в том дело, что видит человек, ибо человек видит только то, что перед глазами, а Господь видит, что в сердце.

Так вывел Иессей перед Самуилом семерых сыновей своих и ни на одного из них не указал ему Господь.

Тогда спросил Самуил Иессея, все ли сыновья пришли? Тот отвечал:

— Есть еще младший, который пасет овец.

И привел Иессей Давида.

Как это было? Как увидел его пророк Самуил?

Белокурый отрок стоял перед ним с глазами, напоенными небесной лазурью, с волосами, золоченными солнцем, стройный, крепкий, с руками сильными, которыми он отнимал у льва теленка и у медведя овцу, раздирая звериную пасть. Весь светлый, весь радостный, весь овечьими цветами и травами, звенящий песнями, как золотая струна. Овечья

шкура охватывала его бедра, быть может, на голове был венок, и в сильных руках держал он певучую лютню. Так стоял Давид перед пророком. И яркое солнце заливало его небесным золотом, и розовые облака летели над ним, и дальние вифлеемские горы дымно голубели за его плечами, и белые голуби реяли в небе. Да, может быть, реяли белые голуби, потому что такое мгновение должно же было отметиться явлениями и знаменами.

Давид — имя ему. Потом в веках повторят тысячи тысяч раз это имя. Скажут: «Он был из дома Давидова».

Увидел его пророк, услышал имя его, звучащее в веках, и почувствовал в себе голос Божий:

— Встань, пророк! Это тот самый.

Отступил Дух Божий от Саула. Затосковал Саул черной тоской. Злой дух мучил его. Не было ему покоя.

Через какое страшное чудо прошел он!

Тихо жил в доме отца, пахал землю, пас стада. Была у него жена, не очень им любимая. Осердясь на сына своего Ионафана, он назвал его «сыном упорной женщины»: значит, были у Саула с женою нелады. О ней почти не упоминается. Вся жизнь его была проста, и был он еще молод и в подчинении у отца. Была семья, мирные заботы, спокойный уклад патриархальной жизни.

И вдруг послал Господь пророка своего, и весь мир души Сауловой сдвинулся. Он помазан на царство. Он, из колена Веньяминова, младшего колена Израильского, ничем не отличившийся и не выделившийся, он — царь. Поверить такому чуду трудно. И он притих и за- таился.

Но вот настало признание всенародное, и он принял царство и поступил так, как говорили ему совесть, и ум, и сердце, и все это вышло плохо и ненужно. И он свергнут, как преступник. Как неожиданно вознес его Бог, так неожиданно и оттолкнул, столкнул в бездну.

В растерянном недоумении, в остановившемся отчаянии тосковал Саул. В те времена все проявления чувств были бурны и превыспренны. В радости пели и плясали так неистово, что одежды развевались и обнажали тело. В скорби раздирали одежды сверху донизу, посыпали голову пеплом, царапали лицо ногтями, и вопили, и выли иступленно, как звери, качаясь из стороны в сторону.

Как мучился Саул? По сильному и углубленному внутрь характеру своему он, вероятно, замкнулся в тоске своей, не ел, не спал, не разговаривал. Должно быть, внутренне спрашивал у Бога объяснения, и не находил ответа, и тосковал смертельно, но тайно. Из гордости не мог открыть даже близким, что он уже развенчан.

И заполнила тоска его весь дом царский. Скорбели отец его и мать, мучились сыновья. Тихо плакали дочери, тревожно шептались слуги. Точно черный воздух лилась тоска Саулова и отравляла дыхание. Никто не знал причины, но муку Саулову чувствовали.

И сказали слуги Саулу:

— Вот мучает тебя злой дух от Бога. Да повелит господин наш слугам своим отыскать человека, умеющего играть на гуслях. Пусть станет он играть, и тебе будет лучше.

И сказал Саул:

— Найдите такого и приведите его.

Тогда отвечал один из служителей:

— Вот у Иессея вифлеемлянина я видел сына, который умеет играть. Он доблестный, разумный в речах и красивый с виду, и с ним Господь.

Такова была первая весть Саулу, весть о Давиде, весть о величайшем страдании, идущем к нему.

Но слепы были глаза души его, и он сказал:

— Пойдите и приведите.

И пошли за Давидом, и привели его.

Так встретились два мира. Один — темный, убитый в благородной гордости своей, терзаемый злым духом от Господа, другой — весь ясный, светлый, торжествующий и благословенный. Не почувствовал в нем Саул нового помазанника, нового и вечного царя, которого возлюбил Бог так, что много простит ему худшее, чем то, за что взыскивал Саула, за что так сурово карал его. Любимец Божий, певец славы Божией, в луче славы сияющей стоял перед отвергнутым, черным, как бы обугленным в огне пламенного своего страдания, падшим царем.

И взял Давид гусли и запел. Певец-пастух. От трав и цветов полевых было его вдохновение, от синего звездного неба, от голубых далей палестинских, от всей вечной красоты, заворожившей юную его душу. О Боге великом он пел. И песнь его не умерла на земле. Потом, через многие века, будут неведомые ему народы коленапреклоненно, со священным благоговением тысячи тысяч раз эту песнь повторять и славить.

Пел Саулу Давид. Отходил злой дух от Саула. Черными завороженными змеями выползала тоска из души его, и освобождалась душа. Восторг, восхищение отторгали душу его и поднимали ввысь, туда, где нет ни человеческих обид, ни земных огорчений. И когда поднимается так высоко душа, то чувствуется сладкая боль как бы от натянутых цепей, коими прикована она к земле. Таковы чары красоты и искусства, чары благословенного дара.

Светлело лицо Саула, и светлел воздух душевного темного дома.

Нежный Ионафан смотрел на певца Божия и плакал от восторга и счастья. Гордые дочери царя, на коленях, прижавшись к отцу, закрывали лица свои широкими рукавами хитонов и дрожали от любви к прекрасному отроку.

Саул полюбил Давида и оставил его у себя.

Так с пением и музыкой, с красотой и радостью вошло в дом Саулов великое его страдание.

Первое действие трагедии — удар по гордости Сауловой.

Война все с теми же вечными врагами — филистимлянами. На этот раз в новом виде — единоборством. Вышел из войска филистимского воин — огромный, страшный — «рост его шесть локтей с пядью». На голове медный шлем, тяжеленная чешуйчатая броня защищала его грудь, медные щиты на ногах и медное копье было у него на плечах с железным острием длины и тяжести непомерной. И, встав перед перепуганными отрядами израильскими, чудище это потрясало плечами, гремело металлом доспехов своих и бахвалилось:

— Для чего вылезли вы на сражение? Не филистимлянин ли я? — гудел голос его. — Вы, рабы Сауловы, выберите у себя человека, пусть сразится со мной, и если поразит меня, то мы будем вашими рабами, если же я одолею его, то вы будете нашими рабами и станете служить нам. Осрамлю я ныне отряды израильские.

В ужасе внимали ему войны Сауловы. И были среди них три брата Давидовы, старшие сыны Иессея, а сам Давид, служа у Саула, был в это время в Вифлееме. Часто уходил он домой пасти стада отца.

Сорок дней бахвалился филистимлянин перед израильтянами, и никто не смел отозваться на вызов его. Между тем Иессей повелел Давиду отнести братьям хлеба и осведомиться об их благополучии.

Подойдя к стану, услышал Давид, как трубили тревогу, и увидел страшного Голиафа, единоборца филистимского. Выстроились израильтяне и филистимляне строем против строя, а Голиаф выступал перед ними и издевался над израильтянами.

И услышал Давид, как говорили израильтяне между собою:

— Вот как возносится этот человек. Кто поразит его, того обогатит царь великим богатством и выдаст за него дочь свою.

Увидел Давида старший брат его Елиав и разгневался: как смел этот младший брат бросить стадо свое и толкаться здесь.

— Я знаю твою надменность и недоброе сердце твое. Ты пришел только посмотреть на сражение.

Должно быть, было у этого брата нехорошее отношение к Давиду. Он чувствовал, что этот младший носит на себе знак, отличающий его от всех, и было ему завидно и обидно.

— Разве я без дела здесь? — отвечал ему Давид.

Он ведь пришел по поручению отца, принес хлеба братьям.

И, отойдя от Елиава, продолжал ходить между воинами и расспрашивать. И все повторили ему об условиях единоборства и о царской награде победителю.

И тогда сказал Давид, что хочет сразиться с филистимлянином. Пересказали слова эти Саулу, и тот велел привести к себе Давида.

— Ты не можешь идти против филистимлянина, — сказал ему Саул, — ибо ты еще молод, а он — ратоборец с малолетства.

Но Давид расправил мощные плечи свои и вытянул сильные руки.

— Льва и медведя поражал раб твой, так же будет и с филистимлянином за то, что он поносит Бога живого. Господь, избавлявший меня от когтей льва и когтей медведя, также избавит меня от руки этого филистимлянина.

Тогда сказал Саул Давиду:

— Иди, Господь да будет с тобою.

И облек Саул Давида воинской одеждой, и возложил медный шлем на главу его, и надел на него броню, и опоясал его мечом. Но не привыкший к этим доспехам отрок не мог в них двигаться и, смеясь, сбросил их с себя. Весь этот грохот — медь и железо — сбросил он, заменив его простой палкой и пятью плоскими камнями, выбранными из ручья. И вышел к филистимлянам, осиянный вместо шлема золотом волос своих, вместо тяжелой брони — легкой овечьей шкурой, вместо бахвальных слов — с именем Божиим на румяных устах.

— Ты идешь против меня, — сказал он Голиафу, — с мечом, копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа.

Так стояли они друг перед другом — тяжелый воин силы и вдохновенный воин духа. И не дрожали ли сердца израильские, чуткие к красоте? Этот прекрасный отрок, бесстрашно идущий на смерть во имя и славу Божию, один, безоружный и беззащитный против тяжелой силы, устранившей весь народ.

И когда поднялся филистимлянин и стал подходить, гремя доспехами своими, огромный и страшный, и щитоносец впереди него, выбежал к нему навстречу легкий отрок, свободный и быстрый в движениях, и, опустив руку свою в бывшую на нем пастушескую сумку, взял оттуда камень и бросил его пращою. Врезался камень в лоб Голиафу, и рухнул могучий великан на землю. И встал над ним Давид, безоружный пастух, и, вынув из ножен Голиафа меч, отсек Голиафу голову.

Дрогнули войска филистимские, увидя, как пал их ратоборец, и в смятении обратились в бегство, а израильтяне с криками погнались за ними и, прогнав, разграбили стан их.

А Давида с кликами торжества и радости повели к Саулу. И не было границ их ликования. Не чудо ли, прекрасное чудо видели они? Вот мальчик-пастух, красивый, как нарцисс саронский, смелый, как лев пустыни, поразил заклётого врага, обратил в бегство тысячи тысяч.

Зазвенели кимвалы и тимпаны, вышли женщины из всех городов,

и песнями славили благословенного отрока, и плясками знаменовали подвиг его. Громкими криками возвещали по всей стране славу Давиду:

— Саул победил тысячи, а Давид — тьмы.

Но когда привели Давида к Саулу, Саул не признал в нем того сладкого певца, чья песня отгоняла от него злого духа.

— Чей ты сын? — спросил он.

— Сын раба твоего Иессея вифлеемлянина.

Почему не узнал он его? Может быть, гордость и слава так изменили облик Давидов? Или сам Саул был так взволнован этим прекрасным чудом? Он не узнал Давида и оставил его в доме своем.

Так началось второе действие трагедии Сауловой. Удар в сердце его, удар, отнявший от него души близких.

Восторг пред Давидом охватил весь дом Саулов. Но ярче всех отозвалось на все сердце Ионафана, сына его.

«Душа Ионафана соединилась с душою Давида, — говорит Писание, — и возлюбил его Ионафан, как свою душу».

Отдал Ионафан Давиду всю душу свою, и была его любовь «превыше любви женской». Так говорил об этой любви сам Давид. Отдал ему Ионафан все, что было у него драгоценного — воинский наряд свой, и лучшее свое платье, и лук свой, и стрелы, и даже меч свой, единственный у него. Только у него и у царя Саула были мечи во всем Израиле, и вот меч свой отдал Ионафан Давиду. И, обнимая, целовал он Давида, называл братом своим, и радовался на него.

И обе дочери Саула, Мерова и Мелхола, вместе с девушками, служительницами царскими, славили плясками имя Давидово. И уже не прятали в рукава лица свои, а сияли взорами и понимали, что любят они Давида и каждая стораает душою, желая быть женою ему.

И даже слуги Сауловы радовались на торжество Давидово и славили имя его. Слишком высок, и необычен, и чудесен был этот отрок, чтобы можно было завидовать ему или желать для себя того, что предназначила ему воля Божия.

Саул обласкал Давида, и поставил его над войском, и поступками его и распоряжениями был доволен, потому что все, что делал Давид, было разумно. Но народные восторги пред Давидом и любовь, которой он был окружен, волновали Саула.

— Саул победил тысячи, а Давид — тьмы!

Этот возглас, бесконечно повторяемый всем народом, чувствовал Саул как несправедливость. Уже несколько лет царствовал он, и вел тяжелые войны, и одерживал победы, отражая нападения врагов, а этот отрок только вложил камень в пращу, и о нем кричат уже по всей земле, что победил он тьмы и Саулу не сравняться с ним.

Несправедлив был народ. Не ценил заслуг и трудного дела Саулова. Мальчик-пастух не нес тяжелых военных тягот и лишений, не подвергал себя сотни раз смертельной опасности. Он, как бы играючи, вынул камень из пращи. И за это удачное движение руки славят его теперь превыше многих подвигов заботливого и разумного царя.

Но тяжелее всего было Саулу то поклонение, то преклонение перед Давидом, которое захватило весь дом его. Восторженный и нежный Ионафан был неразлучен с новым братом своим, дочери дрожали от счастья, когда видели его, и слагали о нем песни. Даже слуги улыбались при имени его. Все было Давидово. Весь мир, и народ, и земля, и дом царский принадлежали ему. И не ему ли подчинялась душа Саулова, когда он брал лютиною сильными своими руками, закидывая к небу золотую свою голову и пел своему Господу вечную славу? Черные змеи души Сауловой тихо выползали и покидали его, блаженно затихшего и просветленного.

Некуда уйти от Давида. Душа Саула сама покоряется ему.

Недостает ему только царства.

И вот на другой же день после торжества Давидова над Голиафом напал злой дух на Саула, и, по обычаю, позвали к нему Давида с гуслями. Играл Давид и пел перед Саулом: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог», но на этот раз так черна была душа Саулова, что не зачаровали его ни гусли, ни пение, ни красота, ни вдохновение певца. В исступлении схватил Саул копье и бросил его в Давида.

Но Давид увернулся.

Испугался Саул Давида. Господь охраняет избранника своего. И отослал он Давида, удалил его от себя, поставив тысяченачальником.

Так началось дело Давидово. Всюду проявлял он себя благоразумным, и все были довольны его распоряжениями.

Тогда сказал Саул Давиду: «Вот старшая дочь моя Мерова. Ее дам тебе в замужество, но за это будь мне сыном храбрым и веди войны». Думал при этом Саул: «Пусть не будет рука моя на нем, но да будет на нем рука филистимлян».

Знал он отвагу Давидову и надеялся, что в конце концов копье или стрела филистимская когда-нибудь достигнет слишком смелого воина. Но Давид уклонился от лестного предложения. Может быть, понял он расчеты царя? Через много лет он так же рассчитал, поставив на опасное место мужа полюбившейся ему женщины, и тот был убит. Может быть, принимая нехорошее это решение, вспомнил он хитрость царя Саула. Злое семя дает ростки долгие.

Уклонился Давид:

— Кто я и какой род жизни моей и семейство отца, чтобы быть мне зятем царя?

И Саул отдал Мерову Адриилу-мехолафитянину.

Но младшая дочь Саулова, Мелхола, томилась любовью к Давиду и не могла скрыть этого от Саула. И подумал Саул: будет она ловушкой и поможет навести на Давида руку филистимлян.

И приказал слугам своим влиять на Давида и посоветовать ему породниться с царем. Но Давид отвечал слугам:

— Я человек небогатый и незнатный. Как могу я вступить в родство с царем?

Потому что тогда полагалось, чтобы жених делал брачный подарок за невесту.

Тогда велел Саул: «Объявите ему, что царь не желает другого брачного подарка, кроме ста трупов филистимских». Так сказал Саул, потому что рассчитывал, что убьют Давида филистимляне.

Когда донесли Давиду о желании Саула, встал Давид и убил двести человек филистимлян. Тогда отдал ему Саул Мелхолу, дочь свою, в супружество.

И, видя счастье Мелхолы и беззаветную любовь ее к Давиду, который стал для нее дороже отца и царя ее, узнал Саул, что Господь с Давидом и что одолеть его, может быть, не будет у него сил.

А Давид, как зять царский, приобрел большие права, и все распоряжения его были разумны, и имя его прославилось по всей стране.

Мучился Саул и решил открыть сыну своему Ионафану и слугам своим, что нужно убить Давида.

Но не мог умолчать об этом Ионафан. Любовь его к Давиду заставила его идти против отца, и он открыл все Давиду:

— Ищет Саул, отец мой, убить тебя. Удались в тайное место и скройся.

Пошел против отца Ионафан. Выдал отца, выдал его черную тайну. Через какую муку должен был он пройти, чтобы так поступить!

Любовь повела его через эту муку.

— Я выйду и встану подле отца моего на поле,— шептал Ионафан Давиду,— на поле, на котором ты будешь, и буду говорить за тебя отцу, и когда узнаю, что будет,— сообщу тебе.

Так и сделал Ионафан. Дрожал и плакал, умолял отца не грешить против раба своего Давида. Напомнил отцу, как Давид рисковал жизнью своей, выйдя на вызов Голиафа, и теперь верно служит царю своему. Зачем же убивать его напрасно?

Послушался Саул голоса Ионафана и поклялся:

— Жив Господь. Он не будет убит.

Тогда пошел Ионафан к Давиду и пересказал ему слова и клятву отца.

И снова было сражение с филистимлянами, и снова одержал победу Давид. И снова напал злой дух на Саула, и позвали Давида с гуслями петь перед царем.

Держал Саул копье и слушал Давида, но и на этот раз не вызвала музыка черных змей из души Сауловой, и снова нашло на него иступление, и он бросил в Давида копье. Но увернулся Давид, и копье вонзилось в стену. И бежал Давид и скрылся.

Когда взывал Ионафан к разуму отца своего и доказывал, что предан ему Давид, что не щадил жизни своей, что шел на подвиги ради славы Сауловой,— понимал Саул, что не прав он, ища смерти Давида. И когда вспоминал Саул прекрасного отрока, чаровавшего душу своим благославленным даром, врачевавшего черную тоску его, то чувствовал, что любит он Давида. Но было нечто вне сознания его, было то, чего он не знал, но что терзало его в Давиде неизменно. Это нечто незнаемое был дар Духа Святого, священное помазание, отметившее Давида.

— С ним Господь,— говорили про него.

То, что было отнято от Саула, было даровано Давиду.

Никому не открыл Давид тайну помазания своего, даже названный брат его Ионафан не знал об этом, иначе не удивлялся бы так искренно ненависти отца к Давиду. Не знал об этом и Саул. Саул, как ночная птица, которая смотрит на солнце слепыми глазами и не видит его, но чувствует что-то могучее, чему имени не знает, и боится, и мучается.

Внешне могла быть у него зависть к военным удачам Давида. Но ведь бывали у царей хорошие полководцы, и цари бывали довольны, и хвалили, и отличали их. Саулу следовало бы отличать Давида и радоваться удачам его.

— Не хватает ему только царства,— с горечью говорил он.

А царство уже было отдано.

И это общее преклонение перед Давидом тоже было ему странно, и удивляло, и мучило Саула. Ионафана тоже все любили, но любовь к Ионафану была умиленная, ласковая и дружеская. Любовь же к Давиду была поэтическая и страстная, как влюбленность. Дочь Саула Меллода страстно любила Давида. Ионафан любил его «любовью, превыше любви женской» — то есть такой же поэтической и страстной, но и «превыше», то есть мучительнее и жертвеннее.

Очарование Давидово действовало и на Саула. Не восторг ли перед красотой и талантом отрока-поэта смягчал тоску и душевную муку Саулову? Тоска эта, этот «злой дух от Бога» овладел им прежде, чем зависть к успехам Давида или злоба на него. Значит, не в зависти была причина тоски его, черной болезни его души. Унижен он был Богом через Самуила, обижен, отвержен, и вот Давид, на мгновение озаривший лучом красоты ночь Саулову, увел и отнял от него все, что еще оставалось: признание и благодарность народа, сердце дочери, любовь и покорность сына.

— Не хватает ему только царства.  
Но этого последнего не отдаст ему Саул.

Не мог Саул отогнать злого духа и послал нарочных в дом Давидов стеречь его, чтобы, когда утром выйдет, убить. Но узнала об этом Мелхола, жена Давидова, дочь царская, и спустила его Мелхола из окна, и он спасся. А Мелхола взяла домашнего кумира, положила на постель и, подсунув козлей шерсти под его голову, покрыла одеждой. Когда же пришли от Саула слуги, чтобы взять Давида, ответила она, что он болен. И увидели посланные, что на постели кумир, и дожили Саулу.

— Зачем ты так обманула меня? — упрекнул ее Саул. — Ты отпустила врага моего.

И понял он, что все против него, что измена у него в доме во всех сердцах, от родного сына до последнего слуги, что одинок он и брошен в черной муке своей.

Давид же, спасшись бегством, вспомнил о великом своем покровителе, помазавшем его на царство, и пошел к Самуилу.

Узнал об этом Саул и послал слуг схватить Давида. Но когда пришли слуги к Самуилу, то застали его среди учеников пророка. Учил их пророк, и они, подняв руки, прорицали. Когда увидели это слуги Сауловы, Дух Божий сошел на них, и они забыли, кем и зачем посланы, и, присоединившись к ученикам Самуиловым, стали пророчествовать.

Узнав об этом, послал Саул других послов, но и те не вернулись. Тогда отправился Саул сам. Но на пути сошел на него Дух Божий, и он увидел невидимое, и стал пророчествовать, и, придя к Самуилу, сорвал с себя одежды, и лежал, обнаженный, в ногах Самуила весь день и всю ночь.

А Давид скрылся и пошел к Ионафану узнать, что ждет его.

— Чем согрешил я пред отцом твоим? За что ищет он убить меня?

— Нет, — отвечал ему Ионафан, — ты не умрешь. Отец мой ничего не скрывает от меня и не делает ни одного дела важного или неважного, которого не открыл бы мне.

Но Давид ответил:

— Отец твой знает, как ты любишь меня, и потому думает: пусть не знает Ионафан, чтобы ему не было прискорбно. Но, поистине, между мною и смертью не более шага.

Тогда сказал Ионафан Давиду:

— Что скажет душа твоя, то я и сделаю для тебя.

Тогда сказал Давид Ионафану:

— Завтра новомесячие, когда мне следует сидеть у царя за обедом. Отпусти меня, чтобы я мог скрыться на три дня. Если спросит царь, где я, то скажи, что я упросил тебя отпустить меня в Вифлеем, так как там годовое жертвоприношение всего моего семейства. И если он разгневется, значит, уже определил мне смерть.

И еще сказал Давид:

— Окажи эту милость, так как принял меня, раба твоего, в союз с тобой перед Господом. Если же считаешь меня виноватым, то умертви меня сам. Тогда незачем тебе приводить меня к отцу моему.

Тогда обещал Ионафан выведать у отца, какая судьба ждет Давида. И просил у Давида милости к себе и своему семейству, когда сотрет Господь с лица земли всех врагов Давидовых. Не зная о помазании Давида, чувствовал Ионафан, что чудесная сила заключена в этом отроке и путь славы перед ним.

Вот стоит Давид, безоружный, преследуемый, обреченный, а Ионафан просит у него покровительства для себя и семейства своего во веки. Не значит ли это, что он глазами любви своей провидит путь

Давидов? Потому что, говорит Писание, «любит его, как свою душу».

— Иди, скрывайся около скалы Азель. А я пушу три стрелы, как бы стреляя в цель. И скажу громко слуге: «Вот стрелы не доходя до тебя». Это будет значить: «Мир тебе». Если же скажу слуге: «Вот стрелы дальше тебя», то удались и помни, что в нашем союзе между мной и тобой только Господь вовеки.

И ушел Давид.

И все было, как условились они.

На второй день новомесячия обратил Саул внимание на то, что пусто место Давидово, и спросил о нем Ионафана.

Тогда рассказал ему Ионафан ту ложь, которую придумал он для спасения Давидова. И был он при этом, вероятно, очень бледен и взволнован, потому что не поверил ему Саул и сильно разгневался.

— Сын упорной женщины! — закричал он. — Ужели я не знаю, что ты полюбил сына Иессеева к стыду своему и посрамлению своей матери!

Словами этими он обличал Ионафана в его необычной любви к Давиду, «превыше любви женской».

— Пока жив сын Иессеев, не утвердишься ни ты, ни царство твое. Сейчас же приведи его ко мне. Он должен умереть.

Тогда восстал на отца Ионафан.

— За что убивать его? Что он сделал?

В ярости схватил Саул копье и в исступлении, не помня себя, бросил копье в сына, в любимого сына, в первенца.

И кроткий Ионафан, дрожа от гнева, от негодования на отца своего, вскочил из-за стола и выбежал вон.

Не от страха перед отцом он вскочил и убежал, не от смерти, грозившей ему, а от гнева, от негодования, что так поносил Саул Давида, названного брата, которого поистине любил Ионафан, как душу свою. Ни отца, ни царства не нужно ему. Нужен только Давид.

Что чувствовал Саул, когда увидел кроткого сына своего дрожащим от гнева, осмелившимся судить отца, восставшим на отца, в благородном негодовании упрекающим в неправом деле? И все из-за Давида. И он, Саул, свершил самый ужасный поступок в жизни своей — бросил копье в сына. И все из-за Давида, прекрасного, ненавидящего Давида.

А Мелхола, жена Давидова, тоже любившая его так, что не боялась обмануть отца, восстать на отца? Мелхола присутствовала тут же, сидела за этой торжественной трапезой. Какое лицо было у нее, какими глазами, полными ужаса и ненависти, смотрела она на отца?

И даже отроки, прислуживавшие за столом, не дрожали ли у них руки, не расплескивали ли они вино мимо чаши, не смотрели ли с упреком на исступленного яростью царя, бросившего копье в сына-первенца, любившего Давида, которого они все тоже любили.

Поистине, достиг Саул предела злобного отчаяния своего.

На следующее утро в назначенное Давиду время позвал Ионафан слугу-отрока, взяв лук и стрелы и пошел в поле. Там, притавшись, ждал Давида.

Стрекотали кузнечики в траве, звенели в воздухе жаворонки, плыли тихие облака в синем палестинском небе. Качались на легком ветерке цветы полевые, зыбились колосья. И земля, и небо были такие же тихие и благословенные, как в те дни, когда пас юный Давид овец отца своего. И так же и земля, и небо пели ему о красоте, о счастье, о Боге, но теперь он не поднимал вверх вдохновенные синие глаза свои, не прижимал к румяным устам певучую свирель. Как преступник, прятался он, прижавшись к скале, и ждал решения судьбы своей, бледный и скорбный.

Подошел Ионафан к назначенному месту и сказал слуге-отроку:  
— Беги, ищи стрелы, которые я буду бросать.

Бросил Ионафан стрелу дальше его и закричал условные тревожные слова, возвещающие беду:

— Нет ли стрелы дальше, дальше от тебя?

И еще громче закричал:

— Скорей, спеши, не останавливайся.

И потом велел отроку отнести собранные стрелы домой. И тогда вышел Давид, и повергся лицом на землю, и поклонился трижды. И они целовали друг друга, и плакали оба, но Давид плакал больше. Он плакал больше потому, что понимал, какую страшную жертву приносит Ионафан, отдающий для него любовь отца, и царство, и, может быть, жизнь.

И отпустил Ионафан Давида:

— Иди с миром. Да будет Господь между мною и тобою, между потомством моим и потомством твоим вовеки.

Так всегда просил Ионафан у Давида милости к потомству своему. Чувствовал великую силу Давидову и что утвердится род его вовеки.

Так кончилось горестное счастье их любви.

Долго скитался Давид из страны в страну, бежа от гнева Саула. Ему было страшно. И призывал он Бога, умоляя: «Цепи яда окружили меня. В теснине моей призвал я Господа... и вопль мой дошел до слуха Его. Потрясаясь, всколебалась земля, и основания гор дрогнули, потому что разгневался Он. Поднялся дым из ноздрей Его и огонь из уст Его пожирающий, угли возгорелись от него. И воссел на Херувима, и понесся, и полетел на крыльях ветра... От блистания пред Ним сквозь тучи Его сыпался град и горящие угли... Простирает Он с высоты руку, извлекает меня из вод великих, избавляет меня от врага моего... Потому что благоволит ко мне».

Ища защиты только у Бога, скитался Давид, и вот однажды, голодный, выпросил он у священника Ахимилеха освященного хлеба. Удивился священник, что идет зять царский без почета, без слуги и один. И тогда обманул его Давид, сказав, что имеет тайное поручение от царя, о котором никто не должен знать. И спросил Давид у священника Ахимилеха, нет ли у него копья или меча, потому что он очень спешит исполнить поручение царя и не успел взять с собой оружие.

— Есть меч Голиафа, которым ты поразил его. Он лежит, завернутый в покрывало, за священными облачениями. Возьми его.

И Давид меч взял. Взял меч первой славы своей, меч, хранившийся, как святыня, среди священных облачений. У него было право на этот меч. И он взял его и скрылся, ушел к Анхусу, царю Гефскому, и там, чтобы не узнали его, притворился безумным. Но все же многие узнали его и говорили: «Не это ли Давид, о котором пели в хороводах: «Саул поразил тысячи, а Давид — тьмы?»»

И снова пришлось Давиду бежать.

«Я, как маслина, зеленеющая в доме Божиим, надеюсь на милость Божию во веки веков». Так пел он, отдаваясь под покров Божий.

И бежал он, и скрывался в пещере Адолламской. «Под тенью крыл твоих укрываюсь я», — говорил он Богу. И, одинокий, преследуемый, чувствовал он в себе свою великую несокрушимую силу и пел вдохновенно: «Утвердилось сердце мое: буду петь и бряцать. Пробудись, слава моя, пробудись, псалтирь и гусли! Пробужу я утреннюю зарю»,

Когда узнали о месте его пребывания братья его и весь дом отца его, пришли все к нему. Затем собрались к нему все угнетенные, притесняемые, душевно огорченные, и собралось таких до четырехсот человек, и он стал начальником их. И ушел Давид с ними в лес Херет.

Дошло сведение о нем и о людях, что были с ним, до слуха Саулова. И вот однажды сидел Саул на горе под дубом, держа копьё в руке своей, и все слуги вокруг него. Теперь уже не ходил он, как в первые годы царствования, за волами в поле. Теперь он утвердил себя царем и держал себя как повелитель народа, и окружал себя подобающей пышностью. Золотой зубчатый обруч венчал его голову. Царская мантия-багряница, золотые цепи и украшения были на нем, и женщины в доме его ходили в пурпуре и виссоне и звенели кольцами и запястьями. Так начало сбываться то, о чем мечтали девушки израильские, вздымая руки и крича: «Хотим царя!»

Вот сидел перед ними грозный царь, пышный, мрачный и страшный, и слуги в трепете перед ним, и скороходы, и лучники.

Обратился Саул к слугам и сказал:

— Послушайте, сыны Веняминовы. Ужели всем вам даст Давид поля и виноградники? Ужели всех вас поставит тысяченачальниками и сотниками? Все вы в заговоре против меня, и никто не сообщил мне; что мой сын вступил в союз с сыном Иессеевым, и никто из вас не имеет сострадания ко мне и не открыл мне, что сын мой возбудил раба моего злоумышлять против меня, как видно это теперь.

Тогда выступил один из слуг по имени Доик и рассказал все, что узнал о Давиде — как дал ему священник Ахимелех хлеб и отдал меч Голиафов.

Тяжелый гнев обуял Саула, и велел он сейчас же привести к себе Ахимелеха, и всю семью его, и всех священников из того города. Сказал Саул Ахимелеху:

— Ты вступил в заговор против меня, ты дал Давиду хлеб и меч, чтобы он шел против меня.

Но Ахимелех отвечал:

— Кто из слуг твоих верен тебе, как Давид, зять царя, уважаемый в доме твоём? Как мог я решиться не исполнить просьбы его?

Так искренно отвечал священник, и смотрел прямо в глаза Саулу, и стоял перед ним в своей белой льняной одежде служителя Божия. Но слова его, напоминание о том, что невинен перед ним Давид, еще больше накалили гнев Саула.

— Ты должен умереть, — сказал он Ахимелеху. — Ты и все семейство отца твоего.

Потом повелел скороходам, стоящим около него:

— Пойдите и умертвите священников Господних, ибо и они заодно с Давидом и, зная, что он — беглец, не уведомили меня.

Знал Саул, что невиновны священники, что скрыл от них Давид о бегстве своем, но притворился, что не верит Ахимелеху, чтобы насытить злобу свою. Но не посмели слуги его поднять руку на священников. Ужас охватил их. Грозен царь, но Господь сильнее его. И они не пошли.

Тогда велел царь Доику-доносчику. И пошел Доик, и убил в тот день восемьдесят пять служителей Господних, носивших льняные облачения. И семьи их, как мужчин, так и женщин, отроков, и грудных младенцев, и волов, и ослов, и ягнят — всех истребил острием меча. Спасся только сын Ахимелеха Авиафар. Он убежал к Давиду и рассказал, как Саул умертвил священников за него, за Давида.

Искал Саул Давида и, узнав, что находится Давид в городе Кеиле, созвал весь народ свой, чтобы осадить Кеиль. Но Давид, проведая о намерении Саула, вовремя покинул город, и Саул отменил поход.

Тогда скрылся Давид в пустыне в недоступных скалах. Туда тайно пробрался к нему Ионафан и сказал:

— Не бойся, не достигнет тебя рука Саула, отца моего. Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. Даже и отец мой Саул хорошо знает это.

Что значили такие слова? Почему он сказал, что Саул знает о том, что царство перейдет к Давиду? Открыл ли ему кто, что помазан Давид Самуилом? Или сам Саул чувствовал силу Давидову и уже в полном отчаянии, не в состоянии сладить с гневом своим, преследовал его.

Но подкрепил Ионафан слова свои именем Божиим. Он знал, что говорил правду. И снова названные братья подтвердили союз свой перед Господом, и снова расстались.

И вот донесли местные жители Саулу о том, где скрывается Давид:

— Согласно сильному желанию души твоей, царь, иди туда, а наше дело предать его в руки царя.

На это сказал Саул:

— Да благословит вас Господь за то, что вы оказали сострадание ко мне.

Второй раз говорил царь о сострадании к нему. Так сильно он мучился, что уже не казалось ему унижительным просить сострадания и благословлять за него.

И собрал Саул отборных воинов, и ринулся по следу. В самые неприступные места уходил от него Давид, забираясь в непроходимые чащи, взбирался на вершины скал, где водятся только горные козы. И туда гнался за ним Саул, точно волк за серной, рыскал по скалам, пролезал через заросли, проползал по ущельям.

И вот раз в знойный день зашел Саул, измучившись, передохнуть в пещеру. Пещера была глубокая и темная, и там в глубине ее как раз скрывался тот, кого искал Саул. Скрывался Давид и с ним несколько человек из слуг его. Люди Давида шептали ему:

— Вот день, когда Господь предаст врага в руки твои.

Один взмах меча, и был бы Давид свободен, и царство принадлежало бы ему. Один взмах.

Но Давид, незаметно подойдя к Саулу, тихонько отрезал край одежды его.

И удержал людей своих и сказал:

— Не дай мне Господь, чтобы я поднял руку на помазанника Божия.

И когда Саул вышел из пещеры, окликнул его Давид:

— Государь мой!

Когда же Саул оглянулся, наклонился Давид и простерся на земле. И, встав, сказал Саулу:

И, встав, сказал Саулу:

— Зачем слушаешь ты слова людей, говорящих: «Вот, Давид ищет твоей погибели»? Видели теперь глаза твои, как сегодня предал тебя Господь в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы я убил тебя. Но я не поднял руку на государя моего, ибо он — помазанник Господа. Посмотри на край одежды твоей в руке моей. Из того, что я отрезал ее и не убил тебя, можешь видеть, что нет во мне ни злобы, ни измены, и я не виновен против тебя. И ты преследуешь меня. Да отмстит Господь тебе за меня, моя же рука не будет на тебе. И за кем гоняешься ты, царь Израилев? За мертвым псом?

Закончил Давид слова свои, и Саул ему отвечал:

— Твой ли это голос, сын мой Давид?

И заплакал Саул. Потом сказал он Давиду:

— Ты справедливее меня. Когда человек поймает своего врага —

отпустит ли его добрым путем? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал сегодня. Теперь я знаю, что будешь ты царствовать. Поклялись же ты мне Господом, что не истребишь потомства моего после меня.

И Давид поклялся. Тогда Саул ушел в дом свой, а Давид и люди его поднялись в горы, где было укрепление их.

Что чувствовал Саул? Может быть, легче бы ему было вынести истинную измену Давидову, поражение от меча его, чем это унижение. Враг его, раб его Давид дарует жизнь ему, гордому царю Израильскому, милует его.

Этого торжествующего великолепного Давида, стоящего на скале и поднимающего вверх руку с куском одежды от платья царского, разве забудет его переполненное мукой сердце Саула?

Он заплакал пред Давидом. Слишком сильно было потрясение, вызванное видом Давида и словами его.

— Я знаю, что будешь ты царствовать! — воскликнул он.

Воскликнул, вероятно, невольно. Потому что царственное великодушие проявил Давид. А он, Саул, когда-то лукаво послал его, как зятя своего, убить сто филистимлян, рассчитывая, что те убьют его. Низко поступил он с ним. Не по-царски. И вот перед ним этот ненавистный раб Давид во всем своем душевном великолепии. Убил его Давид не мечом, а силою духа.

И никогда до этого не слышал Израиль таких слов, не видел кротости и прощения. «Око за око, зуб за зуб», — так учили их, но «прощайте врагов ваших и любите ненавидящих вас», — этого они не знали. Точно золотой луч бросил Давид со скалы, из тьмы библейской туда, в века, в мир Нового Завета. «Когда человек поймает своего врага — отпустит ли его добрым путем?» — воскликнул Саул, потрясенный священным трепетом. Новый, непостижимый свет сверкнул перед ним.

— Теперь я знаю, что ты будешь царствовать! — воскликнул он и, громко плача, удалился.

Между тем умер Самуил. С великим горем погребли его израильтяне. Великого пророка и ходатая перед Господом лишились они.

Давид же со слугами и воинами своими остался в горах, жил там и взял себе двух жен, Ахиноаму и красивую Авигею. Первая жена его, дочь Саулова Мелхола, не могла следовать за ним. Она осталась в доме отца своего. И отдал ее Саул в жены Фалтию из Галлима.

Нерадостным было это событие. Мелхола любила Давида, шла против отца для спасения его, всем жертвовала, не побоялась ярости страшного в гневе царя Саула. Что была смерть для нее? На все она шла для Давида. И вот отец отдал ее другому, нелюбимому, а Давид был далеко и не мог вернуться, потому что Саул хотя на словах и примирился с ним, но не позвал его в дом свой. Был Давид далеко, и взял себе жен, и не мог увести с собой Мелхолу, так его любившую. Увел ее новый муж, добрый и ласковый к ней. Все равно не было ей жизни в доме отца. Знал отец, что она любила Давида, и не мог ей простить обмана с идолом, когда она скрыла Давида и выпустила его тайком через окно.

Все мысли, вся душа Саулова были сосредоточены на Давиде. Сын его Ионафан оставался при Сауле, но он чувствовал в нем врага себе.

Когда отдавал он дочь свою Мелхолу Фалтию, наверное, злобно радовалось сердце его. Радовалось, что мстил дочери за измену, отнимая ее от Давида, и мстил Давиду, любившему Мелхолу. Все стало темно и злобно в жизни Саула, и злой дух уже не отходил от него. Слово свое, сказанное Давиду: «Господь да воздаст тебе за то, что ты сделал со мною», — слово это вырвал он из памяти своей. Помнил толь-

ко торжество Давида над ним, над плачущим, несчастным, униженным царем, теряющим царство.

Высоко на скале над ним — прекрасный, торжествующий, проклятый, благословенный Давид, который «непременно будет царствовать»: Рок, через который не переступить, но перед которым склониться гордая душа Саулова не может.

Если бы ввел он Давида снова в дом свой — какое было бы ликование! Улыбнулся бы бледный Ионафан, и Давид ответил бы ему улыбкой, и глаза их обменялись бы любовным лучом. Засмеялась бы обезумевшая от горя Мелхола. Зазвенели бы запястья на вздетых радостно женских руках. И слуги повернулись бы лицом к Давиду как к настоящему царю, любимому и прославленному. А израильские девушки вышли бы в хороводах с тимпанами и кимвалами и воскликнули бы, как в тот ненавистный день. И еще большее восклицали бы они: «Саул не победил Давида, но Давид победил Саула. Вот опять Давид в доме царском, и царство будет ему».

Стонал Саул от черной тоски и не находил покоя.

— За кем гоняешься ты? — сказал ему Давид. — За мертвым псом.

Что означают слова эти? «За мертвым псом» — за тем, что не имеет ни силы, ни значения. Сам выдумал себе призрак, сам надумал врага, и преследует, и гонится без смысла, мучая и себя, и его.

Слышал это слово Саул и понимал, что прав Давид, но уже не мог отметить злого духа, задышался в черной тоске, метался и не видел выхода, кроме одного: убить Давида.

Нет жизни, пока жив Давид, торжествующий и великодушный, перед которым он, Саул, плакал. Смерть Давиду.

И снова пришли к Саулу доносчики.

— Знаете, где скрывается Давид? Скрывается он в пустыне.

Тогда встал Саул и спустился в пустыню, а с ним три тысячи отборных воинов. Пошли они и расположились станом, и Давид видел, как прошли они. Когда же Саул и воины его легли спать, позвал Давид одного из слуг своих и пробрался в стан Саулов. Ночь была темна, и никто не заметил их. И вот видит Давид: лежит Саул и спит в середине стана, и копьё его воткнуто в землю подле изголовья его, и воины его, и Авенир, начальник войска, — все спят вокруг царя.

Тогда сказал Давиду слуга его:

— Предал сегодня Господь врага твоего в руки твои. Позволь, теперь я приколю его копьём к земле с одного удара.

Но Давид ответил ему:

— Не губи его, ибо кто может ненаказанно поднять руку на помазанника Господня?

И еще сказал Давид:

— Клянусь Господом, что лишь Господь его поразит или придет день его, и он умрет, или он пойдет на войну, и его не станет. Но не дай мне Господь, чтобы я поднял руку мою на помазанника Господня.

И взял Давид копьё и сосуд с водою у изголовья Саулова, и шел со слугою своим, и никто их не видел, никто не заметил, никто не пробудился, но все спали. «Так как, — говорит Писание, — глубокий сон напал на них от Господа».

Тогда першеел аДвид на другую сторону, стал вдали на вершину горы и громко закричал, зовя Авенира, начальника войска Саулова:

— Дашь ли ответ мне, Авенир?

Авенир отвечал:

— Кто ты такой, что кричишь при царе?

Тогда сказал Давид Авениру:

— Не знатный ли ты человек? Почему же ты не бережешь госуда-

ря своего, царя? Ибо один из народа уже приходил, чтобы убить царя, государя твоего. Нехорошо, что ты так поступаешь. Жив Господь! Вы повинны смерти за то, что вы не охраняли государя своего, помазанника Господня. Посмотри теперь, где копьё царя и сосуд с водою, которые были у изголовья его.

Тогда узнал Саул голос Давида и сказал:

— Не твой ли это голос, сын мой Давид?

И отвечал Давид:

— Мой голос, государь мой царь. За что государь мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое злодеяние?

Тогда Саул сказал:

— Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я больше не стану обижать тебя, так как ты подорожил ныне жизнью моею. А я поступал безумно и много ошибался.

А Давид отвечал:

— Вот копьё царя. Пусть один из слуг придет и возьмет его. Сегодня предал тебя Господь в мои руки, но я не хотел поднять руку мою на помазанника Господня. Вот как дорога была сегодня жизнь твоя в глазах моих.

И сказал Саул Давиду:

— Благословен ты, сын мой Давид. Поистине, ты сделаешь свое дело и восторжествуешь.

Таковы были последние слова Сауловы Давиду, и каждый из них пошел своим путем.

Что мог бы сказать Саул Давиду? В чем упрекнуть? Никакой вины он не знал за ним. Служил ему Давид верно, возложенное на него дело исполнял успешно и мудро, и все были довольны им. И вот второй раз дает судьба жизнь Саулову в руки Давиду, и тот, гонимый им, преследуемый по пятам, как серна злыми псами, все время в страхе, в обиде, в смертельной опасности — тот не хочет воспользоваться такой необычайной возможностью и щадит своего врага. Второй раз получил Саул жизнь из рук Давидовых.

— Благословен ты, сын мой Давид! — сказал он. И прибавил: — Ты восторжествуешь.

Этим как бы наметил продолжение борьбы. Оружие не сложено. Не сказал: «ты восторжествовал», но — «восторжествуешь». И Давид понял это и не сошел со скалы к Саулу, а велел подняться к нему слуге царскому, чтобы вручить ему копьё.

И, расставшись с Саулом, думал Давид только о том, как бы замести следы свои и уйти в тихое место, где бы Саулу не пришлось в голову искать его. «Нет ничего лучше для меня, как уйти в землю филистимскую, чтобы Саул отказался искать меня в пределах Израильских».

И он ушел к вечным врагам израильским, к филистимлянам, в их землю. И прожил там год и четыре месяца и с ним жены его и слуги — всего шестьсот человек.

По прошествии же этого времени опять собрали филистимляне войска свои, чтобы сражаться с Израилем, и когда увидел Саул полчища их, то сильно устранился и встревожился. И спросил Господа. Но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через первосвященника, ни через пророков. Волшебников же и знахарей Саул еще раньше уничтожил в земле своей и издал приказ: если где найдется заклинатель или прищатель — предавать его смерти. Борьба с язычниками велась суровая, потому что постоянно колебалась непрочная вера народа, и даже в доме царском у дочери его Мелхолы был домашний кумир. И кумир этот был не маленький какой-нибудь амулет, который легко можно было бы спрятать от посторонних глаз. Кумир этот был в человеческий рост, потому Мелхола и положила его на постель как бы больного мужа своего. И мы не увидели гнева царского на то, что идолопоклонничест-

во не уничтожено в семье его. Очевидно, такой домашний кумир, покровитель семьи и очага, еще был делом обычным. Но к ворожеям и прорицателям отношение было более суровое, и по приказу царя истребили их по всей стране.

И вот, когда не ответил Господь Саулу, решил он обратиться к волшебникам и велел слугам найти женщину, владеющую духом прорицания. Найти такую женщину было трудно, потому что истребили их всех, а если где-нибудь и уцелели, то прятались, боясь неминуемой гибели.

Но вот сказал слуга Саулу, что есть в Аэндоре женщина, владеющая духом провидения, и царь ночью, надев на себя другие одежды, отправился сам и два человека с ним и пришли к этой женщине. Как шли они? Как это могло быть? Как выполнили они это предпоследнее действие Сауловой трагедии?

Шли они втроем. Впереди должен был идти слуга, указывавший путь, тот самый слуга, который открыл Саулу о пещере аэндорской волшебницы. За ним — Саул. Огромный, «от плеч и до верха выше всего народа», в черной мантии, скрывающий лицо свое темным плащом, наброшенным на голову. Весь черный, весь страшный, почти безумный в своем отчаянии, Богом отвергнутый царь. Он идет ночью, прячется от людей, он идет на грех, на тот грех, который сам преследует смертью. Вот уже сутки — день и ночь, — как он ничего не ел и не пил.

Идут они по скалам, по горным тропам — волшебница прячется, значит, живет в глухом месте. Живет в пещере, значит, в горах; потому что в долине пещер не бывает. По диким тропам пробираются они. Один слуга впереди, за ним царь. Последним идет раб, охраняющий царя, поддерживающий его. Темно. Камни осыпаются под ногами. Если они кого-нибудь встретят, то убьют, потому что никто не должен проведать о грехе царя, а узнать его, этого огромного, «выше всего народа», было бы нетрудно.

Так пришли они к пещере аэндорской. Чуткая, настороженная, вышла к ним волшебница. Три темные тени стояли перед ней. Две обыкновенные, одна — страшная. Не смерть ли, по указу царскому, принесли они ей?

Но вот сказал Саул:

— Открой мне духом прорицания, что будет, и вызови мне того, кого я назову тебе.

И она ответила:

— Ты знаешь, что сделал Саул, как он истребил в этой земле прорицателей и знахарей. Для чего ты хочешь уловить душу мою, чтобы погубить меня?

Но Саул поклялся Господом, сказав:

— Жив Господь! Не постигнет тебя наказание за это дело.

Тогда женщина спросила:

— Кого вызвать тебе?

Он сказал:

— Самуила вызови мне.

Тогда женщина стала вызывать тень.

Как делали это волшебники? Они разводили огонь, и бросали в него травы, и читали заклинания. И в клубах дыма видели тень. Так должна была сделать и она. И увидела женщина Самуила, и вскрикнула громким голосом, и сказала:

— Зачем обманул ты меня? Ведь ты Саул.

Она была волшебница и духовидица и увидела не только вызванную ею тень Самуила, но и душу закрывшего лицо свое Саула.

И сказал ей царь:

— Не бойся. Так что ты увидела?

И отвечала женщина Саулу:

— Я увидела нечто божественное, восходящее из земли.

Он спросил ее:

— Какой он видом?

Она отвечала:

— Какой-то старец восходит, и он одет в мантию.

Тогда узнал Саул, что это Самуил, и, наклонив лицо к земле, поклонился.

Тогда сказал Самуил Саулу:

— Для чего ты потревожил меня, заставив меня выйти?

Саул отвечал:

— Тяжко мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог меня оставил и не дает ответа ни через пророков, ни в сновидениях. И я воззвал к тебе, чтобы ты наставил меня, что мне делать.

И сказал Самуил:

— Для чего же ты вопрошаешь меня, когда Господь оставил тебя и стал за соперника твоего? Исполнит Господь для него то, что Он говорил через меня. Ибо отнимет от тебя Господь царство и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушался гласа Господня и не исполнил пламенного гнева его на Амалика, то исполняет Господь ныне над тобою это определение. И предаст Господь вместе с тобою даже Израиль в руки филистимлян. И завтра ты и сыновья твои будете со мною. Даже и ополчение израильское предаст Господь в руки филистимлян.

Так сказал пророк. Упал Саул всем телом на землю. Точно за этим последним ударом он и пришел сюда. «Завтра ты и сыновья твои будете убиты».

Словно острое копьё, пронзили слова эти Саула и прибили его к земле. «Отдаст царство ближнему твоему Давиду. Давиду царство и жизнь». Столько времени он мучился, страдал смертельно, метался в тоске и отчаянии, душа истекала кровью. И вот теперь грозный пророк добил его.

Силы оставили Саула. Весь день и всю ночь перед этим он не ел и не пил. Полумертвый, лежал он. И вот волшебница и слуги царские подошли к Саулу, и ласково заговорила с ним женщина:

— Раба твоя послушалась голоса твоего, — сказала она, — послушалась и подвергла жизнь свою опасности. Теперь, прошу тебя, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я положу перед тобою кусок хлеба, поешь, чтобы тебе иметь силу, когда отправишься в путь.

Но он отказался. Тогда настойчиво стали просить его и она, и слуги его, и он послушался слов их, встал с земли и сел на постель. А женщина заколола телят, испекла лепешки и накормила Саула и слуг его.

Видел ли Саул, что и у нее, и у слуг его уже было то сострадание, о котором столько раз просил он? В этой темной, дымной пещере, освещенной, вероятно, только тлеющими углями очага, на которых догорали пряные травы заклинивания, сидели люди, как тени, и уже не было около полумертвого царя, этого беспредельно несчастного человека, не было около него ни преступной рабыни-волшебницы, ни трепещущих перед гневом его слуг — были только люди и жалость человеческая.

И он смиренно ел вместе со слугами и, когда поел, встав, ушел в ту же ночь.

А дальше все пошло быстро, сжато, как послесловие.

Филистимляне окружили израильтян, и бежали израильтяне, и падали, убитые, на горе Гелвуе.

И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили Ионафана и прочих сыновей его. И лучшие стрелки направили на Саула стрелы, и был он тяжело ранен.

Тогда сказал Саул оруженосцу своему:

— Обнажи меч свой и заколи меня им, чтобы не пришли враги заколоть меня и издеваться надо мною.

Но оруженосец не захотел. Страшно ему было поднять руку на царя своего. Тогда Саул пал на свой меч. Когда же оруженосец увидел это, то, думая, что Саул уже умер, сам тоже пал на свой меч.

Но не умер Саул. Один из воинов его стана взбежал на гору Гелвуйскую и увидел, как пал Саул на меч свой, и уже колесницы и всадники вражеские поднимались к нему. Тогда, оглянувшись, увидел Саул этого воина израильского и позвал его.

— Вот я, — сказал воин.

И просил Саул:

— Умертви меня, ибо смертельные страдания постигли меня, а душа все еще во мне.

И воин пожалел его. В последнюю минуту жизни своей встретил Саул сострадание, то, которого так искал. Сострадание, прекратившее, наконец, неизбывные муки его. Воин пожалел его и добил. Потом снял с Саула царский венец и запястье и отнес их Давиду.

— Я принес их государю моему, — сказал он.

И пеплом была посыпана глава его, и одежда на нем разодрана. Он рассказал Давиду, как нашел он Саула, павшего на меч свой, как исполнил его просьбу и добил его.

Услышав это, разодрал Давид одежды на себе, а бывшие с ним люди плакали и постились до вечера.

И спросил Давид воина, принесшего ему весть о гибели Сауловой:

— Как же ты не утрашился поднять руку на помазанника Господня?

И велел одному из служителей:

— Пойди и убей его.

И тот убил.

А Давид оплакал Саула и Ионафана, сына его, песнью плача: «Горы Гелвуйские! Да не будет на вас ни росы, ни дождя, ни полей плодоносных, ибо там опозорен щит доблестных, щит Саула. Дочери израильские! Плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с драгоценностями... Скорблю о тебе, брат мой Ионафан! Любовь твоя ко мне была превыше любви женской».

До сих пор бывало так, что торжествовали враги над телом побежденного, издевались, терзали его, плясали над ним и попирали ногами. И вот Давид, как некий предвозвестник нового светлого мира, оплакивает гибель врага.

И если бы знал при жизни своей Саул, что плачем Давида закончится его путь земной, может быть, было бы это наигорчайшим унижением для него. Не хотел он от Давида ни любви, ни слез.

А филистимляне, найдя Саула мертвым, отрубили ему голову и, сняв с него доспехи, прибили его тело на позор к стенам своего города.

*Публикация А. Тюрина*



**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*Вацлав МИХАЛЬСКИЙ*

---

---

**К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

*Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» №№ 1—8 за 1991 год, №№ 1—12 за 1992 год, а также №№ 1—12 за 1993 год. Цена договорная.*

*Журналы можно приобрести в редакции по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.*

---

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.**

---

---

**АДРЕС РЕДАКЦИИ:**

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28  
Телефоны: гл. редактор — 235-15-56,  
редакции — 235-14-10

Технический редактор *С. М. Сурикова*

Корректор *Н. И. Шаркова*

Подписано к печати 14.09.94 Рег. № 01872 от 10.12.92.  
Формат 70×108<sup>1/8</sup>. Гарнитура «Литературная» Печать высокая.  
Физ. печ. л. 14,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 2010 Цена договорная

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ;  
140010, Люберцы 10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403



## SUMMARY

In the No. 29 of the *Soglasye* the Old Testament is re-read both by our contemporary, S. Stratanovsky, in his selection of poetry entitled «The Biblical Notes», and by the incomparable Nadezhda Teffy (1872—1952), the humourist whose short stories were the favourite reading of the last Tzar, Nicolas II, and whose romances were sung by A. Vertinsky. We present now her unpublished novel «Saul».

The poetry of Gafiz and Saadi as well as the exotic images of the mythology of Tadjics encharm the reader as he enters the world of Bakhmanior's selected prose. Timur Zulfikarov's foreword to it is a prose poem in itself, with the quotations both from the Gospel and Koran.

Less cosmic in their lookout but also memorial enough are Ilya Fonyakov's essay on «The Brasen Horseman» by A. Pushkin and the recollections of A. Checkov by Nikolai Ezhov (1862—1941).

Coming from heaven to nowadays' problems, we should mention the poems by Vladimir Tikhomirov and Dmitri Dombrovsky, the last chapters of the novel «In the Morning, in the Evening» by the late Yury Karabtchievsky (started in No. 2), the short stories by Mikhail Tarkovsky, and of course a novel by Andrei Ivantchenko which opens the issue.

## «CONCORDANCE»

# РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексей,  
Г.П.Алференко, В.М.Борисов  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М.Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков